

А.Н. ФОРМОЗОВ

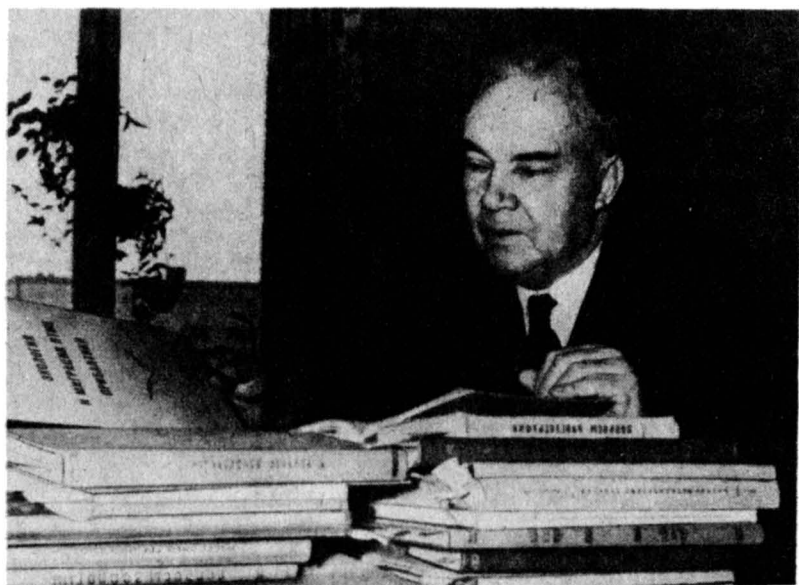
# СРЕДИ природы





[www.dmitryzhitenyov.com](http://www.dmitryzhitenyov.com)







А.Н. ФОРМОЗОВ

# СРЕДИ *природы*

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,  
ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
1985

Формозов А. Н. Среди природы. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. — 288 с., ил.

Имя Александра Николаевича Формозова (1899—1973), внесшего заметный вклад в развитие зоологии в СССР, знакомо не только советским, но и зарубежным биологам. Широкому кругу читателей А. Н. Формозов известен как писатель-натуралист и художник. В сборнике (первое издание вышло в 1978 г.) представлены очерки из незавершенной книги «Записки натуралиста» и ранее публиковавшиеся произведения А. Н. Формозова, ставшие библиографической редкостью. Главная тема книги — становление ученого-натуралиста. Живое описание природы и прекрасные рисунки автора, изображающие зверей и птиц, знакомят читателей с жизнью животных, помогают узнать и полюбить окружающую нас природу, учат бережному отношению к ней.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

*Печатается по постановлению  
Редакционно-издательского совета  
Московского университета*

Составление и подготовка текста *А. А. Формозова*

Рисунки автора

Рецензенты:

докт. биол. наук, проф. С. А. Шилова,  
докт. биол. наук, проф. И. А. Шиллов

Имя Александра Николаевича Формозова (1899—1973) хорошо известно биологам не только в нашей стране, но и за ее пределами. Профессор кафедры зоологии позвоночных Московского университета, заведующий отделом биогеографии Института географии Академии наук СССР, автор книг «Колебания численности промысловых животных», «Снежный покров как фактор среды, его значение в жизни млекопитающих и птиц СССР», «Очерк экологии мышевидных грызунов — носителей туляремии», «Птицы и вредители леса», «Териология» и двухсот других работ внес заметный вклад в развитие зоологии в СССР. Об этом можно прочитать в ряде статей, написанных учениками и товарищами Александра Николаевича, в частности в изданном Московским обществом испытателей природы сборнике его последних работ «Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания», где помещен и полный список его публикаций (А. Н. Формозов был действительным членом Общества с 1927 г. и почетным — с 1969. В изданиях Общества он напечатал большинство своих книг).

Более широкому кругу читателей знакомы другие книги А. Н. Формозова: «Шесть дней в лесах», «В Монголии», «Спутник следопыта» и его очерки в журналах «Юный натуралист», «Природа», «Охота и охотничье хозяйство». В них Александр Николаевич проявил себя как популяризатор науки, писатель-натуралист и художник. Все его книги и многие статьи иллюстрированы им самим.

Научно-популярные работы, написанные в 20—30-х годах, не утратили познавательного интереса и в наши дни, когда особое значение придается проблеме охраны природы. Это побудило Московское общество испытателей природы вслед за сборником исследований А. Н. Формозова по зоологии издать в 1978 г. сборник, содержащий его научно-популярные очерки. Сейчас сборник переиздается в дополненном варианте.

Можно сказать, что научная работа и популяризация прошли рука об руку через всю жизнь Александра Николаевича на протяжении полувека его творческой деятельности. В 1922 г. в «Русском гидробиологическом журнале» в Саратове появилась первая научная публикация А. Н. Формозова «К биологии *Rana esculenta*», а в 1923 — в нижегородском журнале «Охотник» напечатана его

статья «К наступающей весне». В декабре 1973 г., через несколько дней после смерти Александра Николаевича, вышел шестой номер «Бюллетеня Московского общества испытателей природы» с его статьей «Некоторые наблюдения за поведением млекопитающих в природе», а издательство «Детская литература» прислало корректуру восьмого издания «Спутника следопыта».

Что же влекло к популяризации человека, очень занятого преподаванием, исследованиями в экспедициях и лабораториях, консультациями в заповедниках, медицинских учреждениях и т. д.? Думается, что причин было несколько. В научных статьях натуралисту удавалось выразить далеко не все свои впечатления и наблюдения. В чем-то ограничивал себя сам автор, в чем-то — его редакторы. Сейчас все более утверждается предельно сухой и лаконичный стиль научных публикаций: протокольное изложение наблюдений, цифровые таблицы, краткие выводы — одним словом, информация. Определенный резон в этом есть: поток информации нас захлестывает. Хочется быстро узнать самую суть новой статьи, не тратя время на всякие частности. Но такой стиль, органичный для статей химиков, математиков, не всегда оправдан в статьях, посвященных природе или людям. Мы перестаем чувствовать, что речь идет о живых существах. Свои впечатления от соприкосновения с природой, не вмешавшиеся в рамки научных публикаций, Александр Николаевич и передавал в популярных книжках и очерках.

Не меньшую роль играло и другое обстоятельство. Отдавая много сил охране природы, защите наших лесов, рек, заповедников (а в 30—40-х годах эта борьба была неизмеримо труднее, чем теперь), А. Н. Формозов прекрасно понимал, что решение этих проблем лежит не только в сфере законодательства. Законы могут быть весьма совершенными, но, если у людей нет любви к родной природе, никакие распоряжения цели не достигнут. Значит, надо привить людям любовь к окружающим их лесам и полям, к обитающим там «братьям нашим меньшим». Помочь этому может научно-популярная литература. В первую очередь автор обращался к молодежи и потому, что в ее руках будущее нашей природы, и потому, что она восприимчивее, чем взрослые, и, наконец, потому, что его собственный жизненный путь определился именно в юности, в годы охотничьих скитаний по нижегородским лесам.

В работе А. Н. Формозова как популяризатора науки можно наметить три периода. Первый — 20-е годы. Александр Николаевич был тогда студентом Московского университета, аспирантом, молодым преподавателем. С 1924 по 1930 г. он выпустил десять научно-популярных книг. Три из них в те же годы были переизданы. За некоторые из этих книг автор, приехавший из Нижнего Новгорода в Москву с маленьким чемоданчиком, брался просто для того, чтобы заработать немного денег. Но главное было не в этом. Избыток молодых сил требовал выхода. Их хватало на все — и на научные изыскания, и на писательство, и на живопись и графику (в эти годы А. Н. Формозов был худож-

диком Дарвиновского музея, участвовал в выставках). И все эти разнообразные занятия были связаны друг с другом. Везде чувствовались и глубоко проникновение в жизнь нашей природы, и искренняя любовь к ней.

Позднее, сосредоточившись на научных исследованиях, популярных книг Александр Николаевич уже не писал, а только переработал для новых изданий «Спутник следопыта» и «Шесть дней в лесах». Но в научно-популярных журналах он и тогда охотно принимал участие. Издательство «Детская литература», всегда заботливо собиравшее вокруг себя авторов, способных интересно писать для юношества, в 30-х годах привлекло к работе и А. Н. Формозова. Здесь в 1936 г. он напечатал первый полный текст «Спутника следопыта», объединивший несколько вышедших ранее маленьких книжек, в 1940 г. выпустил под своей редакцией и при активном авторском участии том «Животный мир СССР. Птицы», а в журнале «Юный натуралист» в 1934—1941 гг. напечатал 32 статьи.

Третий период охватывает 50—60-е годы. Александр Николаевич был уже не молод и не очень здоров, спешил закончить начатые научные исследования, но никогда не отказывался писать для «Охоты и охотничьего хозяйства» или «Природы», для «Охотничьих просторов» или «Недели». Тут и воспоминания о детстве на Волге, и рассказ о летней студенческой практике, и очерки о животных, о временах года. Подводя итоги полувековой работе, ученый хотел поделиться своими мыслями, чувствами, наблюдениями не только со специалистами, но и с самым широким кругом читателей.

Стиль А. Н. Формозова как писателя сформировался очень рано — еще в 20-е годы. Каковы его истоки? Александр Николаевич всегда с глубокой благодарностью говорил о своем отце Николае Елпидифоровиче — мелком нижегородском служащем и страстном охотнике. Сопровождая с детских лет отца при его вылазках в заволжские леса сначала просто так, а потом с собственным ружьем, сын воспринял от него и охотничью страсть, и любовь к природе. Николай Елпидифорович изредка печатался в нижегородских газетах. Его очерки посвящены не столько природе, сколько людям, с которыми ему приходилось встречаться «в лесной глуши» (название одного очерка). Можно не сомневаться, что отцовские статьи, напечатанные в 1911 г. в «Нижегородской земской газете», были внимательно прочтены двенадцатилетним гимназистом, и это могло навести его на мысль записывать и свои наблюдения. Примерно тогда же Александр Формозов впервые прочел книжки о животных канадского писателя Э. Сетона-Томпсона. Их выпускало издательство толстовцев «Посредник», чтобы пробудить любовь к животным в народе, и эти брошюры, стоившие копейки, были доступны школьнику из бедной семьи. В 1912 г. вышла книга «Жизнь леса» молодого русского биолога С. И. Огнева. Она тоже произвела большое впечатление на гимназиста Формозова. Недаром через десять лет,

сразу по приезде в Москву он пришел в Московский университет к преподававшему там С. И. Огневу. В том же 1922 г. он написал по своим планам Э. Сетону-Томпсону.

С одиннадцати лет Александр Формозов вел дневники наблюдений в природе, перемежая записи рисунками зверей, птиц следов, перерисовывая иллюстрации Сетона-Томпсона к его книгам. Впоследствии некоторые наблюдения и зарисовки перешли со страниц дневников в научные и популярные книги А. Н. Формозова.

Александр Николаевич учился в Нижегородской гимназии имевшей давние литературные традиции. Здесь в 1839—1846 гг преподавал П. И. Мельников-Печерский, а в одном классе с Формозовым учился Николай Николаевич Зарудин (1899—1937) — поэт и прозаик, глава литературной группы «Перевал». Стихи и рассказы этого безвременно погибшего писателя недавно переизданы и хорошо встречены не знавшим его молодым поколением читателей. Сохранилось несколько номеров рукописного журнала «Любитель природы» за 1915 г., который выпускали в гимназии Н. Зарудин и А. Формозов. Они же были и художниками и основными авторами. В 20-х годах оба они сотрудничали уже в настоящем журнале «Охотник», где появились посвященные А. Н. Формозову стихи Н. Н. Зарудиной «На волжских горах».

Связь с деятелями нашей литературы 20-х годов отразилась на стиле некоторых ранних книг А. Н. Формозова. Во введении к «Нашему рыболовству» мы находим типичную для этого времени стилизацию речи и инверсию в построении фраз («За решетку посадили их над рекой рыбацкой, в башне каменной как парьевской, что глядится в волжские струи»), в заключении к первому и второму изданиям «Шести дней в лесах» наталкиваемся на характерные антиурбанистические мотивы. Но в целом этот налет незначителен. Гораздо чаще нам бросится в глаза линия преемственности, соединяющая научно-популярные очерки Формозова с классическими книгами о русской природе, созданными И. С. Турганевым, С. Т. Аксаковым, М. М. Пришвиным.

В данный сборник вошло далеко не все, написанное в жанре научно-популярной литературы А. Н. Формозовым. Прежде всего нет главной его книги — «Спутник следопыта», но она и известна лучше других, издавалась уже восемь раз, переводилась во Францию и Югославию. Нет и многих журнальных статей. Здесь отображено то, что дает представление об основных этапах жизни и работы Александра Николаевича. Сборник открывают «Шесть дней в лесах» и рассказы о детских и юношеских впечатлениях об охоте в нижегородских лесах. Далее следует книга «В Монголии», повествующая о работе молодого ученого в экспедиции. Дополняют оба раздела отрывки из незаконченной книги «Записки натуралиста». Очерк «На вольном воздухе» знакомит нас с Формозовым — педагогом, руководителем студенческой практики. В целом наша подборка в какой-то мере реконструирует задуманные, но не завершенные А. Н. Формозовым «Записки натуралиста». Пер-

вая — «волжская» — часть книги охватывает воспоминания 1905—1915 гг., вторая — содержит рассказы о поездках 1925—1932 гг. Включенные в сборник очерки написаны в 1923—1944 гг., характеризуя, таким образом, первую половину жизненного пути А. Н. Формозова.

В собранных здесь текстах немало свежих оригинальных наблюдений ученого-зоолога. Но главное заключено не в этом, в том, как автор рассказывает о природе. Именно это ценили в книгах А. Н. Формозова известные писатели-натуралисты М. М. Пришвин, В. К. Арсеньев, Э. Сетон-Томпсон. Это и дает право на переиздание книг и статей, написанных уже давно, но с искренней горячей любовью к нашей нестареющей природе.

*А. А. Формозов*

# Шесть дней в лесах

## Приключения юных натуралистов



*Первому учителю в охотничьих скитаниях по лесам и болотам, дорогому отцу и другу — Николаю Елпидифоровичу Формозову\* эту книгу посвящает автор*

Когда же я вспомню, что этой порой  
Весна на земле расцветает,  
И сам уж не знаю, что станет со мной:  
За сердце вот так и хватает!  
Теперь у нас пляски в лесу молодом  
Забыты и стужа и слякоть —  
Когда я подумаю только о том,  
От грусти мне хочется плакать!  
Теперь, чай, и птица, и всякая зверь  
У нас на земле веселится:  
Сквозь лист прошлогодний пробившись  
теперь,

Синеет в лесу медуница!  
Во свежем, в зеленом, в лесу молодом  
Березкой душистою пахнет —  
И сердце во мне, лишь помыслию о том,  
С тоски изнывает и чахнет!

(А. К. Толстой. «Садко»\*)

I

## СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА. ПОЧЕМУ СЕВКУ ЗВАЛИ ПИЧУЖКИНЫМ

Горностай был виновником их первой встречи, а их дружба зародилась в орешнике сизым зимним вечером.

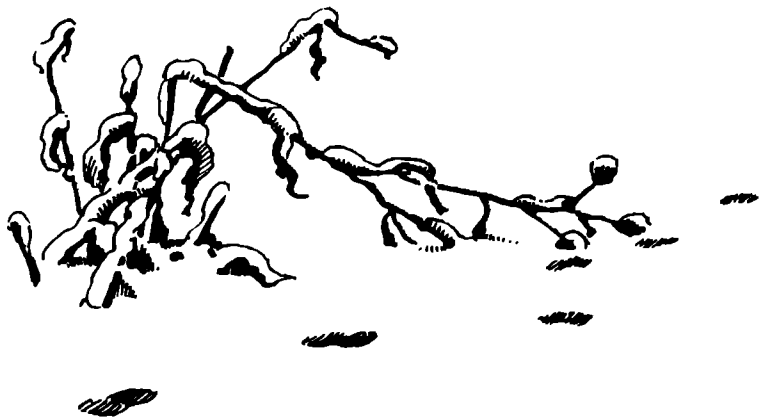
Это было два года тому назад. Над густым чернолесьем спускались сумерки и сороки уже прилетели на ночевку, когда Гриша



натолкнулся на свежий след какого-то зверька. Двойные отпечатки лапок чередовались с длинными прыжками, и тонкая ленточка следа, обегая кусты ивняка, скрывалась в орешник. Гриша опустил на колени, вынул записную книжку и только набросал контуры следа, как из-за кустов послышались шорох и легкий хруст ветки. Мгновенье спустя, с шипением снега, рассекаемого быстро бегущими лыжами, скатился в ложину высокий, худощавый мальчик с ружьем за плечами. Он был несколько старше Гриши и казался не менее удивленным, чем застигнутый врасплох и медленно поднимавшийся с колен художник. «Вам понравились следы горностая?» — спросил незнакомец, чтобы как-нибудь нарушить неловкое молчание. «Да я так... просто...» — сконфуженно пробормотал Гриша, словно пойманный на дурном поступке, и добавил еще более робко: «А разве это горностай?» Без тени поучения в голосе незнакомец описал отличительные признаки следа маленькой хищника. Оказалось, что зверек, опутавший извилистой цепочкой пушистые снега ложины, был самчик (прыжки самки всегда короче и отпечатки лап меньше). Ребята разговорились и продолжали оживленно беседовать, быстро приближаясь к городу, один на хороших полулесных лыжах, другой на расколотых и заплатах деревяшках.

Веселые черные глаза незнакомца, его зарумянившееся от ветра лицо, оленья шапка и плечи, усыпанные смерзшимся снегом, заплатки на серой куртке и ружье, казавшееся Грише верхом совершенства, — все-все располагало к себе сердце мальчика. Всеволода Бурцева в первой губернской гимназии знали больше под кличкой Севки Пичужкина. Из года в год его неутомимые попытки изображать овсянок, дятлов и синиц оставляли бесчисленные следы на тетрадях для алгебры и французского, даже на обложках учебников. На уроке латинского никто не произносил

Следы горностая



с таким чувством, как Севка, всем известную фразу учебника «Аквиле альтэ волянт» («Орлы летают высоко»). В мечтах он и сам уносился в подоблачные выси и парил вместе с птицами где-то высоко над кафедрой, за которой сидел суровый зычноголоый латинист Агафангел Васильевич\*.

Смелые рисунки в Гришиной записной книжке сразу привлекли внимание Севки. Оба угадывали друг в друге собрата по страстному влечению к природе, по любви к живому, по упорному стремлению все увидеть своими глазами. Они удивлялись, что, живя в одном городе, не могли встретиться до сих пор. Гриша, как оказалось, учится во второй гимназии, которую гимназисты из первой считали лагерем заклятых врагов. При встречах полагалось давать им почувствовать это самым осязательным образом. Но здесь, на снежном ночном поле, было бы просто смешно вставать в позу дерущихся молодых петухов. Лыжи их шли рядом, тихо поскрипывали; мороз заметно крепчал. Мальчики на ходу перебрасывались короткими фразами. Не странно ли — оба они «страшно не любят математики...», оба ведут дневники наблюдений, оба заправские рыболовы, оба зачитываются рассказами Э. Сетона-Томпсона и В. Лонга\*.

Мало-помалу следы неловкости, все еще мешавшей им сблизиться, растаяли, словно иней утренняя после восхода солнца. Пять километров, отделявшие их от города, промелькнули совсем незаметно. Расставаясь на перекрестке улиц, они обменялись крепким рукопожатием и решили встречаться как можно чаще.

Две зимы и лето прошли с тех пор. У Гриши теперь было свое собственное ружье — длинная двухствольная шомполовка, а у одних знакомых он достал полевой бинокль, очень облегчавший наблюдения. Вместе с Севкой они совершили много прогулок в окрестностях города, но мелкие вырубленные крестьянские леса своим истерзанным, печальным видом все чаще и чаще заставляли друзей мечтать о глухих, заманчивых дебрях заволжских ельников, о журчащих пенистых речках, о птицах, знакомых только из книг, о всем том, что было и близко и так труднодоступно.

Целые часы проводили они в мечтах о походе. «Два неразлучных друга: Пичужкин и его... подруга», — острили гимназисты, ударением на последнем слове подчеркивая женственную мягкость в характере Гриши, и гоготали дикими голосами, что считалось признаком «хорошего гимназического тона».

---

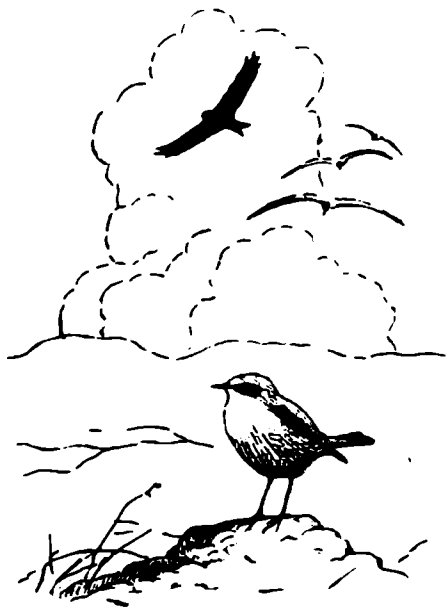
\* Здесь и далее звездочками отмечены примечания составителя, помещенные в конце книги.

## ВЕСЕННЯЯ ВЫЛАЗКА И ПЛАНЫ ПОХОДА

Тихо скрипнула дверь. Кто-то осторожно поднимался на второй этаж, стараясь остаться незамеченным. Но одна из галош так громко чмокала на каждом шагу и оставляла на лестнице такие заметные следы, что пришлось ее снять и нести в руке. Гриша — это был он — нерешительно постучался и, съездившись, скользнул в прихожую. По счастью, дверь отпирала сестра, и, прежде чем успела появиться мать, пострадавшие галоши уже были запряваны в темный угол, но гимназическая шинель предстала ее глазам в том самом виде, в каком она неизменно прибывала с каждой весенней загородной прогулки мальчика. Большой шлепок мокрой глины в форме пятерни с растопыренными пальцами украшал ее левую полу. Он служил центром для бесчисленных мелких звездочек грязи — наглядных следов пятишести добрых прыжков через весенние ручьи. Зачерпнувшая грязи галоша и забрызганная шинель вместе с традиционным и давно знакомым выговором матери (Гриша даже наперед знал, что она скажет) были единственными облачками, омрачавшими лазурные удачи сегодняшней прогулки.

Четвертого урока не было, а от пятого мальчик ускользнул, спрятав книги за пазуху. Шмыгнул мимо надзирателя, вихрем вылетел через гимназический двор, как у них всегда водилось, и, опоздав к обеду, провел четыре упойтельно-радостных солнечных часа на первых проталинах на берегу Волги. Он видел, как летевшие на громадной высоте чайки с криками вынырнули из прозрачной ласковой сини неба и начали спускаться к реке, к большим поляньям у пригородной слободки. Заметил первого коршуна, кружившего над садами, белую трясогузку, каменку, гревшуюся на солнце. В овраге обнаружили только что распутившиеся цветочки мать-и-мачехи, маленькие, приземистые, но такие нежные, с тонким запахом, невнятно шептавшим, что близится, близится счастливая пора... Сейчас он бережно вытащил из кармана походный альбомчик и, наскоро пообедав, спешил занести в дневник наблюдения этой прогулки.

С минуты на минуту должен был появиться несчастный Севка, писавший сегодня классную работу по алгебре. Ее успех решал судьбу задуманного друзьями похода на глухариные тока. Уже неделю тому назад Гриша начал даже вести «дипломатические» переговоры с целью получить разрешение отца уйти охотиться на несколько дней и добился успеха. Дома никто не был осведомлен о действительных опасностях этого предприятия. В свою очередь Севка от своего отца, старого охотника, и от некоторых знакомых получил ряд сведений, которые могли быть полезны друзьям в изучении весенней жизни леса. У Гриши все уже было готово к походу, у Севки оставалась лишь алгебра — с ней надо было «разделаться», чтобы беззаботно провести весенние каникулы.



Легко себе представить то нетерпение, с каким Гриша ожидал появления друга. «Ну, что?» — было первым его вопросом. «Решил!» — приплясывая, отвечал Севка; торжествующее «ура» двух голосов покрыло короткое, так много обещавшее слово.

Заговорщики засели в маленькой комнатке, где заботливо вычищенное ружье висело над столиком. Растянутая шкура барсука, загрызенного собаками и найденного Гришей близ окраины города, была здесь самой большой драгоценностью из числа блиставших в простенке между окнами. Друзья несколько раз подсчитали количество сухарей, хлеба, масла и пшена, необходимых для жизни в лесу. Они хоте-

ли, чтобы вес продовольствия ни в коем случае не превысил десяти килограммов на каждого. Мешки предстояло нести на своих плечах, а найти попутчика с лошадью в весеннюю распутицу не было никакой надежды. Вместе с ружьями, зарядами, зимней одеждой, которую необходимо было взять, по словам отца Севки, котелками и другим скарбом нагрузка каждого должна была получиться довольно большой. Гриша, напившийся сегодня теплом и запахами проталин, был так уверен в весне, что горячо противился необходимости взять рукавицы и меховые шапки, но Севка настоял на выполнении совета отца. Друзьям не пришлось раскаяться в том, что они последовали указанию опытного охотника.

«Охотничий календарь» Сабанеева послужил друзьям в этот вечер предметом долгого и внимательного изучения. Мальчики несколько раз прочли все главы, касающиеся весенних охот, а многие места из статьи о глухариних токах выписали и заучили наизусть.

Вот главные сведения, почерпнутые ими из книги. «Глухари начинают токовать в конце марта, когда в лесу еще много снега, а кончают в последних числах мая, когда лес оденется первой листвой. Весенняя охота основана на том, что токующий глухарь, делая последнюю трель своей песни, очень плохо слышит и видит. В этот момент даже выстрел, не повредивший птицу, не может ее спугнуть. В промежутках между песнями и в начале шелканья необходимо соблюдать тишину и неподвижность — глухарь чутко

вслушивается и долго оглядывается, прежде чем «распеться». День птицы проводят поблизости от тока, перед закатом летят к токовищу и ночью сидят на тех деревьях, где утром начинают петь. В половине апреля ток начинается около половины третьего ночи. Некоторые глухари хорошо, но недолго поют и на вечерней заре. Садясь на дерево, глухарь коротко и сильно хлопает крыльями. В тихий вечер, наблюдая за перелетами глухарей, выслушивая шум их посадки, удастся точно определить место тока и количество слетевшихся петухов. Из года в год тока происходят на одних и тех же местах, чаще всего по окраинам моховых болот с редкими сосенками или на самом болоте. Часть глухарок не ночует на току, а прилетает утром, по их полету тоже можно разыскать токовище»\*.

То, что скупо, без живых ярких красок, было описано в книге, дополняли рассказы Севкиного отца. Плохое здоровье, годы канцелярской службы давно лишили его возможности охотиться. Он ничего не мог сказать ребятам о ближайших к городу местах, где можно найти хорошие тока, но сразу оживлялся, вспоминая свои охоты в старину. «Верст двадцать за Волгу уйдете, там в деревнях разузнаете, — говорил он. — Да тетерева и сами себя покажут. Бывало, на зорьке в Красном Яру на крыльцо только выйдешь, а кругом по опушкам все так и кипит, так и клокочет! Столько поет поляшей, что не пересчитаешь! Бормочут, чуфыскают — далеко их в тихую погоду слышно! Глухарей искать потруднее... Редкая стала эта птица; тока все по самым глухим местам. Да и поет петух тихо, слышно его шагов за двести,



редко больше. Зато лучше охоты в наших местах, пожалуй, что и нет! Глухарь — петух красивый, огромный. По сучку пройдет, хвост веером развернет, шею вытянет, голову кверху запрокинет, пошелкает-пошелкает и заскиркает-заскрипит. На этом колене — как косу точит; тут к нему и подсакивать! А в лесу еще ночь — темнота, еле-еле зорька на востоке просвечивает. Под ногой ветка треснет или наст захрустит — так жаром тебя и обдаст: тихо надо подсакивать, без шума... Глухари не все сразу поют; бывает на ток пять-шесть штук слетится, а сидят молча; слышишь песню только одного. Таких «молчунов» легко подшуметь, тогда все дело испортишь. Ночью в лесу глаза беречь

надо: сгоряча в темноте на сухие еловые лапы напороться недолго, — без глаз тогда останешься. И места надо хорошо примечать — направление помнить: в темноте до рассвета так бывало закрутишься, что не знаешь, где право, где лево, куда выходить. Кругом болота, лось непролазная...»

Заманчиво звучали рассказы охотника о диких криках филинов в ночном лесу, о шумных схватках глухарей на земле, когда слетят они после восхода солнца, закончив игры и песни на деревьях.

### III

## В ЗАВОЛЖСКИЕ ЛЕСА! ПЕРЕХОД ДО ПЕРВОГО НОЧЛЕГА

Прошло пять дней со времени «совещания», как громко называли мальчики свою вечернюю беседу. Волга вскрылась, полая вода прибывала на глазах, захватывая все большие и большие участки лугов. С высокой набережной оба друга готовы были часами смотреть на спокойную сверкающую гладь реки, на большие массы льда, медленно уходившие вниз по течению, на черные лодочки, бесстрашно сновавшие от одного берега к другому. Там, за рекой, беспредельные заволжские леса сливались с голубой трепещущей далью, туда — на вольный воздух неудержимо влечет ребят любовь к приключениям. Манило также странное чувство, каждую весну рождавшееся где-то в глубине души и сладко шемившее сердце. Вырваться из опостылевшего города, бросить все и идти! Кочевать неудержимо, как кочуют вот эти перелетные гуси, недосыгаемой, еле видной вереницей уплывшие через реку к далеким озерам своей туманной родины. В ушах мальчиков звучит, не умолкая, чудесный зов гортанных, диких криков.

Приближался долгожданный час выступления в путь, и ровно в полдень на второй день праздников два пешехода, с ружьями и большими плотно набитыми мешками за спиной, спустились к перевозу на берегу Волги. Паром еще не работал, ожидая конца ледохода; на переправе действовали только лодочки. Одна лодка была почти полна пассажирами и собиралась отплыть. Мальчики быстро заняли свободные места. Рулевой встал, поплевал на руки и, навалившись на кормовое весло, оттолкнулся от берега. Гребцы дружно взмахнули веслами, нежно зажурчала вода, рассекаемая острым носом. Лодка, подхваченная течением, понеслась к далекому селу, лавируя среди множества изъеденных водою льдин, пригнанных течением к правому берегу. Мерно колыхаясь, сталкиваясь, звеня и шурша, они вереницами плыли туда, где суждено им растаять. Порою целые ледяные поля с отрезками зимних дорог, с ветками и еловыми лапами, еще недавно

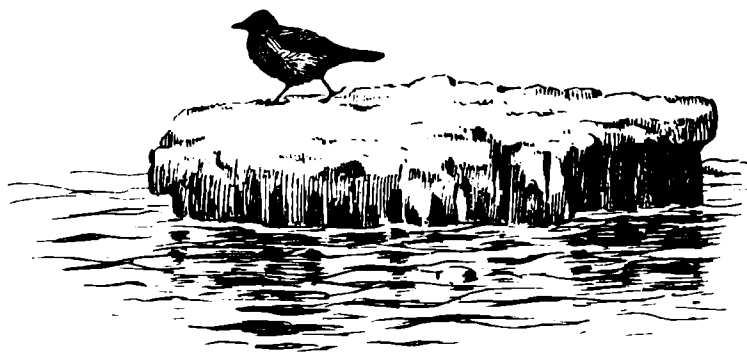


Речные чайки

отмечавшими занесенный снегом путь, медленно проходили мимо лодки. Чайки с резкими криками вились над водой, вороны плыли по течению, прихорашиваясь или важно расхаживая на льдинах. Бодрый говор и шум царили над рекой; веяло простором, пахло ветром, водой и смолой от костров, близ которых чинили лодки.

Весла упруго гнулись при каждом взмахе, пузыри и пена струей бежали из-под кормы, берег быстро приближался, течение ослабевало. «Суши весла!» — скомандовал рулевой. Послышался легкий толчок — лодка остановилась, мальчики первыми выскочили на песок.

На радостях почти рысью пробежали они полосу лугов от берега до большого села, где на время приняли более степенный вид и пошли медленнее. Застенчивый Гриша, мало знакомый с деревенскими нравами, всегда чувствовал сильное смущение, когда дорога приводила его на улицу поселка. Иной раз он готов был сделать лишние два-три километра по грязной пашне или болоту, лишь бы стороной обойти деревню, не встречать незнако-



мых, но разговорчивых людей, не отвечать на их вопросы. И в то же время часто убеждался, что его нелюдимость — плохой спутник в дальних походах. С завистью наблюдал он за Севкой, легко сводившим дорожные знакомства, бросавшим ответные стрелы шуток в задиристых деревенских ребят, каким-то особым чутьем находившим радушных «дяденек» и «тетенок» в каждой встречной деревне.

Колокольный заливистый звон плыл над улицами этого села. Группы празднично одетых ребят играли в бабки и лапту, гонялись взапуски по просохшим проулкам. Большая толпа стояла на площади около качелей. Двое наших путников, с их ружьями и мешками, привлекали общее внимание. Задорные выкрики, прибаутки летели им вдогонку. Особенно доставалось Севке, высококую тощую фигуру которого огромные отцовские сапоги делали довольно смешной. Оба облегченно вздохнули, когда людные улицы остались позади, а пенье хороводов и скрип праздничных качелей сменились голосами десятков жаворонков, игравших над зеленым бархатом озимей. Город, окутанный дымом, исчез за рекой вместе с гимназиями, латынью, двойками и тройками... Чувство полной свободы, близость природы, разбуженной солнцем, смеющейся, звенящей песнями, дышащей ароматами проталин, разом заворожили, опьянили путников. С большим трудом они взяли себя в руки и торопливый шаг заменили мерной походкой, рассчитанной на много километров пути.

«Как хорошо-то, как хорошо!» — несколько раз повторил Севка, вдыхая глубоко всей грудью свежий, влажный воздух. Гриша троекратно крикнул «ура», высоко подкинув шапку в воздух. Он тоже был полон ощущением внезапного прилива сил, животельной бодрости, проникшей в каждую клеточку тела. В эти минуты даже тяжесть мешка и ружья, всего крепко прилаженного снаряжения казалась по-своему приятной; они неизбежно и прочно сливались с радостями дальнего охотничьего набега.



Южный ветер слабыми порывами налетал сзади, ласково касаясь шеи и рук. Вместе с ветром легкими порывами, теплыми волнами, то замирая, то усиливаясь, отовсюду доносились песни жаворонков. Казалось, сами светлые редкие облачка рассыпают этот прозрачный, переливчатый дождь. Тонкой серебристой дымкой колыхается он над полями, вместе с солнечным светом льется на вязкие пашни, пары, узкую, змеистую ленту дороги. Замолокнет один, упадет камушком в смятую желтую жниву почти к самым Севкиным «сапогам скороходам», а на смену поднимаются новые два или три, с песнями еще более звонкими. Легкие трепещущие крылья просвечивают на солнце, блестят, как прозрачная слюда.



Свиристель

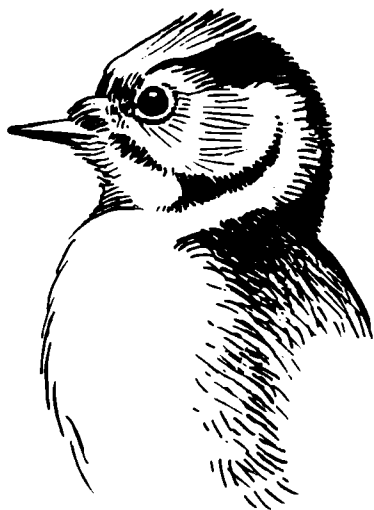
«В небе льются света волны... Вешних жаворонков пеня голубые бездны полны...» — вдруг припомнилось Грише\*. «...Голубые бездны полны...» Как хорошо сказано! Он задумался, сиюсье восстановить в памяти начало стихотворения и ускользнувшее имя автора.

Извилистая, очень грязная дорога шла вначале полями, затем опускалась к кустарникам и болотам, чтобы вскоре подняться в старый бор, за которым лежала первая деревня. Севке осенью не раз приходилось бывать в этих местах; он взялся быть проводником. Друзья довольно быстро пересекли пашни и жнивы, но уже в кустарниках, где клубился теплый, душистый пар, были вынуждены то и дело останавливаться. Почти на каждом шагу встречалось что-нибудь интересное. Два крупных хищника, неподвижно распластав крылья, большими плавными кругами вились над болотистой низиной. По темной окраске, по мощным тупым крыльям и короткому хвосту Севка определил, что это большие подорлики. Птицы широкими кругами поднимались ввысь и растаяли в прозрачной сини неба, ни разу не взмахнув крыльями. Гриша так напряженно рассматривал орлов в бинокль, что на глазах у него показались слезы... Толстая медлительная жаба с буровой спиной, неровной, как сморщенная сушеная груша, сидела у дороги и грелась на солнце, вопреки своим летним обычаям. Множество ящериц шуршало в листве едва просохшего



Чечетка

Пушистые, розовато-серые, доверчивые птички подпустили к себе на несколько шагов. На родине свиристелей, в тайге севера, люди так малочисленны и так мало вредят мелким птицам, что последние не считают человека за врага. Поэтому поразительной доверчивостью отличаются прилетающие к нам с севера шуры, чечетки, кедровки и другие. Свиристели только что до отвала наелись синих ягод можжевельника и теперь отдыхали и нежились на солнце, живописно рассыпавшись по ветвям.



кустарника; некоторые из них грелись на припеке, плотно прижавшись к теплой, шероховатой поверхности пней.

Десятки травяных лягушек вяло шевелились и урчали повесенному в мутных лужах на дороге. Местами их круглые головы были рассыпаны по воде, как множество крупных черных пуговиц. Звук шагов заставлял лягушек прятаться в воду, но уже через минуту своеобразный рокот хора начинался снова. Птицы шебетали и переключались в кустарнике. Его оголенные ветви не скрывали пернатых от острого взгляда мальчиков, то и дело отбиравших друг у друга бинокль, чтобы полюбоваться то одной, то другой пичужкой. Стайка красивых хохлатых свиристелей надолго приковала внимание друзей.

Дружная стайка чечеток украсила поникшие ветви березы и осыпала на землю, развеяла мелких крылатых семечек гораздо больше, чем сумела поесть.

И свиристели и чечетки готовились к отлету из поволжских лесов, где они проводили зиму, а взамен прибывали с далеких южных зимовок птицы «летую-

Малый пестрый дятел

шне», те, которые проводят у нас только теплое время года. К этой группе принадлежали подорлики, зяблики, зарянки, певчие дрозды и многие другие из шумного общества, копошившегося по проталинам<sup>1</sup>.

Весна этого года была ранняя, и друзья удивлялись, что четвертого апреля нашли в лесу такое оживление. Но все изменилось, едва дорога вошла под сень высокоствольного молчаливого бора. В тени зеленых шатров елей и сосен сырой зернистый снег еще лежал сплошной пеленой. Лишь кое-где около пней и на холмах появились небольшие проталины. Сочные изумрудные, пурпурные, малахитовые краски мшистого ковра, как первый робкий намек на весну, ярко горели в освещенных местах. Их красиво оттеняли белые пятна и узоры синих теней снега. Здесь было сыро и холодно. На опушке смолистые почки березы начали набухать, и по краям болота зацвела пушица, своими колосками нередко

#### Следы белки



пробивая тонкий слой снега. А растительность бора еще спала крепким зимним сном. Даже птиц было мало: издали слышался стук дятла, да гаички на разные тона тянули свое «тю-тю-тю-тю-тю-тю»... Зато во многих местах виднелись следы белок и целые кучи чешуек и сора от разгрызенных еловых шишек.

<sup>1</sup> Нельзя было отнести к группе «летующих» только малого пестрого дятла. Он, как и большинство дятлов, принадлежит к группе кочующих птиц, т. е. тех, которые, не улетая на зиму из наших краев, все же двигаются из леса в лес, из роши в рошу в зависимости от наличия корма (здесь и далее подстрочные примечания принадлежат автору).



Гриша питал какое-то особенное чувство к узорным следам и следочкам мелких зверьков и сейчас, лишь только натолкнулся на хороший отпечаток четырех лап резвой белки, как принялся за рисование, хотя следы белки были ему давным-давно знакомы<sup>1</sup>.

Окончив рисунок и запрятив альбомчик в карман, Гриша вдруг заметил серую тень, мелькнувшую у ствола дерева. Проваливаясь в снег, он подбежал к сосне. Белка бросила недогрызенную шишку, в которой оставалось еще много семян, и, недовольно цокая, уселась на короткой ветке. Мальчик смотрел на нее, задрал голову.



<sup>1</sup> У белки точно так же, как у зайца, бурундука, лесных мышей, крупные отпечатки задних конечностей располагаются впереди передних. Во время прыжка зверек сжимается в комок и закидывает далеко вперед сильно вытянутые задние лапки. Передние в это время сокращены и слабо опираются на снег. Прыжки белки были длиной от 35 до 80 сантиметров, смотря по тому, двигался зверек медленно или спешил.

Белка покачивала большим красным хвостом и, наклонившись, разглядывала своего наблюдателя, продолжая урчать и цокать. Затем она перебралась на ствол и... начала спускаться прямо к мальчику, держась вниз головой, делая короткие прыжки, сопровождаемые таким странным завыванием, которого изумленный наблюдатель никак не ожидал услышать от этого, казалось бы, хорошо ему знакомого зверька. «Иди, иди!» — говорил Гриша, протягивая руку и стараясь чмокать по-беличьему. Шустрый черноглазый зверек продолжал приближаться, роняя кусочки коры, но прыжки его делались все нерешительнее, все короче, и вдруг, повернувшись, он стрелой взлетел вверх. «Цок-цок, чук-чук», — взволнованно повторяла белка, распушив кисточки на ушах и порывисто встряхивая рыжим хвостом вслед за каждым звуком... Нерешительно повертелась на ветке... и снова стала спускаться. На этот раз забавная зверушка остановилась всего в одном метре над головой мальчика и еще быстрее с воем взлетела на свою ветку. Так повторилось четыре раза. Гриша не знал — играет с ним белка или хочет спуститься на землю. Он был готов развлекаться с ней целый час. Но тут некстати появился Севка и неожиданным шумом напугал зверька. Белка скрылась в вершине, а мгновенно спустя друзья увидели, как на высоте тридцати метров над землей, вытянувшись и распластавшись, она перелетела на соседнюю ель. Тонкая гибкая еловая лапа качнулась, едва не сбросив зверька на землю, но цепкая белка удержалась, перебежала к стволу, поднялась еще выше, перепрыгнула на другое дерево, на третье и быстро исчезла в вершинах. Весь путь ее шел «вверхом», или «грядой», как говорят охотники-белковщики. Спускаться на землю ей, видимо, не было никакой нужды, и все то, что произошло перед этим, приходилось считать игрой.

Трудная дорога, то грязная и топкая, то залитая водой, то покрытая снегом, проваливающимся на каждом шагу, и большой груз на плечах начали утомлять наших путников. Они дошли до места, где лес по сторонам дороги стал более мелким, а проталины обширными, и не могли устоять против искушения отдохнуть. Гриша переобувался, Севка укорачивал лямки мешка, когда с дороги послышались звуки деревенской песни и с мальчиками поравнялась молодая женщина в ярком и пестром праздничном платье. За плечами на палке висели ее новенькие ботинки, узелок и полубубок. Она шла босиком, что всего более поразило друзей, и беззаботно распевала, видимо, направляясь гостить в соседнюю деревню. «Здравствуйте, молодчики!» — приветливо произнесла она, остановившись около взмокших и покрасневших ребят. «Больно скоро вы разомлели... Видать — не городское дело котомочки носить?» Друзьям и без того досаждало отсутствие привычки носить груз, а от неожиданной, правда, добродушной насмешки «пестрой бабы», как сейчас же окрестил ее Севка (гимназисты — любители давать прозвища), им стало немного не по себе. «Далеко ли путь держите?» — спросила незнакомка, внима-

тельно их осмотрев. Севка охотно признался, что идут тока глухаринные искать, охотиться, да не знают толком, где будет вернее. «Нам, главное, леса найти безлюдные, большие, а птица сама себя покажет». Тут он невольно повторил слова отца.

Женщина, видимо, хорошо знала эту округу. Махнув рукой вперед, она заговорила немного нараспев и сильно «окая», как все заволжские. «Дорожка вам, робятки, — одна! Версты три прямо, а как мосток перейдете — направо. Тут зимняя короткая дорога пошла в Митино и Рожновку. В Заборье придете — переночуете. А за Заборьем — самые, что ни на есть громадные леса пойдут. Такие бора, такие бора, что и с топором не бывано!..» Она немного приостановилась, видимо, сама любясь своей складной речью. «Мы в те дальние бора по грибы, по клюкву, бруснику каждую осень ездим. Кадки, пестерья на возах с собой везем. Иной год этих поляшей да тетьер много спугиваем. Табун-от взлетит — шум такой — даже страшно делается. А в Заборье свояк наш жительство имеет — Архипов Ефим — на дальнем конце второй дом от края. К ним ночевать заходите; люди они хорошие, до гостей приветливые. Поклон передавайте — Марья, мол, кланяется — встретилась нам по дороге... С ночлегу-то чуть свет выходите, пораньше. С ношей по холодку идти привольнее, не как днем, в жару. Из Заборья пойдете — речка встретится, за рекой смотрите кордон: на кордоне лесник есть — он токовища знает...» И уже на ходу, обернувшись, повторила еще раз: «Поклон-от не забудьте... Марья, мол, домой, к старикам гостить пошла...» Крепкие ее босые ноги быстро замелькали по дорожке.

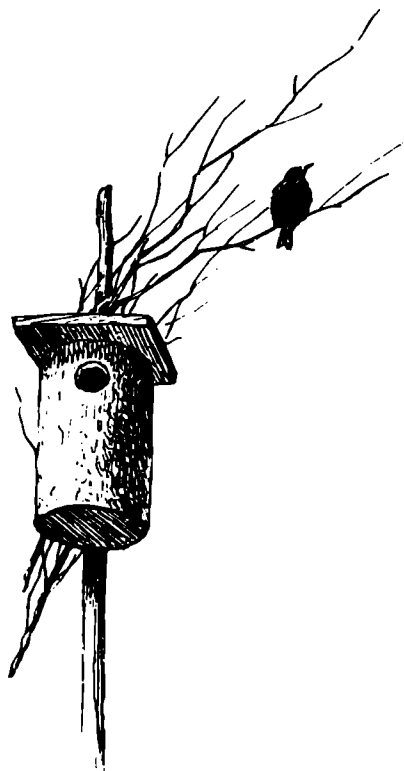
«Такие бора, такие бора, что и с топором не бывано, — мечтательно повторил Гриша. — И говорит как-то особенно, по-старинному».

«А ты как думал! Тут за Волгой весь народ лесной особенный... Хорошо, что тетка такая разговорчивая попалась — похоже, места она знает. В Заборье еще поразведем, а завтра теткинх поляшей и тетьер пугать будем...»

Отдохнувшие и окрыленные надеждой друзья продолжали путь, не переставая посматривать на отпечатки босых ног, видневшиеся на песке дороги и местами пересекавшие снег. Через час путники проходили Митино, где их долго преследовала гурьба ребятишек, побросавших бабки и на все лады кричавших «охооотниички... охоооотниички...». Еще через час пересекли грязные улицы Рожновки, где на Гришу кинулись собаки, а один из парней, сидевших на завалинке, крикнул вдогонку путникам: «Эй, ты, длинноногий журавель, лутошки свои не поломай!» Это явно относилось к Севке, но тот смолчал. Не стоило задерживаться для словесного турнира — день близился к концу, надо было торопиться — до ночлега оставался еще не один километр. Только на закате за сквозистыми ольховыми перелесками и большими плакучими березами показались, наконец, ветхие крыши Заборья.

Вечер был тихий с хрустально-ясным воздухом. Звонкие песни девушек неслись с дальнего конца деревни. Скворцы сидели около скворечников и, размахивая крылышками, наперебой спешили с песнями, в которых все красивые колена и трели были заимствованными. Собственные колена скворца — трещащие, малозвучные — совсем не могут сравниться с подслушанными птицей и умело заученными голосами.

Мальчики без труда разыскали избу Архиповых, и не прошло четверти часа, как оба, умытые и обновленные, сидели за столом. Парное молоко со свежим хлебом показалось им изысканным угощением, а постель в углу на широкой скамье доставила невыразимое блаженство. Оба заснули задолго до того, как начали стихать песни за стенами приютившего их дома. Двадцать два километра лесов, чередующихся с полями, легли между мальчиками и их родным городом.



#### IV

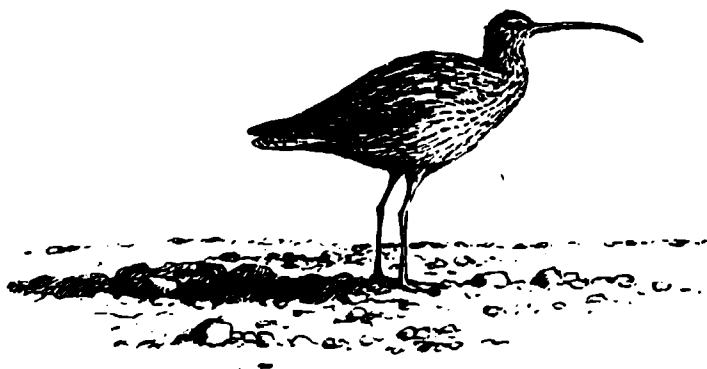
### ЛЕСНАЯ СТОРОНА; ДЕРЕВНИ ОСТАЛИСЬ ПОЗАДИ

«Надо будить ребят-то... Сказывали, чтобы пораньше...» — смутно, сквозь сон, слышалось Грише. Очертания избы еще терялись в предзвездных сумерках. В печи весело потрескивали дрова, а передвигаемые хозяйкой чугуны начали греметь уже с полчаса тому назад. Вставать не хотелось... Утомленные трудами предшествующего дня ноги и руки ныли после ночного отдыха. Сладко потягиваясь, Гриша неохотно поднялся. Севка спал, согнувшись калачиком, делая неудачные попытки спрятать длинные ноги под слишком короткую куртку. Разбуженный Гришей, он быстро вскочил и принялся за умывание, со смехом рассказывая, как всю ночь ему снились и мешали спать глухари. Через пять минут друзья уже сидели за самоваром. Севка расспрашивал

хозяина о дороге, а Гриша записал в свою книжку: «5 апреля. Ночевали у Архиповых (второй дом от околицы). Люди хорошие. В избе много тараканов. Вышли из деревни в пятом часу утра по хозяйским часам». Мешки и ружья заняли свои места за плечами, пояса плотно подтянули патронташи и, прощаясь с хозяйкой, которая никак не хотела брать платы за ночлег, мальчики сошли по скрипящему крыльцу. Улица была пуста, деревня еще не пробудилась, хотя дым вился из многих труб. Кое-где хрипло кричали петухи. За ночь подморозило — лужи покрылись тонким хрустящим ледком. Яркая заря разгоралась на востоке. Свежий, бодрящий воздух быстро прогнал остатки дремоты. Когда же за бурой полосой ржаного поля ребята увидели синюю гряду лесов, где ждал их целый рой сменяющихся впечатлений, весеннее утро наполнило их радостным трепетом и бурный восторг снова овладел ими. Хотелось петь, смеяться, не идти, а бежать, а ноша, так утомлявшая их вчера вечером, казалась теперь легкой, как перышко. Друзья, словно на крыльях, летели вперед и быстро приближались к опушке леса.

Большой кроншнеп, поднявшись с вязкой пашни, хриплым криком возвестил болоту о приближении людей и на несколько минут задержал юных натуралистов. Мальчики смотрели, как птица, взлетев на некоторую высоту, стала наклонно опускаться, почти не взмахивая крыльями. В то же время она издавала зычный флейтовый свист, сначала отрывисто и протяжно, затем все учащая и учащая следовавшие один за другим звуки. Это был токовый полет крупного осторожного кулика, с которым друзья уже раньше имели неоднократные встречи. Оба хорошо помнили, как трудно подползать к кроншнепу, остановившемуся для отдыха во время осеннего пролета на плоских песчаных косах Волги. А здесь птица была у себя дома: они видели, что кроншнеп опустился к своей подруге, такой же крапчато-серой с длинным кривым клювом, бегавшей по недавно оттаявшей озими. Обширное моховое болото, кое-где поросшее ивняком и березкой, было покрыто

Кроншнеп



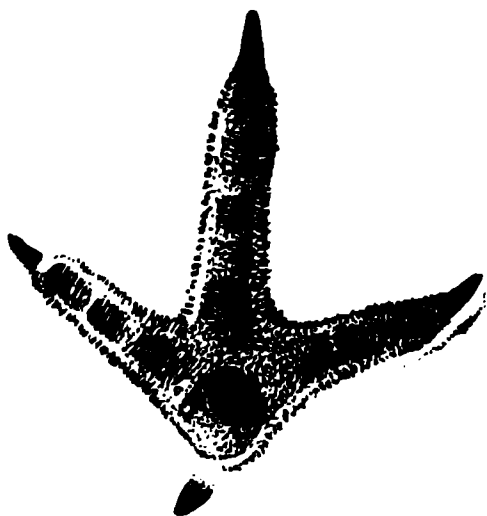


водой, поэтому кроншнепы, которые на нем гнездились, еще скитались по окрестным полям. На пашне у дороги во многих местах виднелись следы этих куликов. Ребята поспешили зарисовать отпечатки лап и теперь могли поручиться, что всегда сумеют их отличить.

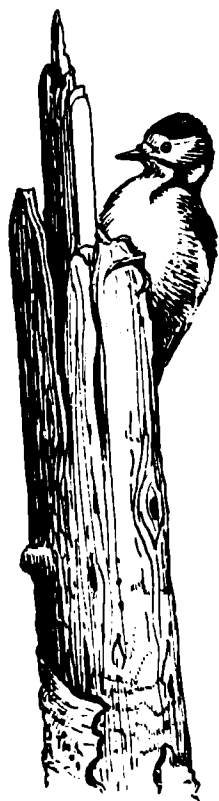
Вскоре зеленые ветви елей сомкнулись над путниками. В лесу было даже холоднее, чем в поле: всюду лежал снег, а оттаявшие за день проталины ночью снова заморозили. Тем не менее лес был полон жизни и ее голоса заставляли друзей часто останавливаться, чутко прислушиваясь. Солнце уже поднималось, горячими бликами зажигая вершины одиноких крупных сосен. Дрозды-дерябы, рябинники и белобровики, совсем недавно прилетевшие с юга, сидели на макушках деревьев и, топорща перышки, скорее декламировали, чем пели, свои флейтовые импровизации. Самцы-зяблики заняли каждый свой уголок леса и теперь гремели звонкими трелями навстречу восходящему солнцу. Один из них — чистенький, стройный с широкими белыми перевязочками на крыльях — распевал, прыгая по дороге, разыскивал корм и не хотел слетать при появлении мальчиков. Когда его все-таки спугнули, то на вспорхнувшую птичку, опустившуюся шагах в десяти от дороги, кинулся другой зяблик, владелец этого уголка ельника. Зяблик-хозяин и зяблик-нарушитель границ участка затеяли такую драку, что свер-



нулись в пушистый комочек с двумя растопыренными хвостами и четырьмя крылышками. В таком виде они с писком свалились на землю с ветки, где произошла первая стычка. «Что, попало!..» — смеялся Гриша, глядя, как пощипанный зяблик виновато поспешил вернуться к своему участку. Его провожала задорная песня победителя, изгнавшего пришельца оттуда, где он сам был



След кроншнепа



Дятел барабанит

кое-где оставшейся коры, напоминали желтизну мертвого тела, проглядывающего через темные лохмотья. Желудки дятлов всегда были полны белыми жирными личинками.

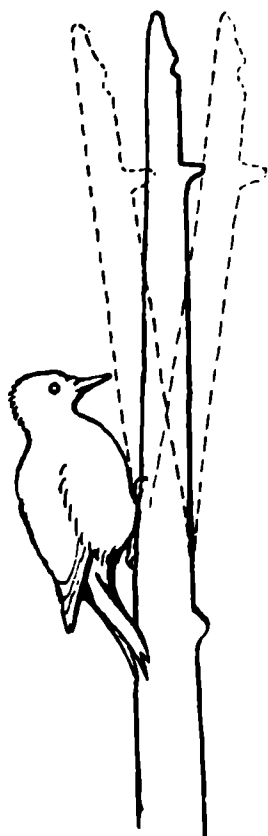
В это безветренное солнечное утро, когда все пело и радовалось весне, дятлы были в числе первых. Они не умели петь и избыток энергии, сил и радости выражали по-своему. Каждый разыскивал сухой сучок, стенку дупла или расщеп обломанной вершины, освещенной солнцем. Если при постукивании клювом сучок давал резкий сухой звук, он мог служить для избран-

намерен гнездиться и куда поджидал самочку (самцы-зяблики прилетают несколькими днями раньше самок).

В пение пернатого хора влетались шорохи, пiski, призывные крики, по которым друзья узнавали своих старых знакомых, еще не встречавшихся им этой весной. Они слышали нежные голоса первых, только что прилетевших пеночек-теньюков, голоса лесных коньков, завирушек, таившихся в хвосте, и других птиц, встречавшихся вчера.

Постепенно ельник сменился редким, сухим, горелым сосняком, на много километров тянувшимся поперек дороги. От пожара, бушевавшего в жаркое, сухое время, кора деревьев обуглилась, а высохшая хвоя осыпалась. Зеленый сосняк превратился в печальный лес из черных древесных скелетов. Бесчисленное множество жуков и личинок, питающихся лубом и древесиной больных деревьев, поселилось в увядших соснах. Потом дятлы слетелись за десятки километров к этому лесу и пировали целую зиму! Следы их работы — большие кучи щепок — виднелись под каждым деревом, а пятна обнаженной древесины, светлевшей из-под кусков



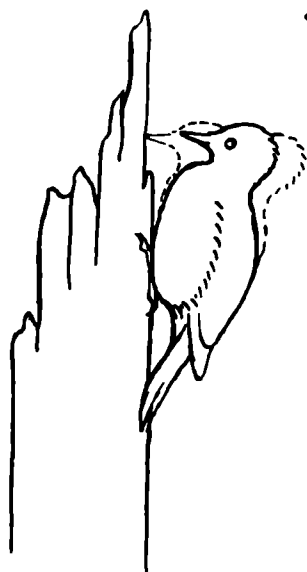


Не так

наблюдателя подойти поближе барабанщик слетел. Мелькнул ярко-красным подхвостьем, белыми заплатками на плечах и погнался за другим дятлом, пролетевшим мимо. К ним присоединился третий. Вскоре целая вереница этих пестрых шумливых созданий начала резвиться, лавируя между деревьями. Громкие трещащие крики играющей стаи были совсем не похожи на обычные голоса пестрых дятлов, а сама игра вполне могла сойти за своеобразное токованье. «Сыты, бездельники», — ласково погрозил им Гриша,

ной цели. Дятел усаживался поудобнее, твердо упирался жестким хвостом в дерево. Потом многократно, с поразительной быстротой, ударял по сучку клювом и оглашал лес протяжным громким треском, известным у натуралистов под именем «барабанной трели». В это солнечное утро барабанные трели слышались со всех сторон. Одни были глухи и низки, как отдаленный стон, другие — высоки, трескучи и звонки. Сливаясь вместе, они служили источником своеобразной музыки, будили мертвый сон горелого леса и оживляли звуками весны даже это печальное царство.

Гриша захотел увидеть «барабанщика». В бинокль он хорошо рассмотрел, с какой быстротой мелькала серая тень головы пестрого дятла, издававшего трели у самой дороги. Мальчик и раньше не верил в рассказы о том, что дятел сначала раскачивает ветку, а затем приставляет к ней клюв так, что дерево барабанит об дятла, а не наоборот. Теперь он окончательно убедился в противоположном. Рисунки птицы с ее «барабаном» не замедлил появиться в альбоме. При попытке



А вот так



Желна

стоявший под огромной горелой сосной. Но он был неправ — дятлы начали барабанить задолго до завтрака, едва успев после ночевки почистить свое оперение.

Тем временем Севка забежал на сотню метров вперед и подкрался на громкий стук к группе небольших сухих сосенок. Тут он увидел желну — самого большого нашего дятла, матово-черного с ярко-алой шапочкой.

Желна была ростом немного меньше вороны, а ее работу можно было сравнить только с ударами топора или большого молотка. Крупные куски коры и щепы летели от дерева, лишь только о него ударялся серовато-голубой, долотообразный клюв. Севка чуть-чуть пододвинулся и, приготовившись рисовать, вытащил записную книжку. Но черный дятел покосился на него своим острым белесым глазом и спрятался за ствол. Потом снова мельком глянул на мальчика, теперь уже другим глазом и с другой стороны ствола, еще раз покосился левым глазом, быстро поднялся к вер-

шине и, вдруг сорвавшись, полетел, ныряя в воздухе короткими крутыми дугами. «Трю-тррррююю-тррррюююю...» — зычно, протяжно закричал он, садясь на иззубренную верхушку соснового обломка шагах в восьмидесяти от Севки. Мальчик подошел к дереву, на котором только что трудился дятел. Сосенка была суха и вся пронизана узкими извилистыми ходами. Расширив ножом одну щель, Севка вытащил длинную белую личинку — гладкую, плоскоголовую с твердыми буроватыми челюстями. Она была в зимнем оцепенении и стала вяло шевелиться, лишь отогревшись в руках мальчика. Крупные личинки жуков-усачей и златок часто повреждают древесину засохших или больных, ослабевших деревьев; это любимый корм черного дятла.

Скоро подросел Гриша; вдвоем они быстро зарисовали ободранное желной дерево, кучу коры на снегу, личинку и ходы, проложенные в древесине. Потом поспешили к дороге. Звучное крепкое постукивание клюва послышалось снова, едва ребята отошли с полсотни шагов. Они оглянулись — желна уже труди-

лась на сосенке, вернувшись к занятию, прерванному людьми, всегда появляющимися так некстати.

Солнце уже поднималось над лесом; путники ворчали, что дятлы отняли у них время, и теперь наверстывали потерянное, стараясь идти возможно быстрее. Но унылый горелый сосняк казался бесконечным; только через час дорога пошла под уклон, показались березы и ели.

Кулик-черныш, с веселой песенкой пролетевший над лесом следом за своей подругой, объявил друзьям о близости воды. Ребята знали по расспросам, что дорогу должна пересечь речка Боровая, и появление кулика их очень обрадовало. Если речка близко, то уже более двенадцати верст пути пройдено и до ближайшего кордона остается только две трети дороги. И в самом деле — вскоре до слуха донеслось кряканье утки и шум бегущей воды. Утка кричала непрерывно, друзья заподозрили, что она не дикая, а охотничья — круговая. Осторожно подвигались они вперед, пока не приблизились к поляне. Здесь за узеньким кочковатым и мокрым лугом они увидели речку — быструю, искрящуюся, покрытую бегущими полосами пузырей, густой ельник



противоположного берега, купавший свои отражения в ее проворных струях, пятна белой пены близ упавших в воду деревьев и большой, построенный из лапника<sup>1</sup> шалаш, перед которым полскалась и кричала круговая утка.

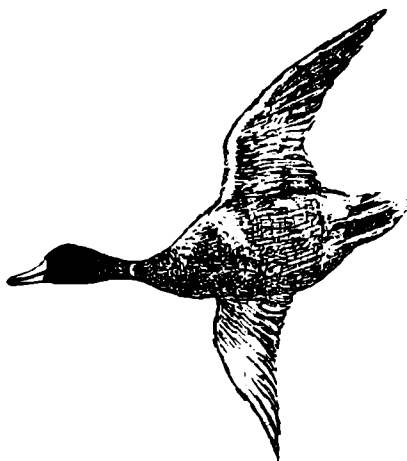
Охотника не было видно, но мальчики знали, что он сидит в шалаше, так как услышали его кашель. Они вышли к берегу и тут только заметили, что от моста виднелись одни полуразрушенные перила, а разлившаяся буйная речка катила через него красноватые воды лесных болот с веселым рокотом и шумом, слышным издалека. Оба были готовы к трудностям дальнего похода в весеннюю распутицу, но пришлось признаться, что вид скрытого под водой и, быть может, совсем размытого двадцатиметрового моста привел их в смущение. «Ничего, ничего, робятки! Не бойсь! Перейдете! Посошки только срубите!» — послышалось из-за речки. Затем у шалаша показались ноги, обутые в лапти, драный полушубок, и, наконец, пятась задом, охотник вылез из своего прикрытия. Мост, по его словам, был почти цел. Мальчики, пользуясь указаниями незнакомца, приступили к переправе. Ружья оставили на берегу, и Севка, подтянув повыше сапоги, осторожно пошел в воду, ощупывая поверхность моста палкой. В трех местах не доставало бревен; дважды ноги мальчика скользили по мокрому дереву; вода пенилась вокруг сапог... Затем течение стало тише, на бревнах моста появился песок, стало мельче, и, наконец, Севка вышел на берег. Вдох облегчения неволью вырвался у Гриши, с замиранием сердца следившего за каждым движением друга. А тот, сложив мешки и поздоровавшись с мужичком, уже брел обратно. Теперь предстояла труднейшая часть переправы: Гриша в своих сапогах с короткими голенищами не мог перебраться всей речки. Было решено, что он дойдет до глубокого места, а там сядет на спину Севки и «доедет» до берега. Сказано — сделано. При посадке на загорбки оба чуть не упали в воду, но как-то устояли на ногах и теперь постепенно приближались к цели. Севка покраснел от усилий, а Гриша болтал ногами и острил по поводу «езды на верблюдах». Охотник наблюдал переправу и усмехался в клочковатую, русую бороду. Скручивая цыгарку, он словоохотливо описал друзьям все приметы предстоящих тридцати километров дороги. Кордон, по его словам, стоял на видном месте — мимо никак не пройдешь. «А лесника позавчера встретил: с тока видно шел — двух глухарей ташил!» — Мальчики многозначительно переглянулись. «Не больно ладный он мужик-то», — вскользь заметил охотник. Ребята, увлеченные сообщениями о глухарях, мимо ушей пропустили последние слова. Но уже к вечеру пришлось о них вспомнить.

Охотник жаловался на неудачу. Его утка, маленькая и темноокрашенная, обладавшая голосом дикой кряквы, была отличной круговой и на утренней заре трижды подманивала к шалашу диких селезней. Но его, далеко не столь же образцовая, шомпо-

---

<sup>1</sup> Лапник — густые еловые ветки.

ловка трижды «отпала» в упор по уткам, устилая воду пухом и перьями. Все три селезня улетели. «Только добро переводишь, — сетовал охотник, сваливая всю вину на качество пороха. — Сам продрог, а шалаше ночь сидючи, круговую замаял да порожнем домой приду... То-то задаст мне жена!» Под эти сетования и добрые пожелания нового знакомого, сопровождаемые криками его утки, ребята быстро углубились в тенистый ельник.



Селезень кряквы

Впереди — тридцать километров дороги... Оба еще не чувствовали усталости; оба дышали полной грудью, упивались смолистым запахом ель-

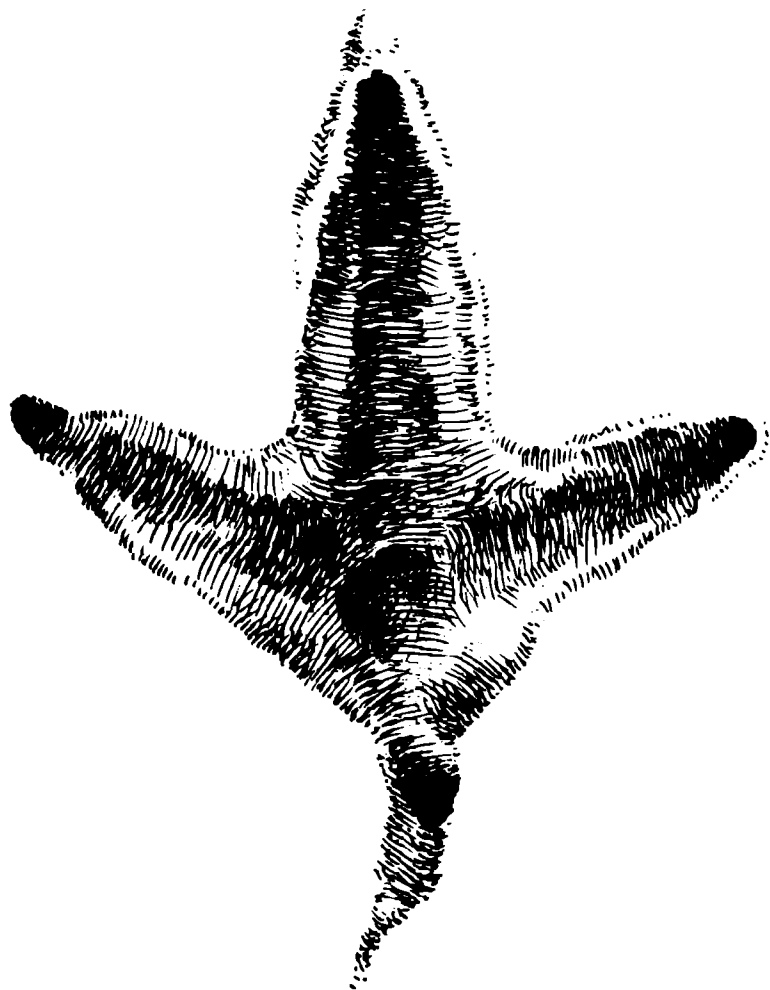
ника, согретого солнцем, ровным шагом проходили километр за километром. Дружные раскатистые трели зябликов были им веселым маршем, а попутчиками — еле видимые, еле слышные жаворонки, серенькими точками в глубине неба с песнями уносившиеся к северо-востоку. То летели птицы самых дальних полей — вологодские, архангельские, а может быть, и печорские. С ними за широкое лесное море на прозрачных легких крыльях прилетит зеленая весна.

Солнце припекало. Оттаяла дорога, на ее песке сапоги оставляли глубокие, четкие следы. Ручейки, журча, побежали по всем колеям и тропинкам. Над проталинами тонко запахло опавшим листом, в траве забегали паучки, желтые бабочки-крушинницы запорхали на пригреве. Сосняки сменялись ельниками, ельники — вересковыми пустошами, пустоши — низинами, а мальчики все шли и шли... На обтаявших холмах им улыбались золотыми сердечками крупные лиловые, одетые пушистой шубкой колокольчики раннего цветка сон-травы. Лесные жаворонки-юлы нежными строфами песен приглашали отдохнуть на вересковых полянах; синеватые сугробы снега в густых тенистых ельниках обведали прохладой. Зноем и душистыми испарениями окутывали большие проталины, а ребята продолжали безостановочно двигаться. Высокоствольный, редкий сосновый бор, с дорóгой, сплошь покрытой снегом, был самой скучной частью пути. Мальчики обрадовались, когда он окончился и его место заняли поляны, чередовавшиеся с молодыми сосняками. Здесь пели ганчки и поднялись с берез стайкой кормившиеся тетерева.

Наконец, местность по сторонам дороги начала понижаться, в колеях показалась вода и большие лужи стали то и дело пересекать пешеходную тропинку. Ельник постепенно вытеснил сосны,

а несколько дальше к нему примешались белоствольные тонкие березы с нежным красноватым кружевом ветвей. Севка, шагавший впереди, остановился, подождал Гришу и шепнул, что нужно быть настороже: место казалось интересным — каждую минуту можно ожидать появления «зверья». «Зверье» — этим коротким словом друзья обозначали все живое, что могло представлять интерес для наблюдений. Они пошли медленней, стараясь не бултыхать сапогами по лужам, и говорили шопотом, хотя в том не было большой необходимости. «Видишь!..» — на песке дороги ясно отпечатались свежие следы бахромчатых лап глухаря. Он совсем недавно ходил здесь, собирая мелкие камешки и песчинки.

След глухаря





Эти «жерновки» облегчают желудку глухаря трудную работу растирания жесткой сосновой хвои. Оба охотника ясно себе представили красивую темную птицу на золотистом песке дороги, пересеченной голубыми тенями и зеркалами воды. Севка припомнил рассказы о том, как на безлюдных, таинственных речках сибирской тайги глухари иногда заглатывают маленькие золотые самородки.

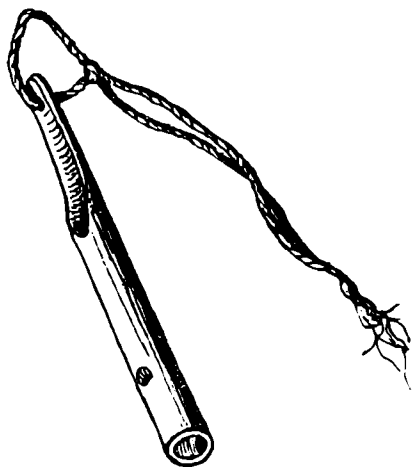
Дорога повернула вправо, а слева показала окраина небольшого мохового болота. Пухлые, нежно-зеленые, рыжеватые и красные подушки торфяного мха, разбухшие от вешней воды, были точно стрелами утыканы колосками пушицы. Сладко пахло багульником и болотом. «Знаешь что? Давай поищем ягод!..»

Мягкие кочки болота, действительно, опутывала тонкая сеть ползучих веточек клюквы, усеянных мелкими красноватыми листочками. Повсюду виднелись алые, сизые и розовые ягоды, прятавшиеся от нескромных взоров в густом и пушистом ковре мхов. Одни показывали только румяные щеки, зарывшись глубоко в мохнатый воротник мягкого сфагнового мха, другие купались на дне лужиц, просвечивая через слой ржаво-желтой воды.

Гриша не ожидал у самой дороги найти такое изобилие ягод. Но едва друзья дошли до середины болота, как выяснилось, что не они первые сделали это открытие. Две серые птицы шумно взлетели от ягодника и, мелькнув, как тени, скрылись, лишь только поравнялись с ельником. «Рябчики», — волнуясь от нетерпения, бросил Севка и, многозначительно подмигнув Грише, вытащил из кармана подобие самодельного портсигара. В нем были бережно уложены три белых свисточка. Он вынул средний, сделанный из гусиной кости, имевший отметку в виде красного шнурка. «Это мой любимый... Помнишь, я был в Зименках? Мне там глухаря давали за этот пищик да два манка магазинной работы — все равно отказался... Сейчас увидишь, как начнет работать!» Все это было произнесено торопливым шопотом.

Сбросив мешки, но захватив ружья, хотя последние и не могли им понадобиться, так как весной охота на рябчиков запрещена, друзья обошли небольшой полукруг. Севка хорошо заметил, где села маточка, и теперь старался осторожно пробраться между ней и самцом. Увидев, что первая часть плана удалась, он круто повернул туда, где, по его предположениям, должна была находиться птица. Рябушка оказалась несколько в стороне, но





полетела по тому направлению, которое было желательнее натуралистам. Они заняли место улетевшей. Укрывшись за маленькими елочками, Севка лег на землю, а Гриша сел, прислонившись к дереву. В руках первого был пищик, у второго бинокль и дорожный альбомчик. Молча и не шевелясь, они просидели минут пять-шесть. Обманутая их неподвижностью, хохлатая синица совсем было села Грише на шапку, но изменила намерение — прицепилась к коре дерева над самой головой мальчика и осыпала его мелкими кусочками лишаев.

Еле слышное постукивание маленького клюва было единственным звуком, нарушавшим окружающую тишину. Где-то очень далеко распевали дрозды...

Севка продул пищик, твердо прижал его к губам и призывная трель самки рябчика разнеслась по молчаливому ельнику. Точно эхо в то же мгновение прозвучал ответ самчика, а вблизи от друзей долго-долго свистела пищуха и знакомая нам хохлатая синичка. Нежный, тонкий посвист рябчика так похож на голоса корольков, синиц и пищух, что они постоянно на него откликаются. «Тиииии-тииньюи-ти», — снова поманил Севка. Рябчик ответил теми же двумя коленами, но последнее короткое «ти» было у него растянуто в маленькую трель. Это и есть одно из лучших отличий зова самца от голоса самки. Вскоре друзья услышали, как рябчик спорхнул на землю, и по шороху сухих листьев поняли, что птица бежит к ним. Шорох то замирал, то снова начинал приближаться. Совсем пригнувшись к земле, Севка возможно



Хохлатая синица

чище и нежнее просвистел в последний раз, и... рябчик вспрыгнул на пенек в трех шагах от затаивших дыхание ребят. Стройная птичка то распускала хохолок, то складывала его, смотрела по сторонам и прислушивалась. Друзья с замиранием сердца ждали, что рябчик сделает дальше. Он нежно чирикнул короткое вопросительное «чить-чюрррр?». Его подруга должна была быть близко, но почему-то скрывалась. Он спрыгнул с пенька и быстро пробежал среди кустиков черники. Теперь он был так близко, что Гриша, протянув руку, мог бы его погладить по спинке. Освещенный солнцем, на изумрудном фоне мхов рябчик был особенно красив. Гриша видел, как под красными дужками бровей мягко светились наивные карие глаза, видел черное горлышко, отороченное белым, каждую точку, каждую черточку на рисунке его оперения. Грише даже не верилось, что эта прелестная птица одна из тех, которых тысячами окровавленных, растрепанных комков каждую зиму можно найти на рынках. Севка пошевелился; «пррррр-прррррр» — коротко прошумели крылья, и рябчик исчез.

V

## ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕХОД ДО КОРДОНА

Для Севки осталось загадкой, как и когда Гриша успел зарисовать рябчика, но факт был налицо: к вечеру в альбоме красовалась птичка с распушенным хохолком, слегка привставшая на лапках, вытянувшая шейку. Правда, глаз был несколько не на месте, а перья больше напоминали волосы, но поза была схвачена поразительно верно. Так, по крайней мере, казалось Севке.

Друзья отдохнули за время подманивания рябчика и бодро продолжали путь. Но уже через полчаса им пришлось остановиться. Стало совсем жарко, тяжесть мешков настойчиво давала себя знать. Тогда ребята прилегли на теплом песчаном бугре, записали свои утренние наблюдения, закусили и снова собрались в дорогу. В это время из-за леса вдруг раздались трубные клики журавлей. Звуки перекликающейся журавлиной стаи всегда полны невыразимой, глубокой прелести. Недаром так часто говорят о них в стихах и прозе. Гриша не мог их



Рябчик

слышать без трепета и волнения, особенно сейчас, в глуши, вдали от людей. Он стоял с обнаженной головой, глаза его были закрыты, легкий ветерок играл его волосами, блаженная светлая улыбка скользила по лицу, словно он слушал лучшую в мире музыку. «Турррруууу... турррруууу...» — трубили вдали журавли, и шесть серых силуэтов длинноногих, длинношеих птиц тихо выплыли над зубчатым краем леса. Как медленно вздымались и опускались их сильные крылья! Казалось, эти птицы не просто летели, а выполняли истово и важно какой-то свой журавлиный обычай. Быть может, то был первый общий брачный полет перед плясками на болоте? Или первый осмотр заветных гнездовых мест перед тем, как разбиться на пары и осесть каждой в своем углу? Они неторопливо взмахивали крыльями над вершинами вековых елей, серебро и медь звонких труб извещали притихшие леса о раннем возвращении стаи.

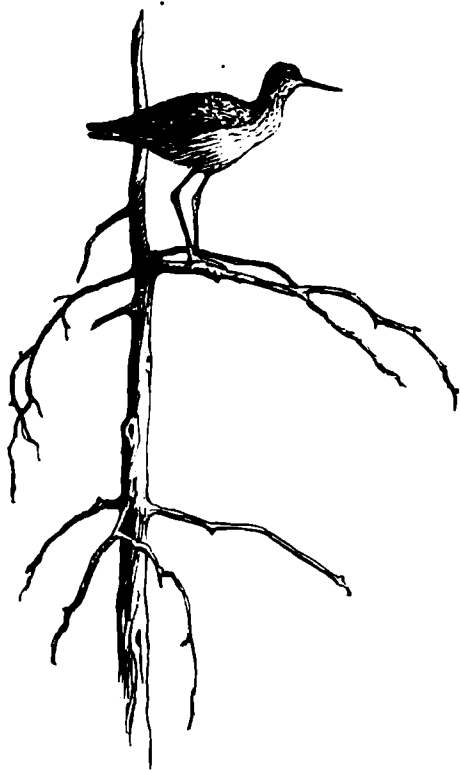
Севка лежал на спине и тоже наслаждался чудесным мгновением. Прямо перед ним далекая сухая верхушка березы купалась в ясной синеве неба. Белые наклонные столбы облаков плыли спокойно, величаво... Эх, хорошо бы и ему полететь над лесами-долинами, обгоняя быстрых птиц, подымаясь выше серебристых облаков. Думал ли он, что через десять лет сбудутся самые смелые мечты и стальные крылья под торжествующий гул мотора понесут его высоко над распластанной, как зеленая карта, землей? Сосны шевелили ветвями и источали смолистый аромат. Душистые испарения невидимо слоились над холмами; лесные жаворонки ткали нежное кружево своих прелестных, ни с чем не сравнимых песен. «Не остаться ли нам здесь!» — мелькала у обоих тайная мысль. Но желаннее скорее увидеть глухариный ток взяло верх, и снова два следа потянулись по чистому, влажному песку дороги.

Просторное торфяное болото с кое-где разбросанными тощими сосенками, зарослями пахучего багульника и гонобобля<sup>1</sup> широко расплзлось поперек дороги. Со слов встреченного утром охотника ребята знали, что лет тридцать тому назад по этой пустынной топи и зиму и лето паслись стада северных оленей. Олени исчезли, давно перестав здесь водиться, но как красивое воспоминание оставили свое имя болоту. «Оленье болото» — мальчики не могли смотреть на него без внутреннего волнения. В душе они оба жалели, что не родились пятьдесят лет назад. Тем не менее «Оленье болото» доставило им много хлопот. Большая часть его была скрыта под водой вместе с дорогой и пешеходной тропинкой, выложенной жердями. Срубив палки, упираясь ими в моховые кочки, путники брели, ступая на жерди, еле заметные под слоем буро-красной, словно квас, воды. Более полукилометра пришлось им пройти, едва удерживая равновесие, и уже у самого берега, неловко поскользнувшись, Гриша упал на одно колено в воду, упираясь в дно рукой. Сапог сейчас же наполнился ледяной

---

<sup>1</sup> Так за Волгой называют голубику.

водой, рукав и подол ватной куртки промокли насквозь. Пришлось остановиться, отжимать платье и сушиться. Во время их невольной остановки парочка больших улитов появилась над болотом. Самец пел на лету, протяжно свистя «траваа-трава-трава». Его обычный крик — «тъён-тъён» — был издавна знаком мальчикам, много ночей проводившим на Волге. Здешние охотники за такой крик называют этого осторожного кулика тёлкуном. Более долговязый, нежели крупный, большой улит всегда первый боязливо слетает с песков на берегах Волги при появлении человека и уводит за собой своих соседей — мелких куличков, обычно очень доверчивых. Мальчики не позабыли всех неприятностей, причиненных им этой птицей во время наблюдений на реке, но оба радовались

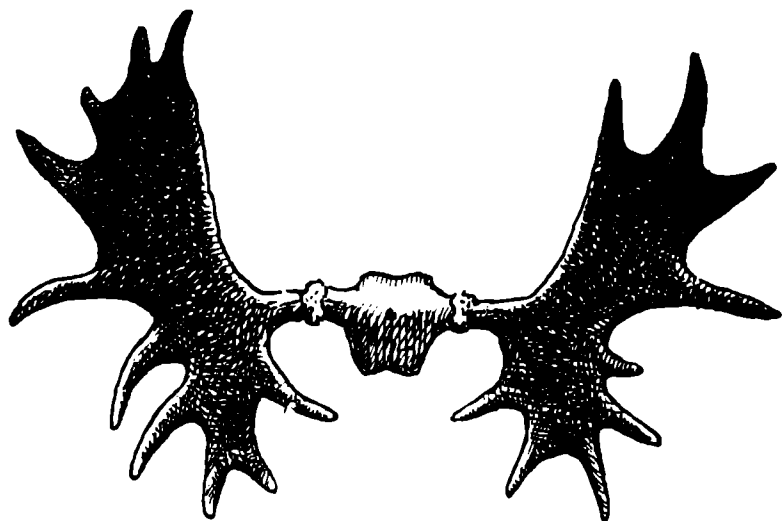


Большой улит

возможности полюбоваться улитом в его родной гнездовой обстановке. Оба знатока птиц были очень поражены, когда долговязый кулик опустился на сухую вершинку сосны. Сидя там, он продолжал петь, поблескивая на солнце мокрым носом, оглядывая болото, расстилавшееся вокруг. Несколько позже друзья увидели промелькнувшего вдали глухаря и решили, что он, быть может, прилетал на клюкву, которой здесь тоже было немало. Охая и крихтя, покидали мальчики этот привал. Мешки и ружья так оттянули плечи, что ощущение ноющей боли как будто добралось до глубины костей. Оставалось всего семь-восемь километров до кордона; было решено пройти их без остановок.

Крики ворона в сосновом бору всегда означают присутствие падали. Так было и на этот раз: один ворон, сидевший на дереве, громко закаркал, издали заметив мальчиков. А три грузные черные птицы, шумя крыльями, поднялись с земли на вершины. Истерзанный труп лошади лежал у дороги. Снег вокруг был утоптан и усыпан клочками мокрой рыжей шерсти. Мальчики решили произвести учет пировавших, но снег таял ежедневно, отчего следы де-

лались расплывчатыми и неясными. Задача оказалась нелегкой. Все же они установили, что сегодня утром здесь была лисица, вороны кормились вместе с сойкой; последняя и сейчас кричала где-то поблизости. Кроме того, виднелись многочисленные отпечатки лап, которые могли принадлежать только собаке. Они тянулись тропой вдоль всей дороги и привели друзей к кордону.



Пройдя километра два от тупа лошади, ребята услышали отдаленный собачий лай — первый звук, связанный с присутствием жилья, долетевший до их слуха за последние шесть часов дороги. Через полкилометра им попались следы человека, обутого в лапти, а несколько дальше, под сосной, у дороги, ветерок перекатывал пестрые перья глухарки. В пяти шагах от сосны лежал большой почерневший пыж, еще не потерявший порохового запаха. Севка, как хороший следопыт, сообразил, что лесник, к которому они шли, сегодня утром, вопреки охотничьему закону, застрелил глухариную матку. Вскоре, за узенькой речкой, среди поляны, друзья увидели бревенчатую постройку кордона.

Серая остроухая лайка уже за двадцать минут до появления мальчиков лаем предупредила обитателей кордона о пешеходах. Хозяин ожидал их у ворот, на которых красовались прочно прибитые большие лосиные рога. Лесник был высокий мужик с густой черной бородой и бледным лицом, изрытым оспой. Он стоял без шапки, цыкнул на собаку и на приветствие мальчиков коротко ответил: «Милости просим». Он был очень скуп на слова, но часто смеялся каким-то странным натянутым смешком, показывая скверные зубы. Его жена, маленькая бойкая бабенка, была чрезмерно болтлива и слашаво-ласкова. Три девочки-погодки при

виде вошедших путников, словно зверьки, выставили головы из-под грязной занавески печи и сейчас же скрылись. Станный вид лесника и обстановка, в которой он жил, сильно поразили друзей. Большой, обнесенный забором двор кордона был пуст, в теплом коровнике и стойле для лошади виднелись одни сугробы снега, на сеновале нельзя было найти ни клочка сена. Всюду валялись лошадиные кости, которые лайка за много километров притаскивала к дому, чтобы ее долю не уничтожили волки. Стены просторной казенной избы были закоптелы и пусты. Не тикали «ходики» — неразлучные спутники каждой крестьянской избы, одиноко темнели в углу иконы, висела засиженная мухами фотография. Развернутые веером засушенные хвосты глухарей, глухарок и тетеревов, прибитые к стене большими ржавыми гвоздями, скрыли под собой целые гнезда насекомых. Два старинных одноствольных ружья висели в углу, уставившись в потолок черными широкими жерлами.

Ребята не все понимали, но чутьем угадывали, что перед ними — жилище лесного волка, промышлявшего браконьерством, истреблением дичи и, быть может, другими темными делишками под видом охраны леса. Обоим стало как-то жутко, но они продолжали беседовать с хозяйкой, не подавая вида о мелькавших у них подозрениях.

Оказалось, что глухари «токуют вовсю», тетерева хорошо слетаются на тока, но еще не разыгрались. Журавли появились дней пять тому назад на всех клюквенных моховых болотах, бекасов стало слышно уже дня три, а на соседнем болоте каждый вечер гогочут самцы белых куропаток. Лесник принес из сеней и показал ребятам пару больших глухарей. Ни на одном из них не было видно следов крови. Севка заключил, что ружье лесника — с хорошим, резким боем. Как бы вскользь он спросил, далеко ли хозяин стрелял сегодня глухарку. Совершенно спокойно лесник отвечал, что «тетеря подпустила его рядом» и он «смазал» птицу «так, что не ворохнулась». Мальчики начинали убеждаться, что для хозяина стрельба маток в запретное время — самое обычное дело.

Растянувшись на лавке, усталые путники прилегли отдохнуть, так как через полтора часа было решено отправиться на глухариный ток. Зимние рамы в окнах уже были выставлены; до слуха мальчиков доносились легкий шум сосняка, крики снегирей, чечеток и песни яблников; под монотонный говор леса оба незаметно задремали

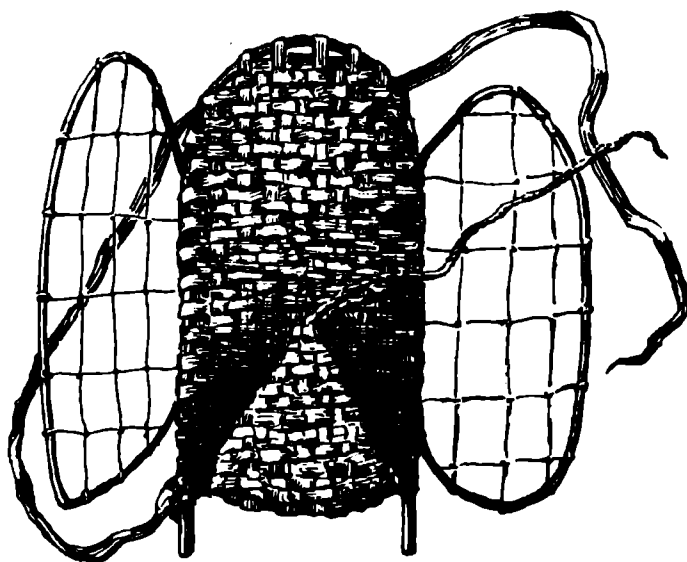
## VI

### НОЧЬ У КОСТРА

Севка проснулся от поскрипывания соседней скамьи — хозяин избы натягивал на ноги высокие непромокаемые кожаные чулки.

Такие чулки называют бахилами; они служат незаменимой обувью сплавщикам леса, рыбакам и охотникам-промысловикам. Поверх бахил лесник плотно намотал портянки и надел лапти, набитые свежей соломой. Севка, за время пути натерший тяжелыми сапогами обе ноги, с завистью чувствовал, как удобна эта легкая обувь лесника.

Проснувшийся Гриша вскоре присоединился к охотничьим сборам и каждую минуту ощупывал карман куртки, чтобы удостовериться, не позабыл ли альбомчик. Ребята очень заинтересовались плетеным из лыка предметом, который хозяин назвал крошнями. В крошни он положил топор, мешочек с хлебом, рукавицы



и теплые чулки, после чего, закрыв подвижные половинки, завязал тесемкой и надел это подобие рюкзака за плечи. Плетеный из лыка «рюкзак» — какая далекая старина! Крошни в глазах мальчиков воскрешали охотничье снаряжение давно минувших времен, когда не были известны ружья, когда оленей били копьями, а бобры строили свои плотины на всех лесных речках...

Лайку заперли в чулан, «чтобы не увязалась». Охотники отправились, сопровождаемые ее воем и внимательным взглядом хозяйки, отворившей оконце.

Солнце начинало клониться к западу, была самая жаркая часть дня. Прозрачный пар курился в низинах над проталинами. Хотя в тени везде лежали снега, во многих местах у обнажившихся полей Гриша заметил весело порхавших бабочек — траурниц и больших крапивниц. Крушинницы летали целыми десят-

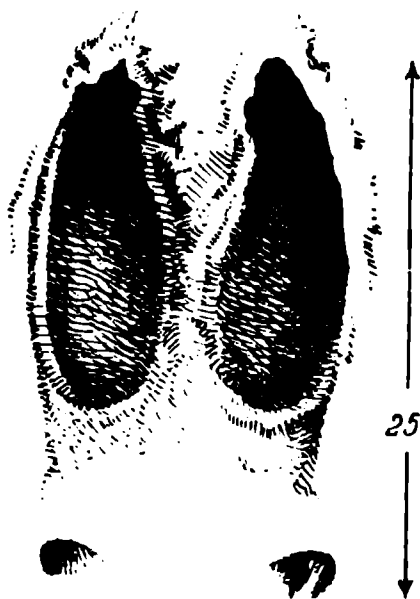


ками. На припеке ожили муравьи и черными кучками покрывали свои муравейники; бегали радужные жужелицы, на гнилом бревне грелись бронзовка и большой навозный жук. Охотники пересекали проталины по чуть заметной тропинке: в густом лесу брели по снегу, пользуясь прежними обтаявшими следами лесника, уже много раз ходившего на ток.

Так, растянувшись гуськом, прошли они километра три, пока не поравнялись с редким молодым сосняком, выбегавшим на большую поросшую вереском пустошь — след давнего лесного пожара. Здесь в нескольких местах спугнули стайки тетеревов; один из улетавших петухов громко, задорно забормотал. Оказалось, что каждую весну издавна тетерева слетаются сюда для токования. Полукилометром дальше лесник вдруг остановился, рассматривая песок; мальчики увидели глубокий отпечаток широких раздвоенных копыт. «Бык!.. Днем проскочил: утром я с тока шел — следа не было. Знаю я этого — пудов на двадцать будет...» — коротко, как всегда, обронил лесник. Обоих ребят подмывало сильнейшее желание побегать по лосяному следу, посмотреть, что делал «богатырь лесов». Оба впервые видели след самого крупного зверя своего края. Но приходилось торо-



Слетели тетерева



След лося

питься: на место ночлега нужно прийти до темноты, а лежавшая впереди дорога была труднее пройденной.

Огненный диск солнца уже скрылся за темной волнистой чертой лесов и тетерева на току перестали бормотать, когда лесник подвел мальчиков к квадратной яме, на дне которой была куча ветвей и остатки костра. Здесь нужно провести ночь, чтобы под утро пробраться за триста шагов к месту тока, расположенному в низине, называемой «Настиным долом».

Лесник срубил несколько небольших сухостойных сосен; все втроем перетащили запас топлива к месту стоянки. Пользуясь случаем, Севка расспрашивал проводника о признаках следов и о способах выслеживания лосей. Неразговорчивый лесник предпочитал отмалчиваться. С большим трудом удалось вытянуть из него два слова о том, что отпечатки больших копыт быка всегда крупнее и круглее узких заостренных копыт лосихи.

Постепенно усиливавшийся на заре ветер и гул леса помешали охотникам «посадить глухарей» — подслушать, куда сядут прилетающие на ток птицы, где квохчут глухарки и т. д. Все это было бы полезно знать для успеха утренней охоты.

Закат догорал. Дуновения ветра ослабевали с каждой минутой; постепенно замирая, переставали качаться ветви сосен. Звезды одна за другой зажглись на небе; тихая, теплая ночь опустилась над лесом. Знойный костер наполнял теплом яму и, оттесняя сгустившуюся вокруг огня тьму, озарял красными бегающими бликами трех людей, сушивших обувь и готовившихся ко сну. Лес продолжал жить своей жизнью. Станные звуки, напоминающие то отдаленный собачий лай, то похожие на глухое, многократно повторяемое «у-у-у-у-у-у...», нарушали покой укрытых сумраком сосняков. Источник этих звуков часто перемещался, они слышались со всех сторон и, начавшись вскоре после заката, кончились только с рассветом. Лесник уверял, что это крики зайцев-беляков, у которых весна прогнала обычную боязливость.

Ребята охотно поверили; в описании этого похода «брачные крики зайцев» были отмечены обоими натуралистами. Но через несколько лет, в другой лесной области Севка снова услышал те же ночные крики. Здесь местные охотники говорили: «Это летяга бобочет!.. Сидит в дуплышке, лапочками по щечкам себя постукивает и бобочет...» Некоторые божились, подтверждая правильность своих наблюдений. Теперь Севка не верил ни старым своим записям, ни новым рассказчикам. Ведь зайцы очень молчаливы от природы, а летяга — зверь слишком редкий и скрытный. Севка считал, что загадочные звуки издает животное, довольно обычное и, видимо, совсем не боязливое. В каждом достаточно обширном хвойном лесу в весенние ночи слышится, как далекая глухая жалоба, это таинственное «ой-ой-ой-ой...» Еще через несколько лет Севке удалось разгадать давнюю лесную загадку. Глухой ночью он подкрался к огромной сухой сосне, следуя на голос, доносившейся с ее вершины. При свете луны он увидел небольшое животное, выглядывавшее из дупла. После выстрела на землю

упал пушистый мохноногий сыч. Отдаленный «собачий лай», глухие «ой-ой-ой» — все это весенняя песня этой небольшой буровой с белыми крапинками лесной птицы.

Охотники поужинали; усталость начинала клонить их головы; разговоры, и раньше еле вязавшиеся, совсем прекратились. Наконец, бросив мешок в изголовье, лесник заснул, положив ружье рядом с собой. Гриша, повернувшись спиной к огню, вскоре последовал его примеру. Севка долго ворочался с боку на бок, подбрасывал дрова в угасший костер, старался заснуть, но не мог. Его слишком переутомили впечатления длинного дня и оставшиеся сзади пятьдесят километров трудной дороги. Да, признаться, и лесника он побаивался. Мальчик лег на спину и смотрел через черные ветви сосен на кротко мерцавшие звезды. Высоко в темноте время от времени с сильным шумом быстро пронеслись на север стаи уток.

По свисту крыльев, по обрывкам криков мальчик знал, что это возвращаются на родину нырки, свиязи и чирки-свистунки. Изредка протяжно и слабо цикали одинокие, отбившиеся от стаи дрозды. Там, в вышине, под беспредельным звездным шатром, над успокоившейся от дневных тревог, мирно спящей землей, в урочный час незримо совершался величественный весенний перелет птиц. Тысячи пернатых странников наперебой спешили в эти минуты к местам своих гнездовий, пронесаясь сотни верст среди холодных просторов над мелькающими далеко внизу лесами, полями, озерами... Незаметно для себя Севка забылся и заснул. Глухие стоны сычей были последним впечатлением, долетевшим до его сознания.

## VII

### НОВЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ...

Знакомо ли вам то ощущение неприятной тяжести, неловкости и смутного беспокойства, когда на вас кто-то смотрит неизвестно откуда, но упорно и долго? Во сне именно это чувство вдруг овладело Севкой. Он вздрогнул и проснулся, как будто от неожиданного толчка — лесник сидел на корточках и смотрел ему прямо в лицо. Костер почти угас, огонь лишь изредка тревожно, боязливо вспыхивал. Мигающие отсветы все реже и реже пробегали по стенам ямы и корявым стволам ближайших сосен. Предраассветный ветер покачивал вершинами. Темный лес глухо шумел, заглушая дальние стоны сычей. Севка увидел, как лесник бесшумно поднялся, осторожно ошупал ногой почву и сделал первый шаг... Откинул в сторону ветку, лежавшую на пути к мальчику, и так же безмолвно придвинулся еще на один шаг... Только полтора шага отделяли его теперь от Севки. Прищурившись, с трудом удерживая дыхание и притворяясь спящим, Севка следил за каждым его

движением. Одна рука мальчика судорожно охватывала стволы ружья, другая дрожала, цепляясь за курки и спусковую скобку. Лесник стал медленно наклоняться над Севкой. Сердце бешено стучало в груди мальчика; целые вихри, потоки мыслей промчались за одно мгновение. Мелькнули давно позабытые рассказы отца о леснике, пойманном во время грабежа на дороге, убившем в течение нескольких лет четырех приезжих охотников из Москвы. Вспомнил, что ушел сюда, не простившись с матерью, что белку вчера нужно было бы застрелить на воротник сестренке... «Хочет обезоружить!» — как молния, мелькнуло в сознании, лишь только рука лесника прикоснулась к дулу ружья. «Что ты делаешь!» — громко и хрипло, не своим голосом вскрикнул Севка, разом вскочил на ноги, одним движением пальца поставил на взвод оба курка. Во рту пересохло, в висках стучало, ружье плясало в руках. «А... что... Аль чего приснилось...» — растерянно забормотал лесник, отступая назад, и начал подбрасывать поленья в потухавший костер. «Погас костер-то — проспали... Холодно стало...» — добавил он и неестественно позевнул. Севка, не выпуская ружья из рук, сел рядом с проснувшимся Гришей. Он трясся нервной дрожью и никак не мог успокоиться. Гриша почувствовал неладное и тоже держал ружье наготове.

Ветер унимался, шум леса постепенно стихал, звезды потускнели, и черная узорная резьба сосновых вершин стала немного отчетливей, когда неожиданный, жуткий, басистый вой прорезал темноту. Протяжно отозвался он в недрах леса и замер в глубине низины. Мурашки невольно пробежали по спине мальчиков при звуках этого сильного, мрачного голоса. «Сам! Волчицу кличет», — буркнул лесник. Ветер, затихавший как будто для того, чтобы трое людей могли услышать звериный зов, снова усилился — лес откликнулся сдержанным гулом. «Пора на ток, — взглянув на небо, сказал лесник и поднялся. — Котомки можно здесь оставить — никто не возьмет». Мальчики упрямо надели их на плечи.

Без шума, без шороха прокрались три черные фигуры триста шагов до окутанной тьмой туманной низины. Здесь лесник остановился — за ним, как две тени, оба мальчика. Несколько томительных минут прошло в полном молчании. «Слышишь, играет... Вон там!» — вдруг указал лесник. «Ничего не слышу», — пересохшими губами прошептал Севка. В самом деле, до его слуха достигал лишь мерный говор встревоженных сосен да легкий скрип качающихся вершин. Щелканье глухаря, которое много раз изобразил ему отец, мальчик никак не мог уловить. «Слышишь... Опять играет! Вот... вот!..» — «Ничего не слышу», — беззвучно лепетал Севка. «Эх, тоже охотники... Сами-то вы глухари! Ну, и сидите тут!» Лесник злобно выругался, вскинул ружье за плечи, как-то вдруг преобразился, пригнулся, прислушался и, с поразительной для своего роста легкостью, сделал три огромных, бесшумных прыжка. Черный и гибкий, он уже не был похож на человека и в темноте леса казался подкрадывающимся хищным зверем. Еще три прыжка,.. остановка,.. снова три прыжка,.. снова

остановка. Фигура лесника растаяла, сгнула среди темных стволов деревьев. Севка бессильно опустился на кочку, не чувствуя, как из ее мха сочится вода. Неудача на току и пережитые ночью волнения сильно потрясли его. Он тяжело дышал, спазмы сжимали горло, нервы не выдержали — он закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Теплые слезы, скатываясь между пальцами, падали на землю и слабо шелестели по сухому березовому листу. Гриша чувствовал, что сейчас не время для расспросов. Прильнув щекой к жесткой, холодной коре березы, зорко посматривал вокруг и прислушивался к каждому шороху. «Гриша! — вдруг окликнул его Севка и, дрожа от волнения, смешанного со злостью, рассказал о покушении лесника. — Черт рябой, леший... Как это он нас еще вчера не зарубил! А стрелять со своей одностволкой, должно быть, боится: одного-то убил бы, а второй — угостил бы его глухариным зарядом». Может быть, взволнованные ребята слишком преувеличивали опасность, но, как бы то ни было, они решили быть настороже, не уходить далеко друг от друга и зарядили ружья картечью.

Выстрел тяжело грохнул и прокатился над лесом в той стороне, куда направился лесник, — друзья вздрогнули от неожиданности. Начинало светать... Зарянка шустрой мышью шмыгнула из кучи хвороста, где провела ночь, взлетела повыше на сухой сучок, рассыпалась в нежных трелях бесконечных песенок. Ее голосок звучал смелее с каждой минутой, напоминал и тонкий скрип, и звон маленьких серебряных колокольчиков. Вторая зарянка запела справа от мальчиков, третья — далеко впереди. Они так старались, точно хотели доказать ребятам, что ночи с ее страхами не было, а существует лишь свежее, весеннее утро с его радостями. «Тэк...» — не то хрустнуло, не то шелкнуло что-то в вершинах сосен. Мальчики насторожились и превратились в слух. «Тэк...» — снова послышалось оттуда. Звук был сухой, отчетливый, напоминавший постукивание одна о другую двух твердых палочек. «Тэк...» — «Гриша, это... глухарь!» — толкнул соседа Севка. «Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко», — звучным басом захватала в той стороне какая-то крупная птица, и друзья увидели, как глухарка слетела с дерева на землю. Что-то большое, черное с сильным шумом опустилось следом за ней. «Он!» — прошептали оба друга одновременно. До птиц было не менее семидесяти пяти шагов; в лесу значительно посветлело. Подойти к глухарям не было никакой надежды — мальчики предпочитали обождать. В бинокль можно было разобрать, как глухарка перебегает между пней и кустов, увлекая за собой петуха. Птицы быстро удалялись и вскоре скрылись в небольшой лощинке. Даже при встав, Севка не мог их найти.

Восход близился; заря робко теплилась и горела румянцем под большими тучами, медленно выползавшими над лесом. Жители Настина дола пробуждались один за другим. К песням зорянок присоединились дрозды, рябчик вспорхнул на упавшее дерево, просвистел несколько раз и полетел кормиться к зарослям

ив, осыпанных вкусными сережками. Зяблик сел на вершину елки, распушился, осмотрелся. Почистил перышки, долго скоблил нос о ветку, несколько раз издал свое «пинк-пинк, пинк-пинк» и вдруг, откинув вверх голову и раздув горлышко, разразился звонкой, задорной трелью. Где-то далеко за низиной трещал на «барабанах» дятел. Смутный рокот, похожий на журчание и бульканье падающих струек воды, доносился со всех сторон. То пели, бормотали на токах тетерева, создавая волнующий фон, на котором и четко и нежно расцветали все звуки и голоса ожившего леса.

Глухарка неожиданно поднялась с земли и полетела над соснами в сопровождении своего большого петуха. К ним присоединилась еще одна самка. Только по возвращении домой Севка узнал от отца, что петух, которого они слышали в это памятное утро, вероятно, был молодым и шелкал, не решаясь петь. Старые, сильные глухари, по-охотничьи «певуны», бьют и очень запугивают молодых.

«Пойдем, посмотрим, ушел лесник или нет», — предложил Гриша. Мальчики едва разыскали место ночлега — утренний лес был совсем не похож на ночной. Дыма, на который друзья рассчитывали, как на маяк, не было видно. Костер угас, покрывшись беловатой пеленой пушистого, легкого пепла. Крошни лесника, его топор и мешок лежали на своих местах. «Вот, взять все, да и спрятать, пусть поищет рябой черт...» — думалось Севке, но уже почти без злобы. Теплые краски восхода, звуки ожившего леса, один вид помолодевших сосен действовали успокаивающе и усып-

ляли недобрые чувства. Друзья едва успели спрятаться в заросли молодых елок, как послышался шорох шагов — охотник показался из леса. Он шел не спеша, небрежно бросив ружье на плечо прикладом назад. Потом повернулся спиной к притаившимся мальчикам, и они впились глазами в глухаря, привязанного за шею, медленно качавшегося в такт движениям охотника. Шомполовка лесника, действительно, била резко и не делала лишних выстрелов. Те минуты, которые лесник провел у ямы с костром, укладывая в крошни птицу и свои пожитки, ребятам показались часами...



Следы рябчика

«Ну, теперь мы одни», — радостно воскликнул Гриша, как только проводник пропал вдаль за деревьями; Севка довольно улыбнулся, закрыл глаза и глубоко втянул в себя сыроватый воздух леса. Здесь пахло болотом и стоял пьяный запах багульника.

Новый план у них был очень прост: они решили не появляться на кордоне, где их должен был ожидать обед, болтовня хозяйки и опасное соседство ее мужа. Они останутся в лесу, отказавшись от большей части продовольствия, сданного на хранение в лесной сторожке. По счастью, котелки, топорик, спички и другое снаряжение было при них вместе с частью продуктов: пшеном, небольшим количеством сухарей, солью, маленькой флажкой спирта и несколькими луковичками. Весь хлеб, крупа и масло достанутся «этой милой семейке» в уплату за «охоту на току». Если они раздобудут мяса, то с этими запасами сумеют кое-как просуществовать несколько дней. Лесник, по его же словам, собирался идти в деревню за картофелем. Глухариный ток, вернее токовище, на две зари остается в распоряжении мальчиков. Они рассчитывали на возможность здесь поохотиться, а сейчас спешили к вересковой пустоши, куда манил жизнерадостный хор тетеревов, все более и более ясный по мере продвижения путников. Ребятам казалось, что вот-вот они выйдут к токовищу и увидят играющих тетеревов, но голоса птиц делались снова менее звучными. Ток, как будто, убегал от них, пока не выяснилось, что они проходят мимо тетеревиной поляны, уже остававшейся слева и сзади.

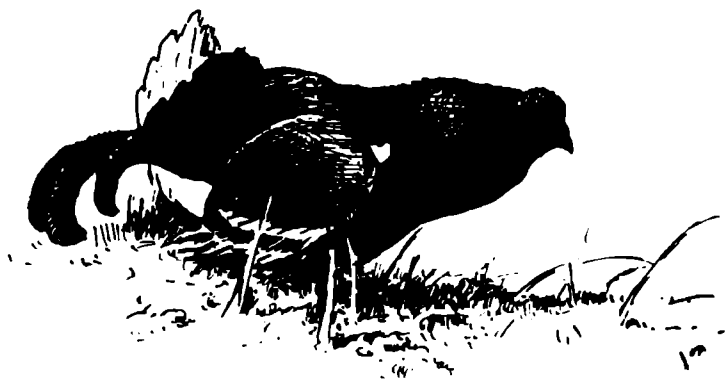
Бормотание этих птиц слышно настолько далеко, а во время токования они так часто меняются местами, что голоса по временам то как будто бегут вам навстречу, то слышатся из-под земли. Неопытный человек часто не сумеет определить не только расстояния, но даже и направления, по которому нужно идти. Это была досадная ошибка: солнце взошло, друзья боялись, что ток скоро кончится. Бесшумно, почти бегом ринулись они по новому направлению, на этот раз взятому верно, — голоса поляшей раздавались уже совсем рядом.

Никогда ни раньше, ни позже Гриша не слышал ничего равного по глубине и силе тому торжествующему гимну весне, который пели тетерева в это апрельское молодое утро. Волны звуков, ясных, выразительных, то радостно воркующих, то задорных, полных энергии и сил, то страстных и нежных неслись с токовища. Порой бормотание совсем замирало, и в наступавшей тишине были слышны далекое заунывное кукование одинокой, рано прилетевшей кукушки и песни бесчисленных лесных жаворонков. Потом снова лилось и пенилось потоками, журчащими, бурливыми. Тетеревиная стая, счастливо пережившая январские морозы, февральские вьюги и гололедицы, каждый день подвергавшаяся нападениям ястребов и кое-как протянувшая зиму, сейчас справляла свой весенний праздник, свой сказочный турнир на заветной поляне, передававшийся от поколения к поколению. «Чуфффууу —

чушшшшууу», — услышали мальчики, когда от тока их отделяла лишь узкая полоска молодого сосняка. В то время, как при тихой погоде бормотание долетает на полтора-два километра, «чуфыканье», или «чуфыканье» — протяжное шипение — слышно всего на двести-триста шагов.

Друзья решили обойти ток с разных сторон, чтобы не мешать друг другу. Тетерки, сидевшие на деревьях, завохтели и испуганно перелетели через токовище, совсем было испортив дело Севке, таившемуся за можжевельниками, маленькими сосенками, муравейниками и на животе подползавшему к поляне. Мальчик находился уже в пяти-шести шагах от опушки, за которой шумно играли петухи, когда снова скрывавшаяся на сосне маточка вдруг заметила его распластанную среди вереска фигуру. Тетерка вскрикнула сначала нежно, а затем громко и быстро «Ко-ко-ко-ко-ко», и с треском крыльев, означавшим «тревога!», сорвалась с сосны. Севка готов был провалиться сквозь землю...

Косачи на несколько минут замолкли, но один бойкий петух-«токовик» — главный зачинщик игр, первым начинающий песни весной, первым открывающий ток на рассвете, — покосился на опушку, увидел, что все спокойно, надулся и подпрыгнул на месте. Гаркнул задорно свое «чу-шууу», другие петухи азартно откликнулись, бормотание хлынуло волной. Весенний праздник про-



должался, как ни в чем не бывало. Чудное зрелище развернулось перед глазами Севки, когда он, проложив животом извилистую дорожку среди вереска, протаскился, вспахивая патронташем землю, еще пять шагов и приподнял голову из-за маленького можжевельничка.

Обширная поляна, открывавшаяся одним краем на пустошь, вся была залита мягким оранжевым светом только что поднявшегося солнца. Длинные лиловые тени деревьев, расплывающиеся вдали, пересекали ее по всем направлениям. Капли росы, от



которой колени и локти мальчика давным-давно промокли, гранями драгоценных камней искрились и блестели на каждом прутике, на каждой почке и хвоинке... Легкий туман всплывал над поляной, а на ее ковре из шапочек кукушкина льна, пепельно-серого оленьего ягеля и буро-красных пятен вереска в разнообразных причудливых и красивых позах токовали и резвились семь бархатно-черных косачей. Ярко-белы были перевязки на их крыльях, кораллово-красными дужками набухли брови. Из-за светлых берез и сосен, толпой выбегавших на середину сцены, слышались голоса еще нескольких птиц.

«У у-уррруу-урруу-уррру...» — раздув шею и пригнувшись к земле, пробормотал один. Игриво подпрыгнул, звучно хлопая крыльями, чуфыскнул и перелетел к важному косачу с приподнятыми крыльями и веером распущенным хвостом, медленно прохаживавшемуся и приседавшему на холмике. Снежно-белый подбой его круто поставленного подхвостья ярко вспыхивал и зажигался оранжевым светом всякий раз, как птица повертывалась спиной к солнцу. «Не заплата, а зеркало», — прошептал Севка. Обладатель холмика вовсе не хотел уступать своего места пришельцу — они остановились друг против друга. Наклонились, надулись, как домашние петухи, подпрыгнули, встретились в воздухе, громко хлопая крыльями, царапаясь ногами, нанося друг другу удары клювом. Изумительная схватка черных рыцарей с белыми повязками, которыми их пестренькие дамы любовались, сидя на



березе! В левом углу поляны сцепились еще два, третий присоединился к первой паре — свалка завязалась на славу. Трещали, встречаясь, крылья, и три птицы, свернувшись в крутящийся клубок, катались по поляне то в ту, то в другую сторону. Было видно мелькание белых, черных пятен, летели перья того и другого цвета, ломались, качались и роняли росу прошлогодние травинки, задеваемые разбушевавшимися петухами. Солнце вставало над лесом, усмехалось приветливо-ласково, лило свет и тепло. Расплавленным золотом заливало маленьких

лесных жаворонков, гордых петухов-победителей и растрепанных, растерянных побежденных.

Севка, не дыша, распростерся в самой невероятной позе, вытянул шею до последней возможности и уцепился одной рукой за можжевельник. В другой он держал бинокль, не спуская глаз с волшебного ковра поляны. Ружье лежало с ним рядом, мальчик был доволен, что за дальностью расстояния он мог только любоваться птицами, забыв свои обязанности охотника. Вдруг все участники лесного турнира с громким шумом взлетели над поляной. Голубая струйка дыма хлестнула как будто из земли, мелькнуло что-то желтовато-рыжее в кустах на гришиной стороне. Внезапно грохнувший выстрел разом прекратил веселый праздник на просторной площади тетеревиного замка, которым был далеко протянувшийся сосняк. Три поляша испуганно неслись прямо на Севку. Он вскочил и приготовился к выстрелу. Вот они... уже слышен свист торопливо работающих крыльев. Увидели — шаркнулись в сторону, все равно теперь не уйдут! Легкое движение пальца — толчок в плечо — грохот и дым... Три косача продолжают лететь. «Эх, была не была! Ну-ка, из левого...» — Севка вновь вскинул ружье, снова грохот, толчок, облачко дыма, задний из трех наискось падает в лес.

«Готово!» — с довольным видом произнес Севка и бросился было искать сбитую птицу, но вспомнил уроки отца. Вынул пустые патроны, продул стволы, вложил новые заряды и только тогда побежал по замеченному направлению. Нелегко отыскать в зарослях вереска неподвижно лежащую птицу, даже так ярко окрашенную, как тетерев-косач, прошло минут десять, прежде чем Севка натолкнулся на свою жертву.

Тетерев лежал на брюшке, красиво изогнув шею. Лирообразный хвост, так недавно пленявший тетерок на поляне, был собран и смят, крыло с его белыми полосами — полураспушено. На шее и голове местами недоставало перьев и виднелись шрамы — отличия бойца. Темно-синий отлив оперения груди и большие ярко-красные, круто изогнутые брови придавали птице величественный



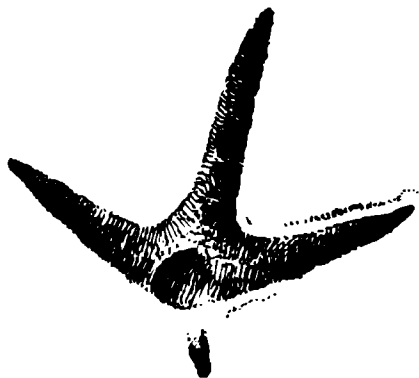
и несколько гордый вид. В то же время было что-то жалкое, тоскливое в этом глазе, полузакрытом прозрачной пленкой, в клюве, окрашенном кровью... «Гришаааааа! Ого!» — крикнул Севка. В его душе еще боролись два различных чувства. Маленькое торжество охотника, сделавшего хороший выстрел, и сожаление о том, что по его вине стало трупом это красивое живое существо, так радостно, так бодро встречавшее рассвет своего последнего дня.

Гриша не замедлил появиться, на ходу забывая заряд в свою шомполовку. Он издали кричал о каком-то происшествии. «Да мы с тобой с ума сошли, — вдруг спохватился Севка, — орем на току, как бабы на ягоднике». Он заимствовал у отца это сравнение. «Тоже натуралисты! Нырнем вот за этот можжевельник!» Оказалось, что Грише было от чего взволноваться. Когда он лежал, наблюдая тетерева, впереди, шагах в тридцати, мелькнуло что-то рыжее, и он вдруг увидел... «Кого, ты думаешь? — Лисицу! Она медленно крадась и пользовалась каждым кустиком, каждым пнем, как прикрытием, чтобы подобраться к тетеревам! Я-то обрадовался. Вот, думаю, посмотрю картинку, когда она сгребет поляша! А лиса, понимаешь, меня вдруг учуяла, что ли, как вскочит, да кинется обратно! Я не выдержал, пустил ей вдогонку из правого, ну, и... конечно, продул».

Тетерева снова появились на току минут через двадцать после того, как замолкли голоса людей. Но играли уже без увлечения, «вразнобой», как говорят охотники, — далеко один от другого. Севка очень опасался, не убил ли он «токовику» — без главаря ток надолго делается недружным, беспорядочным, а иногда и совсем рассыпается. Чтобы подзадорить и подманить косачей, мальчики начали чужиться и хлопать ладонями по краям курток, подражая звуку крыльев дерущихся петухов. Это удавалось легко. Тетерева на некоторое время оживились, но вскоре замолкли и стали разлетаться следом за курочками, вместе с которыми проводили день.

Солнце поднялось высоко, птицы проголодались, пришло время прекратить турнир до вечера, когда игры начинаются снова.

Друзья осмотрели токовище, собрали белые и черные перья, лежавшие среди вытоптанной площадки. За-



След тетерева



Большой сорокопут

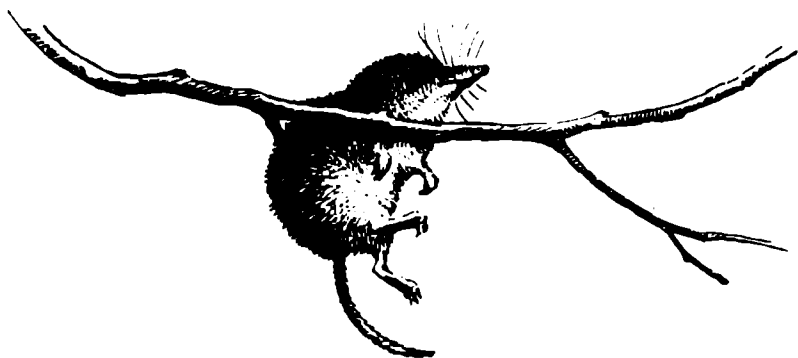
рисовали следы косача, пересекавшие маленький сугроб снега, и отпечаток лап, видневшийся на кучке мелкого песка, когда-то выброшенного кротом из его подземной галереи. Гриша обратил внимание на то, что всюду у токовища ростки с бутонами сон-травы были склеваны. Ребята не сомневались, что это дело тетеревов, но удивлялись их странному вкусу: ядовитые свойства этого растения хорошо известны. Помет тетеревов состоял из сережек березы и зеленых ростков травы.

## VIII ИСПЫТАНИЕ

«Теперь к лосиному следу! Кто первый найдет — тот свободен; а второму — обед варить...» Ребята отыскали вчерашнюю дорогу и

пускались на хитрости, забегая один вперед другого. В это время большой сорокопут привлек их внимание. Пришлось вынуть бинокль и записные книжки. Птица сидела открыто на вершине тонкой березки. Белая грудка четко рисовалась на фоне неба, которое медленно заволакивали рыхлые тучи. «Гришка! Что за безобразие!» — деланно возмутился Севка и негодуяше покачал головой: перелистывая Гришин альбомчик, он обнаружил на предпоследних страницах два рисунка токующих тетеревов и начатый набросок лисицы. «Изрисовывает целые альбомы да еще не показывает. Я тебя больше брать не буду». — «Э, брат, не очень нужно! Я и один сюда доберусь!» — задорно отвечал младший. У него была хорошая зрительная память; нередко он делал точные наброски животных спустя несколько часов после наблюдений.

Сорокопут сидел неподвижно, нахохлился и как будто вяло поглядывал по сторонам. Севке уже несколько раз случалось



Землеройка — запас сорокопуга

наблюдать этих птиц во время пролета, и он знал, что апатичность маленького хищника — только кажущаяся. Стоит ящерице или мыши появиться хотя бы в двадцати шагах от него, и зоркий глаз уже заметит жертву. Как ни помогает ей скрыться защитная, маскирующая окраска, сходная с цветом сухого листа, несчастная через мгновение будет биться в жестоком клюве. Он налетит ее на острый сучок, чтобы растерзать по кусочкам или оставить про запас. Эти запасы — лягушата, полевки и землеройки, реже птички, наколотые на сучки, заткнутые в развилки ветвей, загнанные в расщепы обломанных вершин, нередко обезглавленные, так как мозг жертвы — лакомство для сорокопуга, — были известны Грише гораздо лучше, чем птица, обладавшая такой своеобразной привычкой. Он мог бы похвастаться многими зарисовками таких жертв, ему тем более интересно было познакомиться с сорокопутом в обстановке его оседлой жизни.



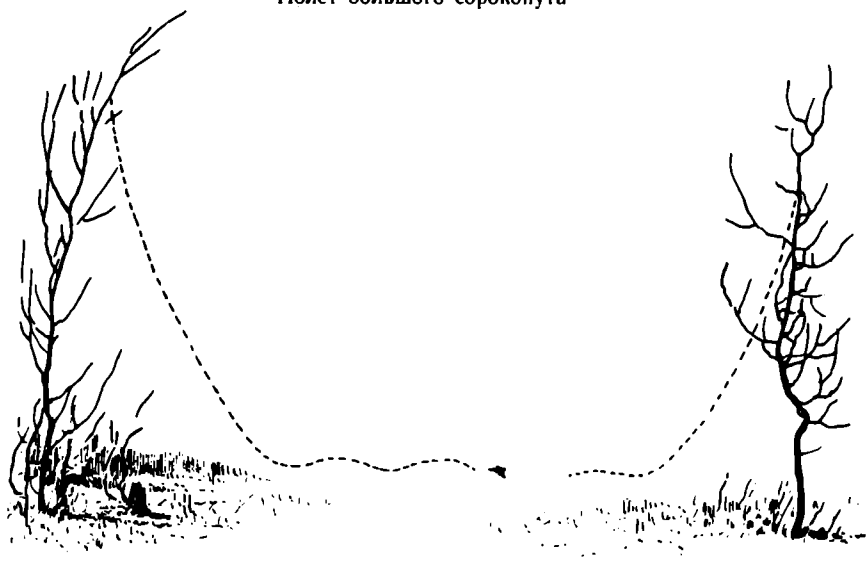
Ребята перестарались — подкрались слишком близко; испуганный сорокопуг слетел. Нырнул с вершинки вниз почти до земли и полетел на небольшой высоте характерным волнистым поле-

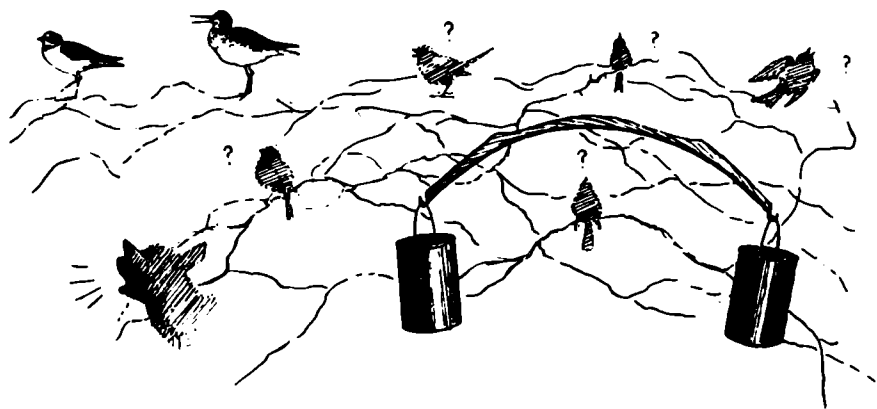
Обезглавленная полевка — запас сорокопуга

том. На лету стала хорошо заметна пестрота наряда сорокопуга: сочетание белого, черного и серого цветов. У ближайшей группы деревьев птица круто поднялась от верхушек сухих травянок, которых почти касалась на лету, до макушки березы, где и уселась, нахохлившись как всегда. Солнце глянуло из-за туч, когда друзья подобрались к сорокопугу вторично. Они слышали, что он поет, вполголоса, как будто только для себя самого, не считаясь с присутствием слушателей. Голос этой птицы оказался очень чистым и приятным, но песня отличалась теми же качествами, что и у скворца. Все лучшее в ней было заимствованным. Друзья без труда различили грустные крики нескольких видов куличков, дальше шла какая-то путаница из голосов неизвестных птиц, в которую вплетались бляние ягненка и скрип ведер, качающихся на коромысле. Сорокопуг был зарисован. Он перелетел к следующей группе деревьев, совершая обычный путь по своим охотничьим владениям.

Ребята продолжали поиски лосиного следа и долго бродили, прежде чем нашли отпечатки копыт, достаточно отчетливые, типичные, достойные быть увековеченными в альбомах. Судя по следам, лось на бегу пересек тропинку, направляясь через молодой сосняк, и только километрах в двух отсюда шаги зверя укоротились, следы стали давать мелкие извивы, делать повороты: он начал подходить к осинкам — кормиться. Многие мелкие ветви осин были обломаны и съедены полностью. Гриша вскоре заметил, что кругом, на большом расстоянии, нельзя найти ни одной осины с неповрежденными ветками на высоте от одного до двух с лишком метров. Молодые ивы и рябинки тоже были сильно повреждены.

#### Полет большого сорокопуга

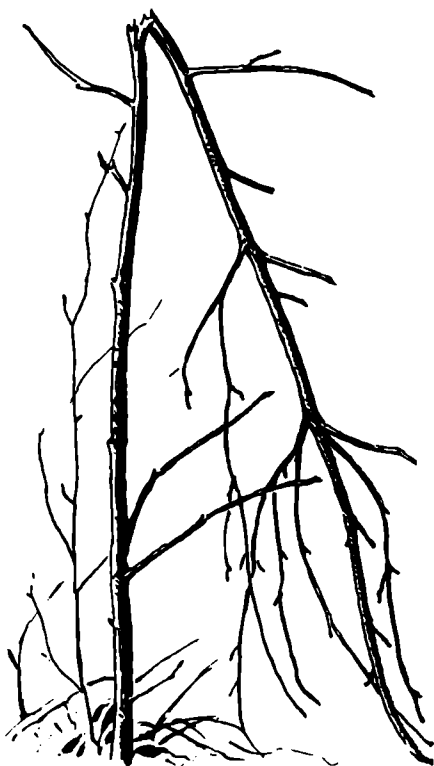




Песня большого сорокопуга

Многие стволы и ветви имели потемневшие, засохшие изломы, сделанные в предшествующие годы. Этот глухой уголок был, видимо, излюбленным местом зимних лосиных стоянок. Несколько дальше ребята заметили ярко-белую полосу на стволе дерева — здесь лось ободрал и обглодал сочную осиную кору от земли до той высоты, куда даже Севка не доставал рукой — «богатырь лесов» был немалою роста.

Следы привели мальчиков к большой падине с болотцами, группами камыша и густыми зарослями молодого чернолесья. Здесь нашли место, где лось лежал, отдыхая. Туловище зверя, его согнутые колени оставили вдавленный отпечаток на мягких мхах и опавших листьях. Тут же была большая куча лосиного помета — целые десятки продолговатых «орешков», похожих на большие буре



Рябинка, сломанная лосем при объедании ветвей зимой. Летом лось ошиповывает листья, не откусывая ветвей и не ломая стволы

желуди. «Кормится ветками и корой, как заяц-беляк; выбирает горьковатые деревья. Отдыхать ложится не на чистом месте, а в зарослях». Так подытожили свои наблюдения юные натуралисты и продолжили идти вдоль падины, затаив надежду повстречаться с виновником их последних скитаний. Но леса умеют скрывать своих питомцев, и друзья расположились обедать, так и не увидев «богатыря лесов». Обоим было жаль ошипывать наряд красивого тетерева — они решили пока удовлетвориться жидкой кашницей с горсточкой сухарей и чашкой горячей воды, сильно пахнувшей болотом.

Погода, хмурившаяся с полдня, резко изменилась к худшему. Мелкий дождь изредка брызгал из низких облаков, когда каша еще не начинала кипеть, а по окончании обеда дождь серой завесой окутал окрестные леса. Непрерывно шуршал по старым листьям и хвое, монотонным шумом напоминая об осенних ненастьях. Уныние прокралось в сердца ребят. День померк, над густыми испарениями, спеленавшими землю, опускались угрюмые, преждевременные сумерки. Лес потемнел, замолк и насупился... Капли воды четкими повисли на каждой ветви, пение птиц прекратилось; они попрыгали так, словно их не было. Друзья забились под большую густую ель и с подветренной стороны прижались к ее смолистому стволу, совсем так, как делал их сосед — зяблик, измокший, нахохлившийся, старавшийся скрыться под толстым сучком. Почти час просидели они здесь — непогода не прекращалась и, скрепя сердце, мальчики двинулись к Настину долу. Дождь на вечерней заре не всегда предвещает непогоду на утренней, слабая надежда на глухаринный ток еще не была потеряна.

Кому приходилось видеть, как теплый весенний дождь сгоняет остатки снега, «съедая» его на глазах у наблюдателя, тот не удивится, что друзья во многих местах не нашли ни малейших признаков своих следов, проложенных утром. Это незначительное обстоятельство сильно смутило обоих. Восстановить свой путь по компасу они не имели возможности, так как шли тогда по воле извилистой лосиной тропы. Много сил и стараний потратили ребята на разыскивание дороги. Они кружились туда и сюда, находили свой след, теряли его, снова находили. То возвращались, то бросались вперед, давали круги и вправо и влево — все напрасну! Густая темнота, сменившая сумерки, застигла их растерянными, беспомощными, потерявшими надежду куда-либо выбраться, среди совсем незнакомых мест в непроходимой чаще молодняка, которая не могла укрыть от дождя, с каждой минутой становившегося все более частым, крупным и злым. Куртки намокли и отяжелели. Повешенные вниз стволами ружья цеплялись и бились о деревья. В беспросветной мокрой мгле ночи мальчики, стиснув зубы, лезли по каким-то трущобам, брели по лужам, проваливались в ямы. Скользкие ветви, преграждая дорогу, больно хлестали в лицо злополучным путникам, то и дело налетавшим на деревья, падавшим, поднимавшимся и упорно продолжавшим врезаться в зловещую, темную глубину неведомого леса.

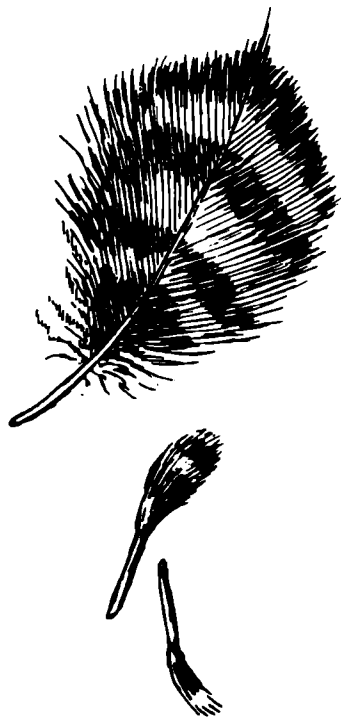


Ветер гудел, шатая вершины одиноких сосен, свистел в щелях ветвей, и жестокий дождь, словно мстя за что-то, лил и лил беспрерывно.

Жители города мало привычны к подобным невзгодам. Ребята не имели ни настоящей охотничьей закалки, ни достаточного опыта. Оба начинали терять присутствие духа. Гриша почти плакал. Севка временами переставал соображать от бессильной злобы на неудачу.

Куртки промокли, холодная вода, добравшись до тела, струйками стекала по плечам и спине; мальчики озябли и дрожали, стуча зубами. Гриша измучился настолько, что все казалось ему страшным сном. Потом впечатления потеряли свою остроту. Как в дремоте, он брел, безучастно следя за смутными силуэтами деревьев, машинально шагал, падал и поднимался, почти не слушая Севки. А тот твердил, что нужно добраться до крупного леса, развести костер во что бы то ни стало. Но когда мелколосье окончилось, они увидели, что пришли на большую пустынную гарь, где бешеный ветер ревел без удержу и дождь хлестал прямо в лицо. Жестокая насмешка! Хуже этого ничего нельзя было придумать. Друзья в нерешительности остановились. Возвращаться назад не имело смысла — они двинулись навстречу ветру без всякой надежды хоть чем-нибудь облегчить свое положение. И вдруг... о радость! Гриша попал ногой в колею дороги, проходившей в нескольких саженях от опушки. Но куда идти: направо или налево? «Пойдем направо — не все ли равно!» И снова две тени, одна за другой, побрели под проливным дождем, спотыкаясь о кочки, нащупывая дорогу ногами или иззябшими руками, отыскивая ее колени среди холодных луж, полуистлевшего хвороста и травы.





Перья молодых тетеревов

Казалось, целую вечность прошли они, прежде чем облик местности изменился: дорога привела их в давно сгоревший бор, дальше шли поляны, чернели столбы, гудел высокий лес, а перед лесом мутным пятном маячила какая-то приземистая постройка. «Смотри-ка, должно быть землянка углежогов!» — не веря глазам, произнес Севка, направляясь к таинственному жилью. Постройка оказалась низенькой, с разбитой дверью и сильнейшим запахом дыма. Мальчишки ввалились в сенцы. Гриша взвел курки ружья, а Севка чиркнул спичкой и осветил эту «избушку на курьих ножках». Торжество ребят не имело границ, а дымный аромат сразу нашел объяснение, когда постройка оказалась баней с сильно покосившимися гнилыми стенами. Крыша протекала в нескольких местах, печь-каменка развалилась. Прямая охапка сена лежала на полке, где русские люди имеют обыкновение париться. «Ого! Да тут, брат, и постель уже готова!» — воскликнул повеселевший вожак. «Уж не баба ляга нежилась на этом прекрасном

ложе? — добавил он, зажигая бересту, предусмотрительно собранную еще днем. — Гришка, ты, наверное, не прочь зарисовать следы ее ножек?» Они уже начинали шутить. Ночные блуждания остались позади и казались теперь забавным приключением, хотя оба еще тряслись от холода. Среди сена, разбросанного по полу, они нашли несколько окурков и в темном углу — перья тетеревов с мягкими бородками, не вполне вышедшими из чехликов. Севка многозначительно промычал при виде этих красноречивых следов и, заметив несколько рыжих волнистых волос в расщепленном торце бревна, восстановил всю картину. Не они первые нашли приют в этой бане; прошлым летом, после сенокоса, точнее, в начале августа, когда линяют молодые тетерева, здесь останавливался охотник с большой желто-рыжей собакой и одноствольным ружьем. Следы ружья были на закопченной стене. «А баба-яга еще не нашла сюда дороги...»

Развести костер на почерневших камнях печки было делом одной минуты. Добывание топлива осложнялось тем, что приходилось вылезать под дождь и в темноте собирать валявшиеся на поляне обломки. Утром выяснилось, что они остановились на

пепелище хуторка, когда-то захваченного сильным лесным пожаром, пощадившим одну только старую баню.

Едкий дым начинал наполнять тесное помещение. Сизыми слоистыми волнами он плывал сначала под крышей, заставив друзей согнуться, затем опустился до уровня полка, вынудив мальчиков ползать на четвереньках, и, наконец, достиг пола. Он щипал и разъедал несчастным глаза, забирался в легкие, заставляя кашлять, чихать, обливаться слезами, смеяться, снова плакать и ругаться. Наконец друзья не выдержали и выскочили под дождь. Только заткнув сеном все дыры, щели и оконце, мальчики добились того, что дым поредел и прямо от костра потянулся через двери на волю. В бане потеплело, друзья протерли ружья, скинули куртки, сушились, обогрелись и начинали дремать. Гриша, забравшись на сено, вскоре заснул. Севка, еще не вполне просохший, сидел у огня, грелся и клевал носом. За стеной бушевала непогода, лес скрипел и стонал при каждом порыве ветра, торопливый дождь хлестал так, словно наступили дни потопа...

## IX

### ЗАПАДНЯ. ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ. НОВОЕ ПРИСТАНИЩЕ

«Севка... Севка!..» — ответа не было. Гриша, проснувшийся от холода, еще раз скользнул рукой там, где должен был спать его спутник. Место было пусто, сено — совсем холодное. Видимо, мальчик исчез давно. «Севкаааа!..» — в ответ слышался ровный, однообразный шум дождя да мрачный гул леса. Огонь угас, баня была погружена в полную тьму. Гриша слез с полка, обулся и зажег клочок сена — ружье Севки стояло на месте, а самого его не было. Гриша раздул огонь, посидел у костра, решив, что Севка отправился за дровами, но прошло минут пятнадцать — пропавший не возвращался. Десятки предположений, одно другого мрачней, замелькали в мыслях мальчика. Он взял ружье Севки, как более надежное, его патронташ и вышел из бани.

Дождь лил, как и раньше, небо заметно посветлело, видимо, близился рассвет. Мальчик присел, чтобы окружающие предметы яснее вырисовывались на небе. Кругом торчали лишь черные, обуглившиеся столбы, дальше виднелись расплывчатые очертания берез и темный, беспокойный лес. Людей не было и следа... «Севкааааа!..» — «О-гооо, Гришаааа!..» — послышался ответ откуда-то снизу, точно из-под земли. Обрадованный мальчик кинулся на голос. «Тише... тише, а то полетишь!» — кричал невидимый Севка. «Где ты?» — «Здесь, смотри под ноги, не задави меня!». Он, действительно, скрывался под землей, в глубоком и тесном колодце с гнилым, трухлявым срубом. Там на дне он топтался и барахтался в кучке снега, не имея сил вылезти на поверхность. «Как ты сюда попал?» — «Как, как, — передразнил Севка. — Тащи скорее жердь какую-нибудь, замерз я — крыши-то ведь нет!»

Жердь была принесена, и мокрый, иззябший Севка заковылял к бане, рассказывая другу, как было дело. Оказалось, собирая ночью дрова для потухающего костра, он подошел к большому черному пятну, которое принял было за кучу обломков, наклонился и только протянул руку, как почувствовал, что падает, ударился обо что-то головой и потерял сознание. Очнулся он в этой яме, когда-то служившей хуторянам погребком, от боли в ноге, от холода и дождя, падавшего на лицо. Попытки выбраться были неудачны: сруб разваливался, рассыпался под руками, да и боль в ноге сильно мешала — мальчик растянул сухожилия ступни. «Кричал, кричал, охрип только... Разве такого, как ты, разбудишь!»

Они снова натопили свою избушку и залегли спать: оба измучились за эти два дня. Дождь, по всем признакам, «зарядил на долго», и заря не сулила никаких радостей.

Утро этого «третьего дня в лесах» проснулось серым, мокрым, тоскливым. Ветер почти затих, дождь то переставал, то снова с ожесточением принимался барабанить по крыше. Мальчики проголодались и с приготовлением завтрака провозились первую половину дня. Гриша отправился на разведку, пока Севка обдирал шкурку с тетерева, чтобы набить ее по приходе домой, а мясо сварить для обеда и ужина.

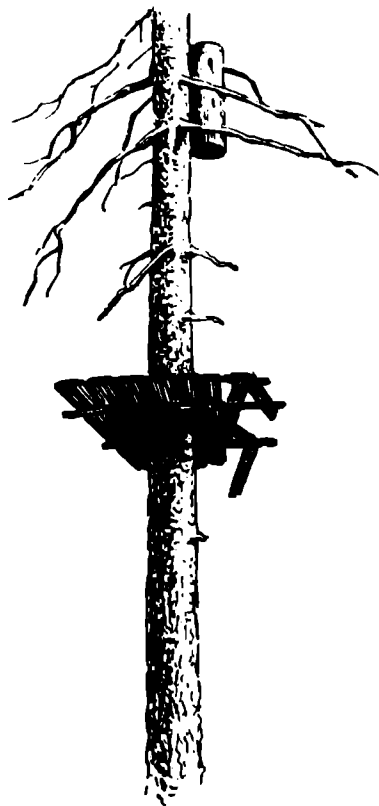
Гроза краснолесья — пожар, когда-то истребивший тысячи гектаров сосняка на запад от бани, одним краем захватил хуто-



рок, сравнивал его с землей и остановился у поляны с болотцем, тщетно пытаясь перекинуться к старому бору, куда сейчас направлялся мальчик. Высокоствольный сосновый лес без подседа, всегда поражает малочисленностью птичьего населения. А в этот серый дождливый денек Гриша прошел километра два, не встретив даже и признаков жизни. Намокший и унылый мальчик оживился, когда лес помельчал, и темная зелень елей с подседом из липок, осин и берез глянула из-за желтых стволов сосен. Здесь молча перелетал дятел, с полянки поднялся рябчик и копошились в ветвях синицы, стряхивая дождь брызг при каждом движении.

Снег оставался в немногих местах лишь там, где он отличался особенной плотностью. Потемневшая, покрытая мхом, напитанная водой почва податливо сминалась под ногой, но сейчас же упруго расправлялась и след пропадал. Чтобы не заблудиться, Гриша шел по компасу и делал на деревьях зарубки. Громадная сосна с оголенным толстым стволом и большой шапкой ветвей у вершины служила первой естественной меткой на пути. Почерневший улей для диких пчел — колода, как его зовут пчеловоды, был прочно привязан на высоте двенадцати метров к мощному стволу этого дерева. Ниже улья виднелось странное сооружение из толстых досок, сколоченных в форме квадрата, плотно охватывающего сосну.

Много позднее Гриша узнал, что деревянная площадка называется «кроватью». Она служит улью защитой от медведей — больших любителей меда. Мальчик пожалел тогда, что не догадался в свое время поискать следов когтей на коре дерева. Одна сторона «кровати» была поломана, в чем едва ли стоило подозревать хозяина улья. Полугнилые стенки колоды во многих местах были пробиты дятлами. Прутья, мочало и мох торчали из этих отверстий. Снизу они были едва заметны. Гриша еще не подозревал, что покинутый пчелами улей — удобный кров для любого из питомцев леса, ищущих покоя в уютном дупле. Четвероногие, начиная от куницы, белки, летяги, кончая летучими мышами, живущими колониями, многие пернатые — утки, нырки, совы, сычи, кобчики, чер-

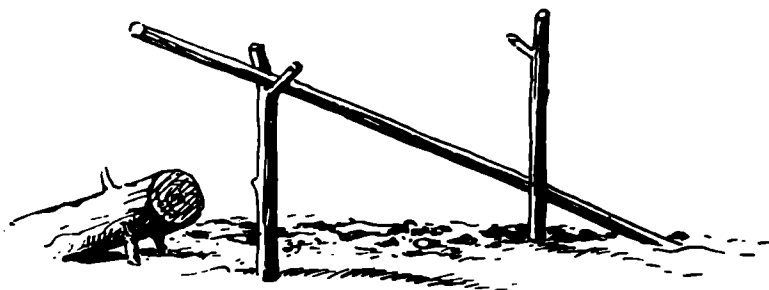


Улей для диких пчел — колода

ные и зеленые дятлы до маленьких гаичек и хохлатых синиц включительно, крупные шершни и мелкие осы — все находят себе кров в темной каморке, пропитанной запахом меда и воска, если в лесу недостаток естественных дупел. Звери, птицы и насекомые, по очереди захватывая улей, сменяются тогда в самых причудливых сочетаниях. Иной седобородый владелец рассеянных по лесам колод и бортей<sup>1</sup> только руками разведет да плюнет с досады, когда из летка улья, рискуя запутаться в его бороде, кинутся десятки «поганных» летучих мышей или вылетит, чуть не в лицо, большеглазая серая сова.

Сосна была в три гришиных обхвата, улей висел высоко; чтобы добраться до него, пришлось бы сильно потрудиться. Мальчик походил, походил вокруг и отправился дальше, держа на восток. Вскоре он натолкнулся на узенькую, еле заметную тропинку и, следуя ей, вышел к небольшой вырубке с пятью заросшими квадратными ямами. Видимо, здесь когда-то «жгли уголь». Мальчик решил поискать землянку и, пройдя еще несколько вырубок, натолкнулся на холмик, оказавшийся насыпью над крышей врытой в землю небольшой уютной зимницы<sup>2</sup>. Жилье пустовало, Грише казалось, что все люди повымерли в этих забытых лесах. Тщательно осмотрев обстановку, он неожиданно натолкнулся на следы человека. Вблизи постройки между двух свежесрубленных, прочно вбитых рогулек было кострище, размытое дождем. Вальдшнеп, одна из самых скрытных птиц леса, что-то разыскивал здесь в земле. Глубоко запуская в нее свой длинный клюв, он оставил по всему кострищу ряды ровных дырочек, обративших на себя внимание мальчика. Гриша не мог подыскать им объяснения.

В землянке оказалось много сена; крыша, дверь и стены были в полном порядке. Других подробностей он не разобрал, так как позабыл спички, а в помещении царил темнота. Около входа лежала большая куча дров и хвороста. Зимница обладала множеством преимуществ по сравнению со старой баней. Спугнув поблизости отсюда двух вальдшнепов, он вышел на окраину большой падины, очень похожей на осмотренную вчера. Здесь



<sup>1</sup> Борть — улей, выдолбленный в живом дереве, стоящем на корню.

<sup>2</sup> Зимница называется так потому, что только зимой служит приютом дровосекам, углежогам и охотникам.

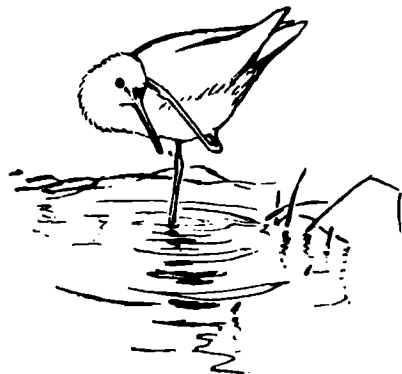
Гриша натолкнулся на столь свежие следы громадного лося, в которых смятый кукушкин лен еще не успел расправиться и поднялся на глазах, что опрометью кинулся к «банному становищу», чтобы сразу сюда вернуться.

Севка провел очень скучный день: боль в ноге мешала ему двигаться. Занимаясь стряпней, он выходил только два раза из бани, чтобы набрать воды из болотца. Здесь урчало множество лягушек; сюда же опустился неизвестно откуда взявшийся кулик-черныш. Он побегал по грязи, потом заметил мальчика и насторожился, отбежал в сторону, остановился. Покачал белым хвостиком, почесал лапкой за ухом, опять покачал хвостиком, но, решив, что, пожалуй, все-таки лучше улететь, испуганно крикнул «ки-ик-кииник» и скрылся за лесом. Яркое, белое надхвостье, резко выделяющееся между темных крыльев этого кулика, невольно бросилось в глаза наблюдателю. Оно заставило его задуматься над тем, нет ли какой-либо связи этой окраски с необычным образом жизни черныша.

Этот кулик гнездится по берегам лесных водоемов, проводит начало лета среди деревьев, откладывает яйца в дуплах, в брошенных гнездах белок и дроздов, откуда в лапках переносит пенцов на землю. Его ближайшие родичи выводят детей на кочках, на земле, преимущественно по открытым, травянистым берегам болот. Севка хорошо знал рассказы Э. Сетона-Томпсона, доказавшего значение белой окраски хвоста для кроликов и оленей. У них — это значки, облегчающие поиски друг друга членами одной семьи и стаи. Севка был готов применить это правило и к птице, оживленно снующей в ночной темноте по берегам лесных речек. Он упустил из виду, что у многих родственных чернышу птиц, живущих открыто, окраска хвоста также светлая.

По возвращении Гриши тетеревиный суп был уничтожен, и друзья покинули старую баню, приютившую их в прошедшую ночь. Севка забыл про боль в ноге, когда узнал о свежих следах лося, и не отставал от Гриши. Дождь прекратился. Издалека послышалось бормотание тетерева, но вскоре заглохло. По охотничьим приметам вечернее токование могло обещать на завтра хорошую погоду.

День уходил, сменяясь тусклыми сумерками, в воздухе похолодало... Тонкая струйка душистого дыма от зажженного костра медленно потянулась мимо зимницы к сумрачному небу. Словно испугавшись его неприветливости, она покорно склонилась вниз и расплзлась по лесу, наполнив голубой мглой все низины и промежутки



Кулик-черныш

среди деревьев. Начало слегка темнеть. Дрозд-деряба нерешительно просвистел несколько флейтовых отрывков песни и юркнул на ночевку в густые ветви елок. Севка наградил его эпитетом «сумасшедшего», считая, что на «такое неблагоприятное поведение весны», как погода последних дней, птицы должны ответить полным прекращением песен. Гриша собирался на тягу вальдшнепов, заранее высмотрев удобное для стрельбы местечко у одной из вырубок. «Запасы мяса» исчезнут сегодня во время ужина, необходимо озаботиться их пополнением. Севка, как худший стрелок, к тому же с больной ногой, оставался за кашевара. У зимницы пылал большой костер, потрескивали дрова, летели искры. Севка считал, что испуганные светом вальдшнепы здесь не полетят. Он сидел в стороне от ружья, когда в сумерках раздалось знакомое короткое и резкое «циканье»; к нему присоединилось хриплое, более слабое «хорканье» — нечто вроде «пси-квоог-квоог-пси». Темный силуэт вальдшнепа с красиво опущенным носом быстро проплыл прямо над костром, почти касаясь вершин деревьев. Справа опять донеслось похожее на писк дрозда, далеко слышное циканье, приблизилось, сменилось глухим гортанным хорканьем, и второй вальдшнеп протянул тоже над зимницей. Кашевар не вытерпел, схватился за ружье, взвел курки и встал у костра в ожидании. Ага, летит! «Пси-пси...хоог-хоог-пси» — ближе и ближе раздается хорканье. Вот он, весь распушившись, приподняв перья, отчего кажется гораздо большим, чем есть на самом деле, потянул прямо на огонь, то скрываясь, то появляясь из-за вершин. Он летит трепеща — весь воплощение зрения и слуха; следит за темнотой плывущего внизу леса, ждет, что нежный голос самки позовет его к земле.

«Хооооооо» — тяжело охнул выстрел, мигнула полоска огня, эхо грубо разбудило лес. Срезанные свинцом кусочки веток брызнули по воздуху, судорожно взмахивая растрепанным крылом, жалкий камушек-вальдшнеп повалился вниз, ударяясь о ветви. Пестренькое перышко и мелкие пушинки долго кружились в воздухе, не зная, куда опуститься. Пахучее облако порохового дыма медленно льнуло к земле и поредело, повиснув на пнях и хворосте. Дважды выстрелил Гриша, видимо, и мимо него летели вальдшнепы.

Севка шуршал листьями и, наклонившись к земле, уже несколько минут безуспешно разыскивал птицу, как вдруг около ног услышал какой-то странный сдавленный звук. Вальдшнеп сидел у пенька под сухими папоротниками. Он приподнял и веером распустил хвост, свесил крыло, полураскрыл клюв; его большие прекрасные глаза смотрели вперед, но, кажется, ничего уже не видели. Странное всхлипывание, совсем непохожее на голос птицы, было сдавленным стоном, исходившим откуда-то из ее груди, быть может, залитой кровью. Этого еще не доставало! Севку терзали тайные угрызения совести каждый раз, когда приходилось поднимать еще теплую, но уже неподвижную птицу. А добывать



подранков для него, начинающего стрелка и страстного любителя птиц, было тяжелым испытанием, самой, пожалуй, темной стороной увлекательного охотничьего спорта.

Над темными вершинами по-прежнему тянули вальдшнепы. Хоркали, цикали, гонялись друг за другом, затевали ссоры. Привлекаемые светом огня, проносились над костром, мелькая через него, как красные тени, чтобы через мгновение исчезнуть за туманным и сырым лесом по сильному и радостному зову.

Севка вернулся к костру, где котелки давно уже выкипели более чем наполовину, сел на пенек и задумался. Сколько раз он давал себе слово не брать в руки ружья и столько же раз не мог удержаться от выстрела! Охотничья страсть опять неукротимо овладевала всем его существом и подавляла голос жалости. Оставалось лишь жгучее желание овладеть той птицей, тем зверем, которых он так любил за каждый их звук, за каждое движение. Ружье само вскидывалось к плечу, а выстрел, приносивший смерть, снова вызывал мучительные раздумья.

Гриша тоже вернулся расстроенным — сбил двух вальдшнепов, но не мог разыскать. Молча поужинали и легли спать на нарах зимницы, каждый со своим ружьем. Но, видно, так повелось, что ни одной ночи ребятам не удавалось провести спокойно. Лишь только дремота сладким туманом окутала сознание, как зимница наполнилась шорохом, шумом. Как живое, зашевелилось сено, и маленькие существа забегали по полу, мягко топя лапками. Дремоты как не бывало. Ребята горели желанием познакомиться со своими сожителями и, лежа на нарах, разом освещали зимницу с двух сторон. Горючий шорох был ответом на чирканье спичек. А когда свет добирался до темных углов, все уже было спокойно — зверьки сидели глубоко в своих норках. Свет потухал, а расплзающаяся темнота снова наполнялась оживленным снованием невидимок. Так повторялось несколько раз. Быть может, для зверьков это было только забавной игрой в прятки, но мальчики рисковали остаться без спичек. Им пришлось признать себя побежденными. В последний раз Севка зажег бересту и, тщательно осматривая пол, нашел несколько обгорелых половинок печеного картофеля, из которых зверьки аккуратно выгрызли всю мягкость. Наверно, эти обуглившиеся в золе корочки были остатками обеда человека, оставившего у зимницы рогульки своего костра. Мальчики с самого начала предполагали, что здесь был охотник. Они торжествующе воскликнули: «Ага!», когда на стене, под деревянной спицей, отыскали довольно свежие следы крови и перья глухаря. Охотник приходил на ток; значит, токовище где-то поблизости. Ребята заснули с мыслью, что завтра же примутся за поиски.

Шел мокрый снег, чередуясь с дождем, и почерневшие деревья мерно кивали вершинами от порывов ветра, встречая Гришу, выползшего из зимницы и протиравшего глаза. Небо было тусклое, серо-свинцовое со всех сторон. Мальчик затруднялся сказать, взошло солнце или нет. Бормотавший вчера тетерев не оправдал охотничьей приметы и связанных с нею надежд. Погода совсем испортилась. К тому же друзья проспали — разыскивать ток было уже поздно. Четвертый день охоты начинался неудачами.

Дрожа от холода, Гриша умылся ледяной водой и, взяв ружье, отправился на поиски убитых вальдшнепов. Птицы пропали, быть может, унесенные каким-нибудь хищником. Внимательно всматриваясь, охотник последний раз обошел место, где вчера упала его добыча.

Маленький зверек, рыжевато-бурый сверху, беловато-серый снизу выскочил из-под хвороста и, словно шарик, прокатился через опавшие листья. Он собирался юркнуть в свою норку, как вдруг услышал шорох шагов человека. Полевка остановилась на полпути: кругленький зад с коротким хвостиком оставался снаружи, тогда как грудь с передними лапками и голова с настороженными ушками скрывались в норе. В этом положении зверек застыл неподвижно и, казалось, был готов оставаться весь день. Гриша стоял, не шевелясь, ожидая, что предпримет этот пушистый комочек. Но минуты проходили одна за другой, и упорство натуралиста разбилось о терпение зверька, воспитанного лесом. Гриша не выдержал — после длительного молчания пискнул

Лесная полевка



коротко, одним из тех голосов, которые так часто слышатся по вечерам с земли, пронизанной дорожками и ходами полевок. В одно мгновение произошла перемена. У норы что-то мелькнуло, и полевка уже сидела в спокойной позе, лизала передние лапки, против шерсти терла ими мордочку, жмурясь и комично пригibas мягкие ушки от затылка к носу. Умывание было быстро окончено, зверек блеснул глазками и шмыгнул в темный ход подземного лабиринта. Близ норы Гриша нашел большую кучку мелко изгрызенных скорлупок желудей, мякоть которых полевка поедала на избранном месте. Она притаскивала их издали по извилистым тропинкам, зимой проложенным под снегом, а теперь — под тонким слоем опавшего листа и хвои. Там, где лежала кучка объедков, у этого зверька был «обеденный столик», который имеется почти у каждой полевки.

Среди дня Гриша отправился за ножом, забытым в бане при поспешном переселении. Севка пошел по следам лося. Гриша несколько в стороне от своего прежнего пути нашел еще один улей, висевший сравнительно низко на большой ели. Ободрав себе руки, распоров куртку в нескольких местах, Гриша вскарабкался на дерево и уцепился за колоду. Он вздрогнул и чуть не упал, когда пальцы руки, просунутой в одно из отверстий, сделанных лесным столяром — дятлом, натолкнулись на что-то мягкое, лежавшее внутри. «Мягкое» оказалось лапой глухарки с мясом и перьями. Юный натуралист не сомневался, что это — следы деятельности одного из лесных хищников, но какого, он не мог догадаться. Только несколько лет спустя, когда ему удалось познакомиться с нравами лесной куницы, он вспомнил о случайной находке в холодный апрельский день. Куница, поймавшая зайца-беляка или глухаря, сначала наедается, а затем, разделив добычу на части, растаскивает их по дуплам, старым гнездам, кучам хвороста и другим укромным местам. Охотник за пушными зверьками, разрубив дупло, к которому его подвела остроухая

Полевка



собака лайка, бывает сильно обескуражен, найдя там не желанную добычу, а заячью лапку, крылышко рябчика да разноцветные перья большого пестрого дятла.

Весь низ внутренней полости колоды был завален кусками пчелиных сот, гнилушками, мхом, лишайниками, прутьями, сухими листьями и обломками гнезда шершней. В слоях этого хлама лежали перья дятлов, скорлупки белых яиц, какие-то кости, какие-то волосы. Видно, пчеловод давным-давно махнул рукой на пропавший улей и подарил его в полную собственность лесу. Грише очень хотелось прочесть летопись смены обитателей серого домика, сделанного для пчел и, за неимением их, доставляющего кров многим жителям леса.

Нож оказался воткнутым в стену бани. Мальчик без приключений вернулся к зимнице, сделав неудачную попытку забраться на сосну с ульем, найденную вчера. Только теперь он почувствовал, что ослаб и утомился за последние дни.

Лосиная тропа увела Севку к большому моховому болоту. По пути он во многих местах встретил следы зимнего пребывания глухарей и спугнул двух глухарок с сосны у поляны. Птицы кормились, обламывая кончики веток с почками и хвоей. На снегу под сосной лежала оброненная птицами хвоя и свежий помет глухарей, целиком состоявший из пожелтевших сосновых игл. Все убеждало ребят в верности предположений о близости токовища. Вечер оба провели в зимнице; вальдшнепы не летали, «тяга» прекратилась — погода разбушевалась не на шутку. Мокрый снег валил хлопьями, в лесу стало холодно и совсем неудобно. В полутьме, при неровном свете костра Гриша зарисовывал лапу

глухарки. Его интересовали расположенные по бокам пальцев ряды жестких роговых стерженьков, составляющих особые гребеночки или бахромки. Бахромки появляются с осени и спадают на следующее лето; они облегчают птицам передвижение по скользким, оледеневшим ветвям, где глухари и тетерева кормятся зимой. Севка следил за другом и, мысленно сравнивая его осунувшееся лицо с прежним — крепким и розовым, тревожно думал, что будет, если мальчик расхворается. Он не знал, что и сам выглядит не лучше своего спутника. Пять дней тревожной, трудной жизни не могли не ска-



Лапа глухарки

заться. Оба сильно похудели, глаза от дыма и беспокойных ночей сделались красными, губы потрескались. Загоревшая кожа рук стала шероховатой — «покрылась кочками», по образному выражению Севки. Утомление, недоедание не прошли даром. Но друзья крепились, твердо решив пробыть в лесу до тех пор, пока продовольствия в мешках останется не более как на обратную дорогу до первой деревни.



## XI

### ТОК НАЙДЕН! НА НОВОМ НОЧЛЕГЕ

Холод, тишина, странный мутноватый свет были в зимнице при их пробуждении. Оба вскочили разом, как по команде, и мешали друг другу в торопливых сборах на поиски тока.

Лес стоял неподвижный, как заколдованный. Ветра и монотонного гула вершин, к которому друзья успели привыкнуть, уже не было. Предраассветная гнетущая тишина молчаливым, покорным ожиданием наполняла темноту. Тускло белел снег, за ночь успевший запорошить и старую листву, и остатки костра, и пни, и упавшие деревья. Беззвучно, боясь говорить даже шепотом, двинулись друзья по темному призрачному лесу. Проходили тридцать-сорок шагов, останавливались, долго напряженно прислушивались. Кругом все спало. Лес отвечал упорным угрюмым молчанием, строго храня свои тайны. Они снова шли, снова останавливались и, поворачиваясь во все стороны, напрягали слух, силясь уловить долгожданную песню глухаря. Тишина или, самое большее, легкий шелест вершин был неизменным, единственным ответом на их ожидание. Скрип кожи патронташа при неловком повороте, хруст ветки при резком движении в этом мертвом беззвучии казались громче выстрела, биение сердца — сильными ударами молота, а лес молчал, молчал упорно и как будто насмешливо. Медленное движение, напряженное, пронизанное нервной дрожью ожидания, среди черных отовсюду протянутых ветвей обещало быть бесконечным. Друзья, подавленные молчаливым заговором леса, потеряли представление и о времени, и о пространстве, которое прошли. Утомленный слух начинал наполнять тишину несуществующими шорохами и звуками, мальчики пугали друг друга, замирали, прислушивались — лес молчал, молчал и молчал...

Севка уже подумывал, что они ошиблись и покинули зимницу слишком рано. Но небо на востоке стало медленно, еле заметно светлеть. Потом белесоватый сумрак смешался с ночной темнотой, прятаясь в елях, и нашел мальчиков на поляне, одним краем спускавшейся к болоту, совсем черному среди снежного пейзажа. Именно в эти минуты должен быть разгар глухариного тока, если бы не помешали холод и снег. Где-нибудь здесь рядом, вот за этой полосой деревьев скрываются громадные темные птицы и поют свои странные песни, понятные только им одним. Где и как — об этом лес еще не проронил ни звука. Замкнул мальчиков густой непроницаемой стеной, окружил буреломом. Отовсюду протянул в лицо колючие, лохматые лапы, подсунил под ноги мшистые колоды, суковатые жерди и хворост. Озадаченным, притихшим охотникам было от чего прийти в отчаяние! Ток близко, друзья были в этом убеждены, но как найти его, как уловить эти песни, слышные лишь на двести-триста шагов!

Ах, если бы голос глухаря был так же звучен, как бормотание его меньшего брата — тетерева! Ведь сегодня предпоследняя заря, и завтра утром они ни с чем должны будут отправиться к дому: пшена осталось всего четыре горсти. На душе было горько, горько и обидно, почти до слез! Столько трудов, столько усилий — и все даром. Вернуться в город, не увидев даже, как глухари токуют. Слышать дома насмешки сестер, а в гимназии подтрунивание товарищей. Севку злило одно воспоминание о словах «Охотничьего календаря»: «Впрочем, можно, иногда, определить место тока по направлению полета летящих глухарок...» Он повторял эту цитату с разными интонациями, сюсюкал, словно передразнивал какого-то профана, совсем не ведавшего, как разыскивается глухариный ток. «Как бы не так! Очень уж просто все это у вас в книгах. Вот определите направление полета глухарок, когда их нет!»

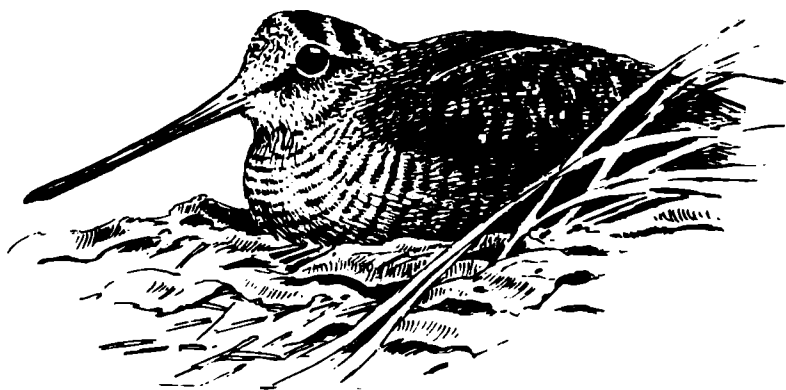
Робко брезжил и приближался рассвет. Где-то за болотом протяжно и звонко, как вызов медной трубы, прозвучал первый крик журавля. Целый хор журавлиной стаи дружно ответил на этот голос. Трубные звуки, сливаясь с эхом, долго плыли, колыхались над чащами; торжественная музыка лесов приветствовала восходящее светило, на этот раз скрытое тяжелой, свинцовой завесой облаков. Лес пробуждался. Далеко на глухой и пустынной луговинке нерешительно бормотал тетерев. Запели дрозды-дерябы неохотно и вяло, словно по обязанности, — утро было холодным, всюду белел снег, точно говоря, что зима вернулась и он совсем не намеревался таять.

Севка упрямо решил продолжать поиски вдоль изрезанной окраины болота и, прихрамывая, скрылся за группой елей. Гриша медленно пошел к зимнице, думая осмотреть лес влево от постройки. Снег сминался под ногами и налипал к сапогам. Вместе с хвоей и листьями получались громадные «каблуки», очень затруднявшие ходьбу. Мальчик часто останавливался обивать эти надоедливые наращенные. В одну из таких остановок у своих

ног, на снегу он заметил стройные следы лапок, которые могли принадлежать только кулику. За упавшей порыжевшей сосной у мокрой, лишенной снега низинки он спугнул вальдшнепа. Следы принадлежали этой птице. Она слетела неожиданно, в двух-трех шагах с того места, куда только что был обращен взгляд наблюдателя. Гриша недоумевал, как он мог проглядеть ее, ростом с голубя, сидевшую так близко и совсем на виду, хотя и знал, что оперение вальдшнепа — прекрасный образец так называемой криптической, маскирующей окраски. Подобно совам, сычам, козодоям, вальдшнеп, деятельный в сумерки и ночью, ищет днем покоя, почему быть незаметным в это время ему особенно необходимо. Среди дневных хищных птиц много опасных врагов вальдшнепа: это — ястреб-тетеревятник, перепелятник, канюк и другие. Его оперение, ржаво-рыжее, испещренное волнистыми черными и серыми пятнами, оказывает птице неоценимые услуги в светлые часы суток. Оно поразительно походит на цвет почвы, усыпанной сухим листом, где скрывается этот пугливый житель сырых лесов. На самку вальдшнепа, сидящую в гнезде, можно наступить, не заметив. Убитого вальдшнепа, упавшего спинкой вверх, искать очень трудно.

В сырой низинке, где сидела птица, Гриша нашел множество дырочек, сделанных в почве ее клювом, и сейчас же вспомнил о точно таких же ямочках, виденных третьего дня у костра. Несколько дальше он спугнул еще двух вальдшнепов, натолкнулся на следы зайца, полевок, лесных мышей и, наконец, встретил следы парочки белок, только что покинувших теплое гнездо в поисках утреннего завтрака. Белок найти не удалось, несмотря на приложенные старания. Заслышав звуки его шагов, зверьки забрались на деревья и скрылись. Они умеют отлично затаиваться, плотно прижавшись к сучьям и подолгу сохраняя полную неподвижность.

Вальдшнеп



Гриша не терял времени и наполнял альбом рисунками, хотя пальцы сильно иззябли и плохо повиновались. Он уже почти позабыл о задаче этого утра, как вдруг над лесом мелькнула какая-то тень. Мальчик, опрометью выскочив на полянку, увидел глухарку, летевшую в сопровождении глухаря. Сердце у него сжалось при виде этой картины. Он занимался пустяками, когда нужно разыскивать ток! Гриша глянул вокруг, выбрал самую высокую и ветвистую ель, сбросил мешок, патронташ, повесил ружье на сучок и быстро полез к густой зеленой вершине. Большое причудливой формы болото с мелкими кочками, гривами желтого камыша, группами худосочных сосенок, островами и заливами, зубчатые вершины ельников, уходящие вдаль вековые боры — вот широко раскинувшаяся панорама лесного царства, которая была видна, как на ладони, с той высоты, куда забрался мальчик. Маленькой игрушкой казалось висевшее внизу ружье, а дрозд-деряба выглядел так забавно, вертясь на макушке соседнего дерева. Гриша смеялся, потешаясь над его движениями.

Он почувствовал себя птицей, покачиваясь на вершине, среди зеленых смолистых ветвей, осыпанных шишками. Здесь было холоднее, он начал уставать, и что-то вроде головокружения, от слабости или от голода, медленно отравляло ему пребывание на соколиной высоте. Закоченевшими пальцами цеплялся он за ветви и упрямо твердил: «Все равно я до вас доберусь! Не уйду, пока не увижу, откуда летите. Не уйду!» Зорко обегал его взгляд зеленое море вершин, широко расстилавшееся вокруг. Вон сарыч кружит за болотом, высматривая полевок... Там перелетели две сойки — наверное, ищут местечко для гнезда. Что-то маленькое, темное мелькнуло над соснами большого острова за болотом, .. еще и еще. Две крошечные глухарки и глухарь летели оттуда на места своих дневок. Второй глухарь показался

над северной частью острова и полетел в другую сторону, по другому радиусу круга, в центре которого должно быть токовище. «Так вот вы где, вот вы где», — восторженно приговаривал Гриша, перебираясь с ветки на ветку и летя вниз по зеленой лестнице со скоростью белки. Еловая душистая смола налипала ему на пальцы, поток мелких поломанных веточек, лишайников, хвоянок, обгоняя Гришу, сыпался вниз, на белый снег. Под елью обра-



Следы вальдшнепа, добывающего корм из сырой лесной почвы



зовалось широкое темное пятно сора. «Похоже, что медведь за медом лазал», — проговорил Гриша и довольным взглядом окинул огромное дерево от корня до верхушки. Высоко под облачным небом на тонких ветках покачивались его золотистые шишки. Ладони стали пятнисто-серыми от смолы; Гриша потерял одну о другую. Его куртка, шапка, руки — все пропиталось крепким смолистым запахом ели и грибным — от сырых лишайников с корой.

Перебрести болото, залитое вешней водой, не шуточное дело. Гриша долго нащупывал брод. Шагал вначале осторожно, тщательно выбирая места, где ступить, но, зачерпнув левым сапогом воду, бросился вперед, бултыхая, не разбирая дороги... Вот и остров с его старыми соснами, каймой ивняка и зарослями ольхи по краям. Гриша наспех переобулся, вытер внутренность сапог хвоей, вынул из мешка сухие шерстяные носки, зарубил белую метку на крайней сосне и вступил под таинственные своды токовища.

Было позднее утро, только один запоздалый глухарь, испуганно зашумев крыльями, шархнул с вершины и скрылся, незамеченный мальчиком, уже наполовину пересекшим остров. Гриша закричал «ура» и продемонстрировал сойкам фантастический победный танец, когда в двух, в трех, в четырех местах натолкнулся на свежие следы глухарей. Отпечатки лап самок были мелки, располагались не по прямой линии, а как-то извилисто — птицы ходили вперевалку. Следы петухов были крупны, почти все с ясными отметинами бахромок пальцев. Там, где глухарь токовали, на снегу виднелись полосы от волочившихся крыльев, шаги птиц были очень коротки; местами следы петухов сближались, беспорядочно перепутывались у валяющихся темно-серых, мелкокрапчатых перьев — здесь разыгралась драка.

Гриша был счастлив, как путешественник, открывший никому неведо-



Следы глухарки



мую богатейшую землю; как первый исследователь этого чудного леса и этих птиц, в уединенном уголке ежегодно собиравшихся для песен и игр. От избытка чувств он, быть может, проблуждал бы до вечера, если бы не озябли отсыревшие ноги и над лесами не прокатился далекий гулкий выстрел Севки. Гриша пришел в себя, вернулся по старому следу и снова пересек болото. Оглядываясь на свое токовище, он махал ему рукой и прибежал к зимнице одновременно с Севкой.

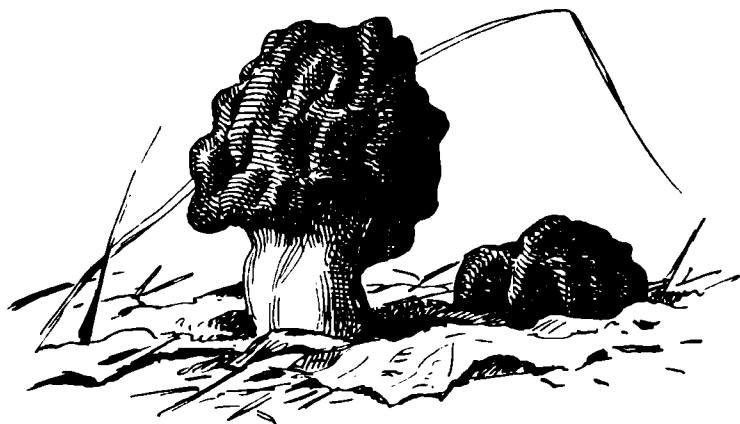
Ребята разложили костер и, отделенные один от другого сизыми столбами дыма, рассказывали и говорили без передышки. Севке тоже посчастливилось. В полукилометре от того места, где они разошлись, в чаще молодого березняка он встретил полузанесенные вечерние следы лося и почти тут же, на гриве, выбегавшей к болоту, нашел большой лосиный рог, застрявший



в ветвях березы. Должно быть лось в середине зимы, когда рога у него уже плохо держались, запутался отростками в гибких ветвях и оставил половину своей тяжелой короны (случай сбрасывания лосем обоих рогов одновременно очень редки). Пройдя еще немного, Севка услышал внезапный хруст ветки и тотчас заметил большую темную фигуру, мелькнувшую вдаль. Совсем не такой рисовалась в мечтах Севки первая встреча с сохатым. Вспоминались книжные рисунки, где лось бежит открыто, как на параде, показывая свой богатырский рост и лопатообразные рога. А здесь, за буро-красной сеткой молодого чернолесья всего на один миг показалась темная несуразная голова, высокие плечи да мелькнули крепкие беловатые ноги. Зверь исчез с быстротой и легкостью зайца. Только задетая лосем березка покачивалась взад и вперед и, ударяясь о соседние ветви, шелкала все тише и тише. «Вот тебе раз!» — единственно, что мог проговорить остолбеневший от неожиданности Севка и бросился вдогонку зверю. Большие темные следы уходили в болото, лося нигде не было видно... «Тебе приставал снег на каблуки? Мне тоже. И, знаешь, лося на копыта какие здоровые лапти налипают! А когда слетят, так замечательные слепки копыт остаются. Жаль, что снег начал таять, — вот бы тебе их зарисовать! Я-то пробовал, да ничего не вышло».

Пройдя километра два после встречи с лосем, Севка сделал открытие, очень обрадовавшее друзей. Наполненная водой низина, среди которой расположен обнаруженный сегодня «глухаринный остров», — это одно из многих разветвлений Оленьего болота, а их зимница находится всего в четырех верстах от дороги к Забору. Они и раньше не сомневались, что с помощью компаса выйдут на единственный торный тракт, пересекавший леса с юго-запада на северо-восток, теперь же совсем успокоились, зная, что могут вернуться домой, когда пожелают.

Строчки



На обратном пути Севка стрелял глухаря, поднявшегося очень далеко, и промахнулся. Потом на открытых местах в бору он нашел много строчков — самых ранних съедобных грибов. Их кофейные и бурые шляпки, волнистые, бугорчатые, смятые в складки, торчали из-под свежего снега. Строчки встречались целыми «гнездами»; они высыпали на прогретых солнцем полянах еще в теплые дни, до ухудшения погоды. Севка набрал их в карманы и сумку; хрупкие, полые внутри грибы легко ломались в руках. Немного дальше, на безлесной пустоши, он случайно заметил несколько странных приземистых растений и не сразу узнал в них цветы сон-травы — так они изменились. Лиловые колокольчики закрылись, сложив лепестки, поникли вниз головой и как-то съжились в ожидании новых солнечных дней. Что-то трогательное, терпеливое почудилось Севке в облике этих пушистых, склонившихся вниз побегов, привычных к капризам ранней весенней погоды.

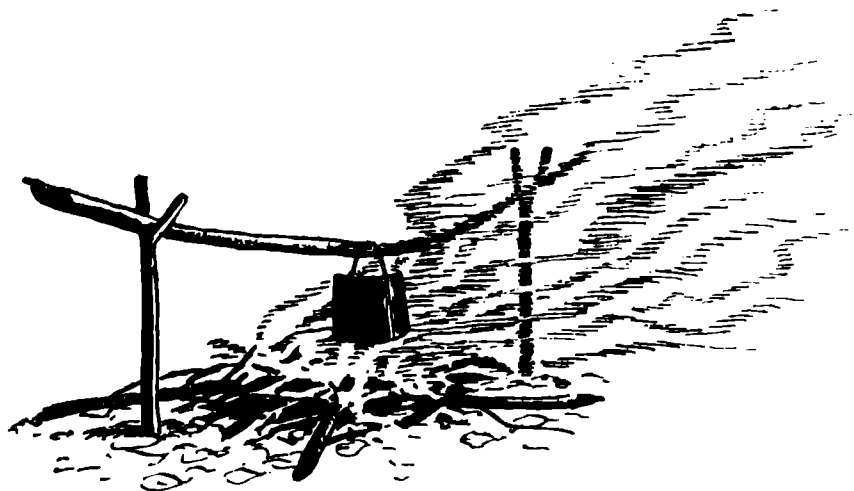
Ребята помнили, что строчки и сморчки содержат ядовитый сок. Поэтому их обдают кипятком или отваривают прежде, чем кладут на сковородку; первую воду сливают. Большая кучка строчков после отваривания уменьшилась раз в пять. Грибной суп и очень жидкая каша были у друзей на этот раз обедом; не сытые и не голодные переправились они на «глухариный остров».

Было далеко за полдень. Хотя небо еще хмурилось, в воздухе потеплело. К этому времени свежий снег успел растаять. Гриша очень жалел, что не может показать другу следов «своих глухарей». Оба без конца колесили по извилистому, вычурной формы, острову и спохватились лишь тогда, когда на один не мог сказать, откуда и куда они шли. «Опять заблудились! Это все ты, Гришка! Остров-то твой, давай, выводи!» Смущенный проводник долго копался, отыскивая и рассматривая отпечатки каблуков, оставшиеся лишь кое-где. После длинного ряда неудачных попыток и тревожных друзей выбрались к сосне с белой меткой. Чтобы на утренней заре не повторилась подобная история, они еще раз тщательно обошли остров, пользуясь компасом, делая зарубки на видных местах и нанося на схематический план естественные метки. В последних не было недостатка: большие муравейники, груды бурелома, ямы со снегом и маленькие полянки встречались на каждом шагу. Это заняло у них весь вечер, и в сыром воздухе чувствовалось приближение ночи, когда они закончили «съемку». Место для ночлега выбрали на острове, отделенном от токовища проливом в триста метров шириной. Ребята нашли ровную песчаную площадку у корней вывороченной ветром сосны. Пласт земли, поднятый узловатым сплетением корней, укрывал площадку подобно широкому щиту. С боков к нему пристроили две стенки из густого лапника, прогрели площадку костром, отгребли угли в сторону и прямо на горячую золу настелили еловых ветвей. Жилище было готово.

Стемнело... Торопливо и высоко протянули два вальдшнепа. Даже эту птицу вечер угнетал холодом и резким ветром. Тревожно

шумели деревья вверху, а внизу, борясь с мраком и холодом, весело пылал костер. Пахло дымом, струился нагретый воздух. В закоптелом, многострадальном котелке булькала, пенилась и кипела каша. Последняя каша! Она была жидка до прозрачности. Назавтра оставалось меньше горсти пшена! С заботливостью, достойной лучшего применения, мальчики выскребли все содержимое со дна мешков. Откинули клочки бумажек, перья, соломинки и высыпали оставшиеся крошки сухарей в варево, лишь только оно поспело. Эта голодная «болтушка» исчезла через несколько минут после начала ужина. Потом Гриша долго выскребал посудину ложкой — пустой котелок жалобно бренчал, протестуя. Севка мечтательно смотрел на эту сценку и строил несбыточные предположения о том, что бы он ел сейчас дома. Оба выпили по глотку из фляжки, почувствовали, что согрелись и... еще больше хотят есть.

Ночь повисла над островом сплошным черным пологом. Острыми струйками холода проползала, змеилась и тянулась к костру через еловые стенки, беспокойно металась, гудела, стонала, скрипела в темных вершинах деревьев. «Эх, только бы к утру немножко затихло. Иначе — пропал ток». Мальчики молчали, тоскливо слушали нараставший шум леса. «Видно, не стихнет». В небе робко мигнула одна звездочка, другая, третья... «Разорвало облака... может, прояснится». Гриша сунул еловую ветку в костер. Она загорелась не сразу, но зеленые хвоинки вспыхнули, дружно с тонким жалобным писком согнулись, сделались красными, потемнели, рассыпались. Звуки отдельных хвоинок сплелись в стон умирающей ветки. Казалось, десятки маленьких существ разом покинули свои жилища, с плачем унеслись ввысь. Мальчик подкладывал ветку за веткой — стоны хвоинок превратились в тонкие высокие вопли. «Брось! Не надо, — нервно прогово-



рил Севка. — Давай лучше что-нибудь споем». В костер подбросили дров, сели ближе друг к другу, затянули невеселые песни. О, как странно звучали слабые голоса ребят, прильнувших к огню — жалкому пятну света, затерянному в безбрежной темноте громадных тревожных лесов!

Ветер то затихал, то снова усиливался. Холод сердитыми струйками пробирался к костру. Казалось, конца не будет ночи мрака и зловещих звуков. Только под утро ребята уснули чутким сном, прижавшись друг к другу под нависшими корнями упавшей сосны.

## XII

### ГЛУХАРИ ПОЮТ!

«Ну, все ли взяли?» — «Кажется все». Севка снова пошарил в постели из еловых ветвей, в последний раз взглянул на костер. Друзья двинулись, трясаясь крупной дрожью от холода и сдерживаемого волнения. Было совсем темно, но какое-то неумолимое предчувствие безошибочно говорило им, что близится рассвет. «Вот здесь!» — «Да нет же... Ну, куда ты, прямо!» В темноте деревья острова казались великанами, страшными, причудливыми, березовые пни — чем-то вроде белых черепов, маленькие полянки — бездонными ямами. Мальчики долго не могли найти брода.

«Помнишь, как говорил тот деревенский охотник? З-а-б-у-л-ю-к-а-л-и по болоту», — Севка хихикал, Гриша сердился, шипел, без плеска погружал ноги в воду и вынимал их так же бесшумно. «Сурьезный мужичок», — дразнил его Севка. Водяные круги, тускло поблескивая, расходились от ног, качали одинокие камышинки, что-то шептали им и прятались, добравшись до кочек. Триста метров показались невероятно длинными. Оба были счастливы, почувствовав под ногами вместо зыбкого мха влажную почву «глухаринного острова». Две белые зарубки на сосне смутно мерцали, несмотря на темноту. «Видишь, как вышли!»

Звезды холодно и лучисто вспыхивали, показывались и исчезали лишь кое-где на небе. Словно незримая рука гасила их там, где в эту минуту плыли невидимые облака. Ветер по временам затихал — лес засыпал с легкими вздохами, сосны прекращали скрип, тихо, сдержанно шушукались в полудремоте... Затаив дыхание, превратившись в слух, мальчики стояли уже минут пятнадцать. Еще вечером они бросили жребий — еловую ветку, и Севке досталось подсказывать к первому глухарю. Вот почему его разбирало особое нетерпение. К тому же — сырые ноги сильно зябли от неподвижности.

«А вдруг они здесь не токуют? Не лучше ли будет разойтись в разные стороны?» — Севка намеренно давал Грише большое преимущество: идя направо, тот будет двигаться против ветра,

издалека слышать глухарей и не так пугать их шумом шагов. Гриша согласился. Две неясные фигуры медленно растаяли в темноте, уплыли каждая в свою сторону.

Севка прошел шагов семьдесят, прислонился к дереву и решил слушать, не сходя с места. Ветер слабо дохнул с востока. Зашушукались, заговорили и запели сосны. Дерево тихо покачивалось у плеча мальчика, говор леса навевал на него легкую дремоту, опутывая сознание еле уловимыми, смутными, как сон, воспоминаниями о том, что он как будто всегда, в продолжение многих лет, стоял здесь и слушал, слушал этот вековечный ропот. «Но что это»? Еле слышное, невнятное скрипение и потрескивание, точно тихий-тихий лепет, почти сливаясь с говором вершин, блуждало в темноте, слабо выделяясь своим особым ритмом. «Вот опять! — Севка прислушивался, не дыша, и замер так, что даже сердце перестало биться. — Опять!..» Скрипение и шелест повторялись с равными промежутками, и, едва только ветер притих, Севка ясно различил два колена — слабое шелканье и несколько более звучное «скиркание», или «точенье», глухаря, разыгравшегося далеко в темной глубине острова.

«Он, он, он!» — восторженно прошептал мальчик. Кровь бросилась ему в голову, щеки горели, руки дрожали, закидывая ружье за плечи. «Ну!» — мальчик приготовился к прыжку. «Тэке-тэке-тэке-тэке — тэкеррррре-цирси-цирси-цирси-цирси...» — слабо, сквозь дымку полусна, неслось с токовища. Раз — метнулся вперед мальчик, лишь только послышалось «тэкеррррре», два-три, скиркание еще не прекратилось, а он уже стоял неподвижно. Маленькая пауза опять: «Тэке-тэке-тэке-тэке-тэкеррррре-цирси-цирси-цирсици-цирси-цирсици». Раз-два-три — снова три огромных бесшумных прыжка... «Тэке-тэке-тэкеррррре...» Раз-два-три! Севка перемахнул через яму с водой, споткнулся о пень, еловая ветка сердито хлестнула его по лицу, и он убедился, что действительно «искры» из глаз могут сыпаться целым дождем, но стоял неподвижно задолго до конца скиркания. Песня непрерывно следовала за песней, прыжки — за прыжками, сплетаясь в странную дикую пляску, несущую смерть среди темных стволов еще не пробудившегося леса. Песня за песней, прыжки за прыжками!

Глухарь был старый, хороший «певун»! Раньше всех проснулся он на сосне, где провел ночь. Осмотрелся, долго шелкал отрывисто и коротко, вода по сторонам головой и прислушиваясь. Темнота дышала покоем, однотонно шумели вершины да пошевеливалась в ветвях неподалеку ночевавшая глухарка. Он шелкал все чаще и чаще; увлекся, уже горел, сокращая промежутки между следовавшими один за другим звуками до тех пор, пока они не слились в сплошное пощелкивание, а скиркание полилось само собой. Тогда глухарь распустил веером хвост, свесил крылья, оттопырил перья бороды и шеи. Двигаясь боком по горизонтальному суку сосны, он пел восторженно, в радостном самозабвении, лишь изредка прислушиваясь, не скрипит ли дру-

гой глухарь, вызывая на драку, и поворачивался то туда, то сюда.

Странные это были песни! Они могли родиться только в лесу и только в лесу были понятны! Потрескивание веток и скрип вершин были их основным мотивом. «Деревянные звуки», как окрестил их Севка. Но они следовали один за другим такой волнующей, задорной вереницей, в ее захлебывающемся, страстном ритме было столько огня и весеннего трепета, что песни попеременно обдавали мальчика то жаром, то холодом. В каком-то безумном упоении, в полубреду он неся сказочной пляской, громадными прыжками по мягким мхам, мимо куч хвороста, продираясь сквозь ветви. Старый «певун» позабыл о врагах и опасностях — песни лились одна за другой. Севка уже слышал совсем ясно каждый звук, отчетливо различал металлический скрип оттачиваемой косы в звучном скрикании и вдруг впереди себя увидел темный силуэт человека, прыгавшего так же, как он. Это был Гриша. Весь жар, все упоение сразу исчезли у Севки. Глухарь пел в Гришиной стороне, и, хотя Севке по жребию принадлежал первый выстрел, он считал нужным уступить. Бесшумно, под песни, теми же большими прыжками, он стал удаляться в свою сторону и остановился шагах в восьмидесяти.

Глухарь продолжал петь. Как ни вслушивался Севка, он все же не мог разобрать и тени намека на то, что там, в темноте, при каждом скрикании охотник делает свои прыжки, шаг за шагом приближая неминуемую смерть к влюбленному, все позабывшему певцу. «Молодец Гришка! Хорошо подскакивает». А песни сменялись песнями! Все еще спало. Лес молчал, словно выжидая, чем это окончится. Вдруг весь остров дрогнул от громового удара, молния выстрела осветила ветви. Шарахнулось в вершинах эхо, и что-то большое, тяжелое, беспорядочно-торопливо хлопая крыльями и ломая ветви, грузно повалилось на землю. Оборвалась песня... Послышался короткий шорох шагов и затих...

Сердце билось так, словно хотело вырваться из груди, и дымящееся ружье лихорадочно прыгало в руках, когда Гриша, не чуя под собою ног, подбежал к упавшему глухарю. Тот лежал в куче опавших ветвей, вздрагивая, все тише и тише встрахивая крыльями. Певун был очень тяжелый; мальчику он показался не менее полупуда (по взвешиванию дома птица вытянула свыше пяти килограммов). Гриша приподнял глухаря, ухватил за шею. В густых перьях пальцы его совсем утонули. Он сразу как-то сжался от жалости, когда почувствовал теплоту большой сильной птицы, судорожно вздрагивавшей в агонии. Озябшая рука мальчика оторвалась от ледяных стволов ружья и быстро согрелась, впитывая потоки этого живительного тепла. А источник его уже иссякал — жизнь покинула крепкое, теперь бессильно повисшее, глухариное тело. И это охота, о которой они столько мечтали! Исподтишка подскакал на десяток шагов к осторожной, чуткой птице, все позабывшей в любовном волнении, горячо изливавшимся в этих неказистых песнях. Выстрелил, когда глухарь по-



вернулся самым слабым «убойным» местом и скиркал в полном упоении. Он убил его в самые светлые минуты глухариной жизни! «Так просто, нехитро и скверно!» Гриша совсем разочаровался в охоте на току — его охватило запоздалое чувство раскаяния. И так всегда! Хуже всего было то, что он, наверное, застрелит второго, если услышит! Точно стреляет не он, а кто-то другой, завладевший его ружьем, его глазами, его руками! Он бережно уложил птицу в мешок, боясь помять хотя бы одно перышко, и со словами: «С меня довольно» сел на пенек\*. Сосны качались и пели свою вековую песню...

Два глухаря с шумом сорвались один за другим в севкиной стороне и сели где-то далеко. Он невзначай спугнул их, прокрадываясь лесом. Эти молодые птицы еще не начали петь и сидели молча.

Как будто начинало светлеть. Трубачи-журавли вдруг протрубили рассвет, заунывно, протяжно и долго чередовались их голоса с откликами леса. Редела темнота, резче рисовались силуэты деревьев... Вальдшнеп зацикал вдали и невидимкой протянул над островом. «Утренняя тяга» — Гриша знал о ней только по книгам. Вот он вздрогнул от неожиданности: близко и грубо заклохотала глухарка, вторая отозвалась далеко в стороне. Они просили новых песен от глухаря, а он уже окоченел и никогда не разбудит своим шелканьем настроенной тишины этого токовища.

### XIII

#### ЗАРЯ НАД БОЛОТАМИ. ВТОРОЙ ГЛУХАРЬ

Тем временем Севка осторожно продвигался все дальше и дальше. В двух местах, заметив его, испуганно квохтали глухарки, слетел встревоженный вальдшнеп. Потом бекас затоковал над лесом, и только, когда стало ясно, что победа за народившимся днем, когда мутная заря занялась над болотами, только тогда он снова услышал дрожью тела отозвавшееся шелканье певуна-глухаря. Снова безумие овладело мальчиком, снова в душе что-то запело могуче и волнующе-радостно. Севка летел вдоль болота, жадно хватаясь за каждое скирканье. О, он теперь в совершенстве знал этот лесной танец и минутами в радужном, ликующем бреду ему казалось, что в руках у него не ружье, а упругий лук, за спиной не мешок, а колчан со звонкими стрелами. И сам он — родившийся в лесах, убаюканный елями, одетый в меха и прокопченные кожи стрелок из древнего бродячего племени, а вовсе не Севка и не гимназист Н-ской первой гимназии. Под песни он обегал упавшие деревья, под песни обходил открытые поляны. Казалось, весь мир со всеми его красотами сосредоточился сейчас в непрерывном треске и скрипе глухаря. Севка даже не

слышал, как из царапины, пересекавшей всю щеку, сочилась, подсыхая, кровь.

Песня за песней — прыжки за прыжками! Все ближе и ближе. Справа слышалось менее смелое, более слабое пощелкивание второго глухаря. «Вот задача! К которому идти? Лучше к левому: и ближе, и чаще играет!» Жесткая ошибка! Он убедился в этом через двадцать минут, но уже было слишком поздно. Севка пересек оставшуюся часть острова; дальше начиналась вода по моховому болоту. На каждой остановке ноги его медленно засасывала топь. Перед тем, как подскакивать, он с трудом вытаскивал из зыбуна свои огромные сапоги. Потом вода стала глубже, идти еще труднее, он промок, измучился и все-таки спугнул глухаря, певшего в группе сосен на маленьком острове! Все вышло неожиданно и просто. Сначала глухарка, сидевшая на маленькой сосенке, заметила охотника по всплескам воды. «Ко-ко-ко-ко», — пронеслось над болотом. Глухарь продолжал петь, не внимая предостережению. Снова проквохтала глухарка и с шумом полетела на остров. «Ах ты, черт!» — вырвалось у Севки. А глухарь все пел и пел, но вдруг, когда мальчик совсем этого не ожидал, певец оборвал «игру».

В наступившей тишине отчетливо бултыхнул сапог подскакивавшего Севки. Так он попал в ловушку, а глухарь надолго замолк. Мальчик, как истукан, застыл в самой невообразимой позе. Его левая нога медленно утопала, погружаясь в бурю жижу торфяного болота, скрытую под тонким, мягким слоем мха. Вот она увязла по щиколотку... до половины голени... почти до колена... Глухарь словно издевался. «Тэк», — как бы вопросительно шелкал он и долго-долго прислушивался. «Тэк», — и снова молчание... «Тэ-ке, тэ-ке»... Руки, ноги, спина ныли от неподвижности и напряжения. «Вот запоет... вот запоет», — думалось Севке, когда глухарь учащал шелканье. Мальчик смотрел в воду, чтобы не испугать птицы блеском глаз. Стоя в тридцати шагах от сосен, он мог бы теперь увидеть глухаря, который вытягивал длинную темную шею из-за ветвей, скрывавших его до сих пор. «Тэ-ке... тэ-ке», — все реже, короче и нерешительнее пощелкивал глухарь и, загремев крыльями, ринулся в ту сторону, куда полетела глухарка. Севка дернул увязнувшие ноги, неуклюже повернулся, упустил нужный момент и выстрелил, когда уже было поздно. Глухарь без взмаха крыльев проплыл над камышами, березками и плавно летел к темным елям острова, провожаемый взорами Севки, полными и восхищения, и отчаяния, и злости. Но что это? Картина вдруг переменилась (лесная охота полна неожиданностями!): глухарь, нелепо свернувшись, сунулся вниз, и голубое облачко дыма поднялось ему навстречу от земли из-за еловых лап. От изумления Севка даже не расслышал выстрела, и только раскаты эха достигли его сознания. Гриша уже копошился у болота, доставая упавшую птицу.

Совсем рассвело. Большой улит с песнями летал над трясинной. Маленький длинноносый бекас неугомонно «блеял» и дребез-

жал над островом, носясь взад и вперед, взад и вперед, то ныряя вниз, то подымаясь кверху. Он тоже токовал, и его маленькое сердечко было полно радости весны и бодрости при виде тихой, золотистой зари. Всюду пели дрозды.

Севка, поникший, усталый, вспенивая сапогами воду, тащился к острову. Он так и не видел, как токовали его глухари, и не увидит — даже последний, игравший справа, уже полетел в сопровождении подруги к пустынному, спокойному клюквеннику.

«На, вот, бери своего красавца!» — улыбаясь, говорил забрызганный грязью Гриша и кровавыми руками протягивал поднятого из воды глухаря. Зеленоватые перья на широкой груди птицы своим сильным металлическим блеском напоминали крепкие латы; большой беловатый клюв был по краю измазан сосновой смолой. Севка бережно принял намокшую, но еще теплую прекрасную птицу. Сложные чувства, в которых он сам не мог бы дать отчета, волновали его в эту минуту. «Но, как поют-то! А? Как поют! — восторженно повторял он. — Никогда бы не поверил, что этаким скрип может волновать и захватывать!» Гриша страшно возмутил своего друга, заявив, что ожидал большего от этой охоты. После длительного спора, уже покинув «глухаринный остров», они порешили на том, что Гришу охладил первый выстрел, давшийся без неудач и тревожных волнений.

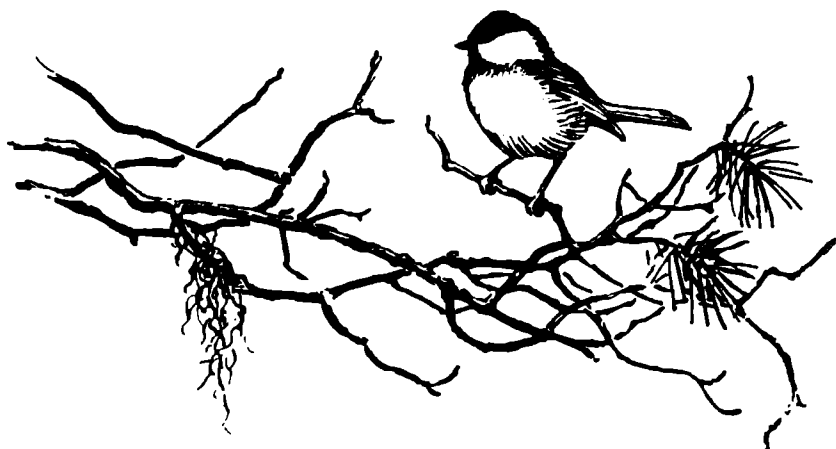
## XIV

### ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

В дорогу и к дому! Оба измучились, оба были голодны, оба приберегали остаток сил на много километров тяжелого пути. Они торопливо тронулись, но долго оглядывались туда, где за темным узором ветвей скрылась их уютная зимница, извилистый брод среди камышей, их зеленый шалаш у вывороченной с корнем сосны, весь «глухаринный остров» с его волнующими незабываемыми переживаниями. Ведь эти места стали совсем своими, почти обжитыми, по-особому милыми. Как жалко было от них оторваться!

Солнце глянуло из-за вершин. На небе ни следа облаков. День обещал быть ясным, веселым. Оба с грустью думали, что тихие зори и теплые дни будут чередой сменяться теперь над лесом, а они засядут за парту над задачами и латынью далеко отсюда среди каменных стен города. Не для них огласятся тока задорным бормотанием тетеревов, нежно закукуют кукушки, будут греметь зяблики, зеленой дымкой одеваться березы и расцветать медуница, покачивая голубыми головками.

Олень болото, разлившееся после дождей, как и следовало ожидать, снова доставило ребятам немало хлопот. Севке пришлось трижды пересекать его спокойную гладь и снова изобразить верблюда, оседланного Гришей. Они насвистывали марш и углуб-



Гаичка

лялись под сень бора, бросив прощальный взгляд на пустынную ширь болота, через которую только что закончили «блестящую» переправу. Снова сосняки сменялись ельниками, ельники — вересковыми пустошами, пустоши — низинами, и два исхудавших голодных путника отмеривали километр за километром по тропинкам безлюдной дороги.

Леса отогревались, оживали, нежились на солнце. Упруго разгибались и тянулись к свету ветви кустарников — их долгую-долгую зиму крепко прижимало к земле холодное одеяло снега. Казалось, гибкие ветви сладко потягиваются, расправляя онемевшие от неподвижности члены. Опять в траве засновали ящерицы, проснулись бабочки, забегали жужелицы. Зашуршала подсохшая прошлогодняя листва, приподнимаемая ростками ранних цветов. Леса оживали, переливчатым птичьим хором провожали уходивших друзей. Сколько песен, и как сладко звучали они! Но тоскливыми нотками, грустью прощания откликались радостные трели в сердцах мальчиков.

Спросите ребят, что было в этом чувстве от детской безотчетной любви к природе, что от жгучего желанья увидеть, узнать, исследовать, которое с годами не исчезает, а только ширится и растет? Они и сами тогда не смогли бы ответить. Но через много лет, когда оба стали серьезными учеными, они считали школу ранних своих походов самым ценным и увлекательным курсом, который им удалось пройти. В этой школе было все, чего не доставало в гимназии.

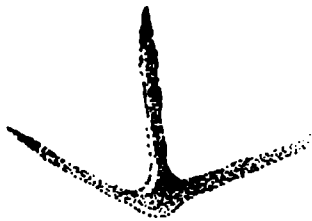
Севка шел впереди; его «сапоги-скороходы» вышагивали уверенно и широко, хотя левая нога прихрамывала. Лосиный рог с пятью отростками покачивался за его спиной, а к груди прильнул глухарь, словно примирившись к человеку, которого так боялся при жизни. Сзади тащился Гриша. Он никак не мог сосре-



Молодые тетерки

доточиться на ходьбе: то у дороги находил шкурку ежа, съеденного лисицей, то набирал в карманы узорные рыжеватые листья папоротников, пахучие ветки багульника. Он забегал вправо и влево от дороги, отставал все дальше и дальше от Севки, пока громкий окрик не заставлял его пускаться бегом.

Впрочем, воодушевления наших путников хватило ненадолго. Истощенные недоеданием, они тащились довольно вяло уже тогда,



Следы кулика-черныша

на клюквеннике, жадно поедая кислые ягоды, сильно щипавшие рот. Клюква не насытила их, а только раздражила голод и несколько утолила жажду.



След хорька

шагал упрямо, как автомат, оставив Севку далеко позади. Как тяжелы были ружья, глухари и этот несносный рог! Скорее бы речка. Солнце пекло, жара совсем разморила ребят. Леса уже не сменяли друг друга; нет, они тихо, медленно ползли мимо, были скучны и однообразны...



След норки

когда заметили тетерок, щипавших сережки на молодых березах. Оба едва брели, Севка волочил ноги, прихрамывая все сильнее и сильнее, когда показалась окраина знакомого «рябчиного болота». Обоим, по выражению Севки, «сильно подвело живот», и неудивительно, что не менее часа они «паслись» сорвалась с ягодника и скрылась в чаще леса. На этот раз ребята не стали повторять свой опыт, а тронулись в путь, чтобы поскорее добраться до речки, где наметили сделать первый привал.

Дорога казалась бесконечной. Севка стонал, прихрамывая все сильнее и сильнее, проклиная погреб, испортивший ему ногу. Гриша понемногу перестал бегать в стороны от дороги и, поникнув головой,

Вода неожиданно и весело блеснула из-за деревьев. Друзья предполагали, что издали услышат шум потока, но Боровая не предупредила их на этот раз. Она уже снесла и подарила Волге все избытки снежной влаги, посветлела, сменила бурный рокот на нежное журчание. Мост, покрытый песком и кучами гнилого листа, уже виднелся на небольшой глубине под поверхностью воды. Обсыхающие песчаные берега были щедро разрисованы следами птиц и зверьков. У Гриши глаза разбежались при виде этих узоров, и даже Севка повеселел и ожил, заслышав ласковый, баюкающий говор воды. Скоро дым костра потянулся с поляны у брошенного шалаша охотника.

Последняя горсточка ишена металась по котелку, тщетно пытаясь заполнить белую муть и сделать питательной воду, неистово хлопотавшую над огнем. Севка сидел у костра, уныло соображая, что вряд ли им суждено сегодня насытиться. Гриша сбросил мешок, ружье и, отдохнув немного, отправился рисовать следы. Здесь было много давно знакомых отпечатков. Вот тетерев купался в сухом песке кротовины и бродил, собирая камешки, там бегал по

Норка



грязи кулик-черныш, спустилась к речке водяная крыса, но... «Вот это что-то странное...» — Гриша почти уткнулся носом в землю, изучая отметины, имевшие сходство со следом хорька, но отличающиеся большей округлостью. Поблизости не было хороших отпечатков лапок «незнакомца» — мальчику пришлось долго идти вдоль речки, прежде чем он встретил превосходный свежий след. Гриша бросил взгляд на только что оконченный рисунок, как слабый шорох привлек его внимание. Длинный, низкий на ногах рыже-бурый зверек остановился у воды шагах в двадцати от мальчика и с любопытством его осматривал. Маленький хищник вытягивал длинную шею, во все стороны вертел подвижной мордочкой. Ярко белело пятно его губ. Потом зверек бешумно скользнул в воду и быстро, темной змеей, переплыл речку. «Норка», — невольно вскрикнул Гриша и кинулся за ружьем. Он почему-то всегда считал этого хищника за чрезвычайную редкость и не смел даже мечтать о встрече с ним.

У костра рядом с Севкой сидел охотник, тот самый, который повстречался им при первой переправе через Боровую. Гриша даже не поздоровался с ним, а схватив ружье, пустился через мост за речку. Все было пусто и тихо там, куда переплыла норка. Только у кочек, где зверек вышел на берег, виднелся влажный след и отпечатки лапок, такие же, как зарисованные Гришей. По возвращении его ожидала новая неожиданность: Севка сидел около пня и свирепо скоблил чешую с щуки свыше килограмма весом. «Откуда это?» — «Да вот знакомый нас с тобой угощает!» Тут только Гриша заметил, что из сырого холщевого мешка, привязанного к поясу охотника, торчат пестрые хвосты щук. Ружье и щуки — это как-то не вязалось в представлениях ребят. Охотник, по его словам, с раннего утра бродил вдоль берега и стрелял рыб, выходявших к траве и на мелководье для нереста. Икромет уже близился к концу — добыча стрелка оказалась небольшой. Для ребят было новостью, что в хорошее утро, при удаче, этим способом можно добыть более пуда отборных щук. Уха вышла на славу. Все ели и похваливали. Рыбак, он же охотник, за неимением ложки черпал варево гришиной кружкой. Повеселевшие ребята с шутками вспоминали его улетевших селезней и охотничью неудачу.

Солнце далеко ушло по дневному пути, воздух посвежел; нужно было собираться в дорогу. Крестьянин первым отправился к дому, еще раз повторив мальчикам приглашение приходить на будущую весну. «Придем, придем! Небось, как птица полетит, так, гляди, и мы нагрянем», — кричал в ответ Севка, перебираясь через речку.

Двухчасовой отдых и щучья уха заметно подкрепили ребят. Правда, ноги их ныли и усталость ломила все тело, но уже не было той слабости, при которой вялые, стоившие больших усилий шаги были так коротки и неверны. Ребята шли бодро и подгоняли друг друга воспоминаниями о том, какой душистый хлеб у Архиповых, какое вкусное густое молоко.



Уже в сумерках они вошли в деревню, как в свой дом, поднялись по знакомому скрипящему крыльцу, долго потешались над хозяевами, никогда не видевшими глухарей и рога сохатого. Оба дивились, что аппетит, во время пути рисовавшийся безграничным, слишком быстро нашел успокоение.

Они проспали, и на следующий день вышли около полудня. Снова в Рожновке на Гришу напали собаки, потом женщина, приоткрыв оконце, внимательно осмотрела ребят и скороговоркой произнесла не то в избу, не то им вслед: «С ружьем лесовать<sup>1</sup> — прибытку не видать! Умная-то голова всегда ногам покою не дает». Должно быть, ребята, действительно, еще не «размялись» и шагали не слишком бойко. Севка хотел было буркнуть что-то сердитое, но быстро нашелся и ответил тоже скороговоркой: «Тетенька, тебе курочки прибыток, а нам — петушки!» — и потряс глухарем, распахнув его широченные крылья. Гриша молча прибавил шаг.

В Митине опять за друзьями гнались ватагой ребяташки, звонко, на разные лады голосили — «охотники, охотники...». Они спорили, что за «корягу» тащит «большой», т. е. Севка. Глухарь интересовал их не менее лосиного рога, они считали его за «орла». Молодой парень, чинивший деревянную борону у крайней избы деревни, бросил работу, ткнул топор в полено и крикнул задорно, глядя куда-то в поле: «Было у отца два сына, один-то умный, а другой — охотник...» Уж сколько раз Севке за его короткий охотничий век приходилось слышать эту убогую остроу! Давно бы пора притерпеться, перестать ее замечать. А он все еще злился, больше всего на себя самого, что не может оставаться равнодушным. «Вот, замечал я, ходишь на лыжах — слова тебе никто не скажет. А возьми с лыжами ружье — каждый старается подковырнуть. Завидно им на охотников что ли?» — спросил он Гришу. В ответ только скворец на большой ветле за гумном свистнул протяжно, как пастух, потом пришелкнул, закричал уткой и весело затряс крылышками.

Теплым душистым вечером подходили они к Волге, уже слышали свистки пароходов, уже видели блеск горящих на закате городских окон и дым парохода-парома, подымавшийся прямо из-за крыш села. Река разлилась, паром приставал вблизи церкви. Солнце опускалось за синюю тучу, мягкие тени легли от межевых столбов; жаворонки спешили допеть прощальные, вечерние песни. Как сговорившись, мальчики остановились и оглянулись на приданный путь. За зелеными коврами озимей мягко поблескивала свежевспаханная земля, желтело жниво, уползая в низины.

А дальше, над красноватой и рыжей чащей кустарников, сосны, взявшись за руки, убегали вереницей к далекой синей ленте лесов. Сине-туманная, мгlistая лента... Она осталась все такой

---

<sup>1</sup> За Волгой вместо слов «охота», «охотиться» еще в большом ходу равнозначные старинные слова «лесня», «лесовать». Они указывают, что именно лес давал прежде основные продукты охотничьего промысла.

же заманчивой, полной загадок; она звала вернуться! Глаза мальчиков сделались влажными, они отвернулись друг от друга; что-то подступало к горлу...

Золотистые, розовые, пылающие облака с длинными взмахами крыльев, с легкими перьями, хохлами и хвостами целой стаей поднялись над лесом, загорелись ликующими красками жар-птиц. Потом разделились на десятки мелких огненных птичек, разлетелись в стороны и медленно потухли. Солнце, солнце! Оно вдохнуло жизнь даже в клочья тумана и пляской зоревых птиц превратило глубину неба в сказочное большое токовище. Закат горел, его радужные краски тоже пели весне, как все живое в эти лучшие дни лучшего времени года. Понурился, ребята повернулись и медленно пошли к перевозу. «Э, не унывай, Гришуха! Уж и покажем мы «им» будущей весной! — Севка хлопнул по плечу молчаливого товарища. — Соберемся пораньше, продовольствия наберем побольше, валенки возьмем, полушубки... и заживем!»

Да, хорошо бы вернуться! Еще раз увидеть брод, свой зеленый шалаш и с песней глухаря испить живой воды, весеннего хмельного зелья!

Пароход, в черных клубках дыма, дал последний свисток. Плыли потемневшие луга, в ночь убегала река. На корме чей-то тихий голос затянул песню. Свежий трепет жизни, легкая печаль напева были сейчас как-то особенно близки — они проникли в самые тайники души. Севка с Гришей сидели, затаив дыхание, тесно прижавшись друг к другу.

Правый горный берег быстро приближался. Уже башни и стены кремля стали видны в темном небе над венцом горы, перетянутой тонким пояском огоньков. Вот и отчий дом — старинный город, верный страж над широкими раздольями Волги. А за ним, во все стороны, в полумраке вешней ночи русские бескрайние поля, поля и деревни с томным зовом гармоники, с песнями девушек у околицы и над десятками неисхоженных верст свежий шелест-ропот вековых лесов, переполненных всяческой жизнью.

Любимый край, милая природа, милее их нет во всем свете!



# Во времена звероловства



Мы жили с ним в лесу, да в чистом поле,  
Травя волков, стреляя глухарей.  
В пятнадцать лет я был вполне воспитан,  
Как требовал отцовский идеал:  
Рука тверда, глаз верен, дух испытан,  
Но грамоту весьма нетвердо знал.  
И я таким остался до седин  
(Мне грамота потом далась, однако),  
Мой лучший друг — легавая собака,  
Да острый нож, да меткий карабин.

(Н. А. Некрасов\*)

«Давай лыжи», — рявкнул надо мной незнакомый голос, и в то же мгновение я ощутил увесистую зуботычину. Я съежился от смешанного чувства отчаяния, злости и решимости постоять за себя. «Проворонил, — мелькало в голове. — Переходил площадь, не осмотревшись, вот и попал...»

«Давай лыжи, тебе говорят». — И здоровенный рябой детина, головы на две выше меня — третьеклассника, дернул изо всей силы за веревку от лыж, которую я накрепко зажал в руках. На этот раз требование сопровождалось пинком ноги, обутой в большой, подшитый валенок. С трудом я устоял на скользком снегу, цепляясь за лыжную веревку. В ту же минуту над нами ударил большой колокол — в морозном воздухе поплыл низкий басовитый гул. Из церкви, близ которой происходила стычка, густо повалил народ. Я оглянулся вокруг, ища помощи. Через площадь спешили к дому, к воскресным пирогам, несколько старух, три шуп-лых барышни, румяный лавочник Ушаков, торговавший на соседнем углу, чиновник казенной палаты с длинной болезненной супругой и подрядчик Лапшин с кучей чад и домочадцев. Все смотрят на нас с любопытством, но нет никому дела до того, что у паперти избивают какого-то парнишку. Тем временем к рябому подбежали еще двое. Один вынул ножик — отрезать у лыж веревку; другой тянул их за ремни. Что оставалось делать? Я сунул руку в валенок, где всегда был наготове большой складной нож. Прихвастывая, я любил потом говорить, что «дал рябому в бок и пощупал у него ребра». На самом деле все обошлось неожиданно

просто. Стоило замахнутья, как трое нападавших опроретью бросились бежать, криками вызывая подкрепление. Правда, вид у меня был свирепый, а восьмикопеечный нож, из тех, что ворсменские кустари делали для деревенских пастухов, видимо, выглядел достаточно страшно. Недаром на его широком лезвии латинскими буквами с небольшой примесью русских была начертана «заграничная марка»:

Britva первый сорт  
Korolev v Vorсмъ\*

«Держи, держи его...» — слышались крики погони сзади и по сторонам, в переулках. Я мчался серединой дороги. Лыжи гревели и, догоняя, били меня по ногам. Впереди улицы Новой Стройки были тихи, пусты, одеты пышными белыми сугробами. Дымки рядами тянулись из труб двухэтажных деревянных домов, разнося запах поджаренного лука и другой стряпни. Вороны, нахохлившись, сидели на покосившихся заборах, ожидая очередной порции помоев (хозяйки освобождали свои ведра прямо перед крыльцом). Окраина города еще дремала в это воскресное утро, а я бежал по сонным ее улицам, вспотев, тревожно озираясь, с бьющимся сердцем, как заяц, по следу которого пущены гончие.

Пробраться в поле без стычки с вражескими заставами было делом очень хитрым. От моей улицы, протянувшейся по оврагу, за город — к полю и лесу, вели три пути. И, как в старых былинах, на любом из них ожидали одни неприятности.

Налево повернешь — попадешь в татарскую слободку. Там татарские ребята угостят камнями или досыта намнут бока. (В городе кому-то было выгодно сеять национальную рознь, стравливая русских и татар.) Прямо пойдешь — через овраги налазишься, попадешь на свалку мусора, а потом к городским бойням. Близ боен много воронов, сорок, летом бывают коршуны, на которых интересно иногда посмотреть. Но десятки бродячих собак, живущих около отбросов, окружают злобной, лающей стаей, будут прожовывать полкилометра, наскакивая сзади и с боков.

Направо повернешь — придется пробираться через Новую Стройку — из-за каждого угла жди нападения. Здесь что ни двор, то шайка головорезов. А потом упруешься в огороды, дальше выйдешь к полям орошения, залитым нечистотами, которые свозят сюда со всей верхней части города.

В зимнее время я предпочитал этот путь. Городом идти недалеко; быстро добежишь до околицы, а там, как станешь на лыжи, только тебя и видели. Тропинки на огородах, развалины кирпичных сараев, канавы, заросли бурьянов были знакомы мне лучше, чем узенький школьный двор. Правда, с полей орошения доносились удушливые запахи, но эта последняя преграда, завеса зловонных испарений, мало меня тревожила. За ближним оврагом открывалась белоснежная равнина полей, как широкие ворота, радушно распахнутые в чудесный мир мягких сугробов, звериных следов, пушистых птиц и запыленных кустарников.

Ходил я всегда напрямик, без дорог, стремясь не встретиться с людьми. В те годы не было и помину о кружках юных натуралистов. Я долго рос отщепенцем, без товарищей и тянулся в поле, как упрямый побег через изгородь запущенного сада. За время одиночных походов опыт научил сторониться незнакомых людей. Однажды встречный возчик, проезжая мимо, огрел кнутом по спине ни за что ни про что; деревенские ребята часто устраивали на меня облавы. Я стал издали обходить деревни, прятаться в оврагах, затаиваться в высоких хлебах. Зимой было спокойнее, чем летом. Лыжный спорт тогда был совсем не развит, и, кроме немногих охотников, за городом не было ни души. Тусклые снежные поля широкими увалами уходили вдаль к редким полоскам сидевших на холмах деревень, к синеватой гряде знакомого кузнечихинского леса. Издали поля казались совсем пустыми, пожалуй, даже скучными, но все же манили нетронутой синевой снега, по которому атласной лентой ложится желобок свежего лыжного следа. Эта пустыньность полей была обманчива; стоило внимательно приглядеться — и всюду оказывалась жизнь. То из бурьянов выскочит рыжегрудый русак, поставит уши торчком и долго катится полем, подымая снежную пыль. Пролетит, крадучись, ястреб-тетеревятник, стайка белых подорожников рассыплется по дороге.

Я ходил по следам куропаток, разгадывая, что они делают на озимях, часами следил за щеглятами, кормившимися на репейнике, знал, где отыскать чечеток, овсянок, синиц. Как-то посчастливилось увидеть лисицу и по следам найти то место, где она съела ежа, выкопав его из-под снега. Я видел, как пролетающий ворон долго играл куском старой кожаной подметки, бросая и подхватывая ее в воздухе, пока она не упала в снег. И мало-помалу меня увлекли эти поиски нового и интересного, погопя за наблюдениями, которые казались тогда целыми открытиями. Иной раз возвращался домой весь покрытый смерзшимся мокрым снегом, с горящим от ветра лицом и глазами, слипающимся от усталости. Восемь-десять часов непрерывного хода на лыжах и ни одного интересного штриха из жизни обитателей леса! Но неудачи не обескураживали. Через три-четыре дня снова можно было видеть парнишку в шапке-ушанке и ватной куртке лазающим по оврагам, что-то раскапывающим и завертывающим в бумажки. Был у меня небольшой холщевый мешок через плечо, как сума нищего. Проходя городом, я прятал его за пазуху, чтобы не подняли на смех. Какой только дряни не перебывало в этой сумке! Я клал туда дохлых мышей, найденных в поле, и коралловые ягоды шиповника, пахучие кусочки веток с почками, заячьи орешки, зеленые лишай и ржавые гвозди сломанных подков. Ничто не сохранилось из этих сокровищ! Но дневники, в которые я пристрастился записывать все, что удавалось тогда заметить, целы до сих пор. Они написаны неуклюжим детским почерком, но даже теперь я нахожу в них немало верных наблюдений и пользуюсь ими для научных работ.

Три старых крысиных капкана, случайно найденных при раскопках в чулане, сделали меня богаче любого из канадских трапперов. В тот день, когда эти ржавые вещицы грубоватой работы попали в холщевую сумку, началась моя тревожная эпоха звероловства. Ее сменил период ружейной охоты, когда я получил собственную шомпольную двухстволку. Много лет спустя работа натуралиста стала моей профессией. К ружью и ловушкам присоединились бинокли, шагомеры, термометры, лупы, коллекции, целая библиотека биологических книг, специальная подготовка, полученная в университете. Настали времена научных экспедиций и ученых трактатов, для которых оказался очень полезным весь мой опыт «бродяжничества по полям», начиная от ребячьих прогулок с драками у Новой Стройки.

В зимнее утро, когда рябой пытался отнять мои лыжи, я отправлялся к капканам за шесть километров от города. Капканов осталось только два — один украли при неудачном начале звероловства, о котором стоит рассказать.

Я слышал, что близ нашего города водятся хорьки и ласки, но даже отец, охотник, не мог указать, где искать этих зверьков. Однажды весной я нашел ссохшийся трупик раздавленной ласки на дороге у хутора. Ласка была в белом зимнем меху; из набитого землей рта сверкали острые оскаленные зубки. Рядом с дорогой тянулись канавы, скрытые бурьяном, дальше стояли скирды и росла капуста, окруженная проволочной изгородью. Я вспомнил об этом месте, получив капканы, и решил, что для начала неплохо изловить парочку беленьких ласок.

Первый снег, выпавший в начале ноября, наполнил сердце зверолова радужными охотничьими мечтами. Пришлось убеждать от латыни; под вечер я был на канавах. По дну их, через бурьяны, тянулись целые тропы следов. Следы небольшие, но для ласки пожалуй велики, подумал я. Ну, если попадет хорек, это тоже будет неплохо. Кое-где на снегу краснели мелкие пятна. Я догадывался, что это кожица ягод паслена, погрызенных мышами, но так хотелось верить, что здесь разбрызгана кровь хорьковой добычи!

К спусковым тарелочкам капканов привязал по кусочку мяса, прикрыл ловушки мелкими листьями. В тот вечер заснуть было трудно, я долго ворочался в постели. Мечты невольно уносились к канавам, где шумят при порывах ветра темные, сырые бурьяны. Мне чудился шелест прыжков по мокрому снегу и мелькание гибкого тела хорька. Я слышал звонкий лязг капкана, злое ворчание пойманного зверька. Ночью снились тревожные сны; в гимназии весь день сидел как на углях. Пришлось опять сбежать от урока, чтобы засветло попасть к хутору.

Снег таял, в канавах появилась вода. Два капкана были затоплены и, конечно, ничего не поймали. В третьем, упав на спину и оскалив желтые резцы, лежала огромная мертвая крыса. Самая обыкновенная и препротивная крыса-пасюк! Она попалась передней лапой, вымокла, вертясь в снегу, и замерзла. Закусив губу от горькой обиды, хмурый траппер в гимназической шинели

сердито смотрел на красные крысиные лапки, на длинный посиневший хвост, покрытый боевыми шрамами и мелкой поперечной насечкой.

«Вот тебе и парочка ласок! Гибкое тело хорька... Чего захотел. В крысиный капкан крыса тебе и попала. Не стоило далеко ходить да уроки прогуливать. На дворе, в сарае можно десять крыс поймать. И покрупнее». Уныло месил я грязь дороги, со злостью швырял камни в нападавших собак. В сумерки это дело верное; камня не видно, собака не успевает увернуться. Как кинешь — так и заскулит.

Недели три капканы пролежали дома. Потом выпал глубокий снег, и каждый день перепадали пороши. Километрах в четырех от города, в болотистой долине, я нашел следы неизвестного зверька. Он был небольшой, обе лапки ставил тесно рядом, делал двойные легкие отпечатки. Крупные прыжки тянулись извилистой линией через всю долину и молодой, порубленный лес. Тут рыскал проворный хищный зверек; на этот раз я был уверен, что хорь. Ходить в долину — далеко, я попадал туда только в свободные дни; целые недели капканы оставались без присмотра. В одну из оттепелей обтаявший капкан стал виден с дороги; его уташили. Я перенес оставшуюся пару вниз по долине, к узкой речке, петлявшей по лугам среди зарослей ивняков и небольших болотц. Следов здесь было не меньше, чем в долине. Они тянулись вдоль речки, скрывались под лед, нависший у берегов, и часто заводили на незамерзавшие кочковатые болотца. Родниковая вода просачивалась под лыжами, снег налипал и мешал ходить. Я скоро научился по траве угадывать, какая под снегом почва, узнал, где много мышиных нор и где зимуют лягушки. Следы зверьков приводили на эти богатые поживой места.

Капканы стояли в кустах, для приманки над ними были повешены мыши. За первые три недели ловли попалась одна сорока. Бедная птица несколько дней пролежала в капкане; к моему приходу от нее остались только ноги. Радужные перья хвоста тут и там торчали из-под снега. Хищники съели сороку; следы их замело снегом.

Наступили зимние каникулы, на которые у меня было много надежд. До речки и обратно — километров двенадцать; я уже сделал по этому пути добрых полторы сотни, один лыжный ремень перетер, а звероловство не давалось. Я



След горностая

часто переносил капканы с места на место, стараясь поставить их там, где больше свежих следов зверька. Но они редко два дня подряд встречались на одном месте. Зверек то рыскал в бурьянах и тростниках у речки, то уходил в поля. Через день, смотришь, наделает тропок, напутает петель по оврагу, оставит много глубоких ходов под сугробы, накрывшие можжевельник и чахлые осинки. А там опять появится у речки, и тонкая стежка следа протянется под мостом и вдоль берегов, над которыми висят мерзлые оранжевые ягоды паслена. Перенесу капканы в овраг — ночью разыграется ветер и завалит их снегом на полметра. Поставлю у речки — зверек уйдет в поля. Все же раз, в ивняке, он подходил к моей приманке. Его когти оставили след прямо над сторожком капкана. Но снег был плотный, укатанный ветром и выдержал тяжесть зверька. Сторожок не опустился, зверек ушел, видимо, не подозревая, как близко была опасность. Приманка уцелела — об мерзлую мышь, должно быть, не стоило ломать зубы. Через день я застал тут синицу, которая, держась за веревочку и раскачиваясь, долбила мышиную спину. Ветер катил по снегу темные клочки мышинной шерсти. Птичка сердито затрещала: ей жаль было бросить свою находку.

В конце декабря начались крепкие морозы; бегать через поле при ветре стало почти невыносимо. Закрыв рукавицей лицо, катишься бывало под гору, глотаешь колючий воздух, а по багровым щекам сбегают невольные слезы. Из носу течет, руки немеют; шапка, ресницы и брови покрываются инеем. А лыжи скрипят, словно жалуюсь на стужу, и повизгивает плотный зернистый снег.

Иногда ветер тянул низом от далекого заиндевелого леса и все поле курилось поземкой. Она скользила над снежными застругами, как белые струи и легкие потоки. Струи переливались, катились через лыжи, одевали снежной пылью валенки. Казалось бежишь, как во сне, по дну мелкой реки, а она льется по ногам — бесшумная, прозрачная, почти неосязаемая. Даже голова начинала кружиться от непрерывного движения этого стелющегося по полю снежного потока — поземки. В тихую погоду было легче. Иней одевал легким кружевом все бурьяны и кусты, поле становилось совсем белым, совсем просторным. Всходило багровое солнце, и гребешки заструг искрились, сверкали чудесным розовым светом. Синяя тень, размахивая руками, бежала сбоку на востроносых лыжах; по освещенным склонам оврагов жемчужным узором загорались следы русаков. Но ни русачьи следы, ни стаи чечеток, зябко копошившихся на лебедь, не привлекали в эти дни. Каникулы подходили к концу; скоро опять придется сидеть в гимназии, надолго распрощаться с беганьем по полям.

Каждое утро я спешил к капканам, издали всматриваясь, нет ли намека на добычу, снова и снова убеждался в неудаче. Под конец я привык и уже без волнения подходил к заветным местам, уверенный, что все усилия пропадут даром. Но какое-то упрямство все еще подталкивало меня, где-то в глубине души



таилась слабая надежда — лента лыжного следа вновь пересекала поле, добежала до речки и поворачивала назад.

Под новый год ударил мороз градусов в тридцать, на следующий день тоже. В поле меня не пустили, лыжи заперли на замок. Я выбрался только четвертого января. Мороз несколько смяг, но было еще так холодно, что на бегу спирало дыхание. В поле стояла мертвая тишина; издали, с казанского тракта, слабо доносились скрипы обозов. Иней выступил на поверхности наста, она потеряла блеск, стала матовой, словно осыпанная мелким лебяжьим пухом.

Хлопая рукавицами, хватаясь то за нос, то за щеки, я добежал до речки. Теперь она тянулась еле заметным желобком, вровень с берегами засыпанная снегом. Вот мостик, где летом я видел водяную крысу, а там за поворотом, в кустах поставлен мой первый капкан. Какая-то ямка видна на снегу под кустом, а приманка исчезла. Мне сразу становится жарко от одной мысли об удаче. Несусь вперед, ломаю лыжами хрупкие от мороза верхушки ивняка, а дух захватывает от волнения. В снежной яме, сидя над капканом, прикорнул и умер белый большой горноста́й! Он окаменел на морозе, как выточенный из мрамора. Капкан обжигает мне руки, ржавые челюсти его с трудом раскрываются, медленно выпуская добычу. Милый, пушистый, стройненький зверь! Я готов целовать его бурый мерзлый нос, узкие, покрытые ледком глазки! Я думаю, ни у кого в руках не было такого сокровища. В нем все кажется мне замечательным: короткие сильные лапки с прозрачными острыми коготками, длинный нежно-желтый у корня хвост с черной как смоль кисточкой на конце, острая мордочка, широкие ушки, прижатые к голове. А мех такой белый, такой пушистый... Я дую на него и пар клубится над нами, как дым от выстрела.

Так, значит, это был не хорек, и я всю зиму гонялся за белым зверьком вместо черного! Бережно, как живого голубя, прячу его за пазуху; дорога домой кажется мне совсем короткой. «Мы со зверем, мы со зверем», — поскрипывают лыжи. Широким шагом бежит по снегу долговязая тень. Она, приплясывая, трясет ушами малахая и размахивает одной рукой; другая рука прижимает добычу к самому сердцу, полному торжества и восторга. Первым оттаивает у горноста́я хвост, потом лапки; когда я дошел до города, весь зверек стал мягким и гибким. Свернулся клубочком, словно заснул, пригревшись за пазухой, — мой первый, самый дорогой горноста́й.

С неделю зверек провисел в сених, на удивление школьным товарищам и знакомым. Потом отец продал его в меховую лавку. «Вот ты и заработал два с полтиной, — сказал он, передавая мне деньги. — Капканов что ли себе купишь? Или за порохом опять побежишь?» Деньги были мне кстати, но было до боли жалко своей первой добычи — милого пушистого зверька. Где-то теперь его белая шубка, думалось мне. Кто будет носить ее, холить и гладить?

На плотном снегу у речки не было теперь ни одного следка. Ветер катил из леса мертвые дубовые листья, сухо шелестела по тростнику поземка.

На следующую осень я быстро постиг несложное искусство капканной охоты на хомяков. В тот год их нор было много на яровых полях; забравшись на чердак, я часто обдираю рыжепегие, жирные хомячьи шкурки. Мне казалось странным, что такую добротную пушнину никто не покупает и не использует<sup>1</sup>. Помню, в дождливый день в старой межевой яме попался один зверек, очень похожий на хомяка, но бархатно-черной окраски. Только краешки ушей и «перчатки» на лапках были у него белые.

Крестьянин, возивший снопы с соседней полосы, увидел мою добычу и назвал зверька «земляной медведкой» (обыкновенного хомяка он звал «карбышем»). Но через год в губернском музее я увидел чучело с этикеткой: «Меланист, или черный выродок обыкновенного хомяка (*Cricetus cricetus*). Черные выродки (абerrации) среди наших хомяков нередки». Выродок, абerrация, меланист, земляная медведка — все это спуталось в моей голове, но ясно было одно: черный зверек в белых перчатках — настоящий хомяк. Недаром и запах от него при снятии шкурки был такой же приторный, как от самого захудалого «карбыша».

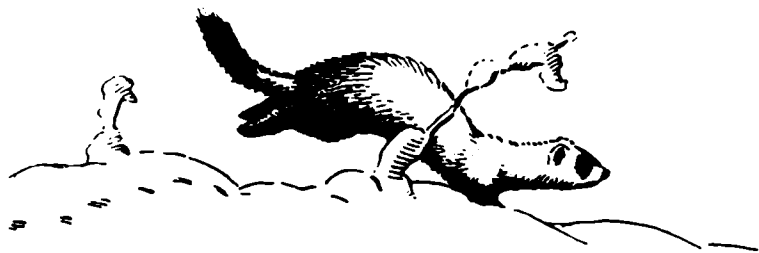
В ту же осень случилась одна звероловная история, которая могла для меня окончиться плохо. В густом орешнике, у старой лисьей норы я нашел свежие следы, более крупные, чем у горноста. Из темного лаза норы несло сыростью и острым запахом зверя, на рыхлой глине лежала обглоданная лапа хомяка и пара разорванных лягушек. Бережно насторожил я капканы и утром на другой день, в тумане и морозящем дожде, прибрел через вязкие пашни и жнивы к темному, облетевшему орешнику. Низкие тучи, цепляясь за гребни холмов, ползли на северо-восток, откуда, кружась над полями, тянули одинокие зимняки<sup>2</sup>. Кусты не спеша роняли крупную прозрачную каплю; поля пахли размокшей польнью, свежей землей и холодком октября.

Темный, взъерошенный зверь, свернувшись клубочком, спал на капкане под ободранными и погрызенными кустами. Мелкие дождевые капельки посеребрили его шерсть, черную, как уголь, — хорек, измученный долгой борьбой, должно быть лежал неподвижно все утро. Он вскочил разом, словно развернутая пружина, забрякал железом капкана, застрекотал пронзительно и звонко, как сорока, рванулся к норе, начал рыть землю и, упав на спину, в бессильной ярости схватил зубами свою опухшую, пойманную лапу. Верткий, гибкий, упругий зверюга с бешенством крутился вокруг колышка. Шерсть его стояла дыбом, хвост был

---

<sup>1</sup> Только через 15 лет, уже при Советской власти, шкурки хомяков, кротов, сусликов и других мелких пушных зверьков начали закупать государственные организации и выдвлекать из них красивые меховые вещи.

<sup>2</sup> Зимняк — крупный северный канюк, хищник, родственник орлам. Гнездится в тундре и северной полосе лесов, в средней полосе проводит зиму, откуда произошло и его название.



Степной хорек

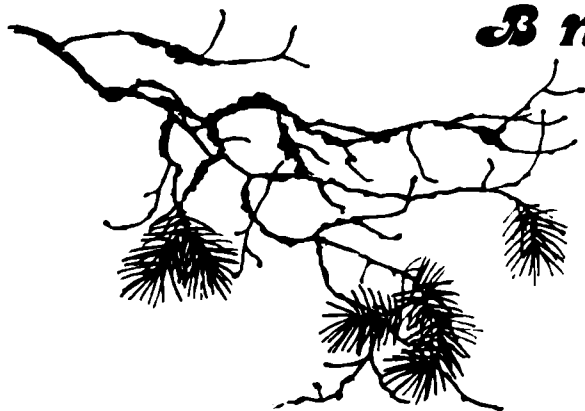
похож на черную ламповую щетку, маленькие косоватые глазки горели злым зеленоватым огоньком. Он казался то с кошку ростом, то с крупного хомяка, так растягивалось, сокращалось, свивалось и разворачивалось это мускулистое, стальное тело. Тяжелый удушливый запах, отдаленно похожий на светильный газ, знаменитый «аромат» напуганного хорька, заполнил неподвижный воздух овражка. Я вдыхал его жадно, как полководец дым сражения, и чувствовал себя настоящим звероловом! Белоснежный, мерзлый, как ледышка, горноста́й был трогателен и жалок; этот черный крутящийся бесенок казался и страшным и милым одновременно. Он уже не обращал внимания на капкан и рвался ко мне, готовый пустить в ход белые оскаленные зубы. Нижняя челюсть его дрожала от ярости. Я прыгал вокруг, не зная, с какой стороны подступиться: везде встречал меня острый взгляд глубоко запавших глазок и полураскрытая пасть. Спина и плечи мои были мокры, холодная вода стекала за воротник, я трясся от сырости и нервной дрожи. Меня то разбирал смех при виде фокусов, которые выкидывал неукротимый пленник, то жалость, и я уговаривал его не биться. Я сразу же решил живьем доставить хорька домой и со многими предосторожностями приступил к выполнению плана. Зверек шараялся от мешка, он лез мне на ноги или, опрокинувшись на спину, отбивался когтями. Потом случилось так, что морда его на одно мгновение мелькнула у моей руки. Из среднего пальца, разорванного до кости, на глину струйкой потекла кровь. Настоящий чертенок, на всю жизнь поставил мне метку! К вечеру палец распух, потом под мышкой появилась опухоль, а на утро я слег с температурой 40°. Дней восемь пролежал в жару, и темные тучи ползли надо мной, прижимая к подушке тяжелым хорьковым запахом. Охая, хлопотала мама. Несколько раз приходил врач. Он говорил: «Похоже на тиф, но как будто что-то другое». Много лет спустя медики установили, что чумоподобная болезнь — туляремия, которой часто болеют зайцы, водяные крысы и мыши, легко передается человеку.<sup>1</sup> В 1934 г. советские микро-

<sup>1</sup> Заболевание туляремией у человека может быть в разных формах, то более легких, то тяжелых. Иногда они похожи на ангину, на тиф, на бубонную чуму. Смертные случаи редки, но часто бывают тяжелые осложнения болезни.

биологи впервые нашли туляремию у хорька, а за двадцать с лишним лет до того я получил ее в легкой тифоподобной форме через укус своего бесноватого пленника.

С тех пор переловил я немало всяких зверьков. Золотистые колонки и солонгои попадались мне на Дальнем Востоке, бурые глянецвитые норки — на Волге, светлые степные хорьки — в Казахстане и Монголии. Но этих двух первых — белого и черного — я помню особенно хорошо.

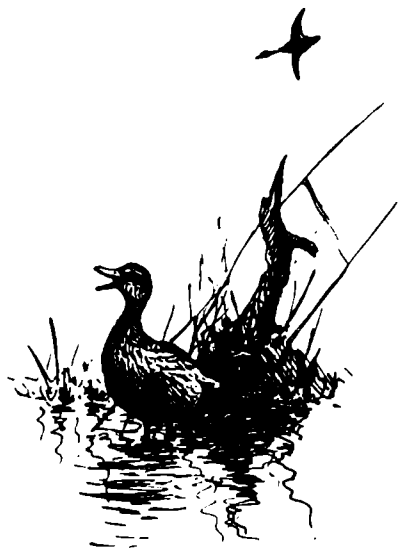




Я вышел из дома крупным решительным шагом, но, достигнув Сенной площади, замедлил ход. Беспокоила мысль, что Варфоломеич сразу узнает. «Помню, — скажет, — как ты позапрошлый год сюда бегал. Под видом «мака» пороху на пяточок покупал — из самодельных пистолетов стрелять. А теперь охотником заделался, дай ему утку! Очень, — скажет, — молод», — и прогонит с позором. Но записка, крепко зажатая в кулаке, все же придавала уверенность. На клочке бумаги твердым отцовским

Летит прямо к утке

Круговая, или подсадная, утка



почерком было написано: «Иван Варфоломеич, дай сыну одну утку на три-четыре».

У отца было много приятелей среди охотников нашей окраины города — Мишка-солдат, Мишка-газетчик, долговязый с могучим басом певец из хора Симагин, землемер Пестов и другие. Они встречались редко, по два-три раза в год, где-нибудь на утином перелете в Артемьевских лугах или зимой по пороше над теплым, только что упавшим в снег русаком. Но общая страсть к охоте скрепляла дружбу этих очень несходных людей на протяжении доброй четверти века.

Варфоломеич славился отличными круговыми утками и жил за два квартала от нас. В его тесной лавчонке была странная смесь товаров: сахар, веревки, свечи, сухая вобла, порох, капсюли, неограниченный запас лесок и отличных крючков для переметов. Продавать порох подросткам не полагалось, но под условным названием «мака» лавка Варфоломеича отпускала его маленькими порциями всем моим знакомым ребятам, конечно, по очень высокой цене. Самого хозяина редко видели за прилавком — он целыми месяцами пропадал на охоте. Торговала его жена. — невысокая, опухшая женщина с пискливым голосом. На ее вопрос: «Что тебе, паренек?» я молча протянул скомканную записку. Через десять минут в моей корзинке возилась и крикала утка. Ее провожал хор голосов всей варфоломеичевой стаи и потерявший голову франтоватый селезень. Он долго гнался за мной, шлепая оранжевыми лапами по лужам площади, потом вернулся к покинутым уткам собирать овес под ногами крестьянских лошадей, понуро стоявших у трактиров.

Отец всегда одобрял мои охотничьи затеи, не взирая на сердитые стычки с матерью, которая была против наших дальних поездок и походов в праздничные дни. Бывало, возвращаемся вечером, только скрипнем входной дверью, а она уже с площадки лестницы так и сыплет попреками: «В этукую погоду день-деньской по полю таскались... Ты смотри, как снег-то лепит! Да ведь мокрый! Мало сам с ума сходишь, высуня язык по лесу бегаешь, еще и мальчика с собой потащил. Сына-то пожалей, если себя не жалеешь...», — и так далее, в том же роде. Но, увидев наши багровые от ветра, довольные лица, пару русаков со сгустками застывшей крови на длинных усах, мать быстро прекращала атаки. Только чугуны, которые она выдвигала из печи,



подавая нам остывший обед, некоторое время гремели сильнее обычного.

Так и на этот раз, отец принял живое участие в моих сборах, утаив от матери возможные опасности ранневесенней поездки. Отыскав в чулане деревянные чучела и антапку для привязывания круговой утки, он рассказал, как пускать ее, чтобы лучше приманивать кряковых селезней, как устроить шалаш и что взять из продовольствия. Горка — гимназист моложе меня на один класс — знал места за рекой, где весной бывает всякая дичь. На какой-нибудь из дач мы надеялись получить лодку и переехать в луга.

Дело было в пасхальные каникулы; весна тогда выдалась дружная, ранняя, в городе усидеть не было никакой возможности.

Как водится, набили заплечные мешки хлебом, патронами и прочим походным добром, покормили утку, посадили ее в корзинку и, незаметно выскользнув из дома (еще передумают, да и остановят), помчались к реке. Скатиться вниз по крутым городским съездам было минутным делом. По длинным скрипучим сходням забрался на пристань, оттуда — на палубу пароходика пригородной линии. С Волги тянуло свежестью, слепило яркими бликами света. Речные чайки с резкими криками носились над лодками, баржами и пароходами, падали на воду, рвали друг у друга какую-то снедь и снова поднимались на крылья, стряхивая с красных лап сверкающие капли. Чайки рядами сидели на крышах барж и пристаней, плыли по середине реки и высоко над городом летели серебристыми косяками к заливному лугам. Буксирный пароход, медленно шлепя плечами, выводил из затона — с зимовки — вереницу свежесмоленных барж. Караван отправлялся на низ, в степное Поволжье, наверное, за грузом хлеба. Вот баржи повернулись носом по течению, пароход дал полный ход, туже натянул трос. Капитан в полушубке и валенках вышел из штурвальной рубки. Над трубой вспыхнул белый султан пара и широко разлился прощальный плачущий гудок. С берега долго махали шапками и платками.

Скрипели сходни, плескалась у берега вода, лодочники кричали, зазывая пассажиров, желающих перебраться за реку, у товарного склада ломовые извозчики валили грохочущее листовое железо, грузчики тянули из трюмов тяжелые ящики и пели «Дубинушку». От радостного крика чаек, от знакомого весеннего гомона речного порта сердце наполнялось сладкой тревогой. Было завидно, что матросы каравана барж уплывают далеко полноводной привольной рекой, разбирало нетерпение поскорее отправиться в путь.

Пригородные крестьяне с бидонами, лузгая семечки, неторопливо заполняли наш пароход. Через два часа, сделав несколько остановок, он высадил нас на маленькой, перемазанной глиной пристани. Правый берег реки был здесь высокий, сырой и лесистый.



Красная глина, напитанная водой, разбухла, как тесто, мы еле добрались по грязным тропам до избы дачного сторожа. Горку он помнил с лета прошлого года. Получив полтинник, сторож без долгих слов выдал три весла и ключ от лодки. «Уговор, ребята, лодка новая — не поломайте. Не то, съест меня хозяин, он мужик строгий, порядок любит». — «Не беспокойся, дядя Федор, все будет в порядке. Дня через три доставим».

Я вырос на Волге и кое-что понимал в лодках. Вид тяжелой, широкой, носатой посуды, в которой плескалась вода и плавали стлани, сразу заставил поскрести пятерней мокрый затылок. «Что



же, — говорю, — у этого хозяина семья с дюжину или больше?» — «Одиннадцать ребят, — невозмутимо ответил Горка. — Летом человек по пятнадцать в эту лодку садилось. Вроде Ноева ковчега. На песок купаться ездили».

Делать нечего, отчерпали воду, понатужившись, оттолкнули от берега. Я ударил веслами. Горка гребнул кормовым, и течение подхватило





нас с задорной неудержимой силой. Мы плыли, держась наискось к заречным лугам. Тяжелая посуда была рассчитана на целых шесть гребцов. Как ни налегал я на единственную пару весел, лодка подвигалась туго. А весенняя вода с озорным плеском кипела у бортов, мчала мимо грязную пену и хворост, пронесила сено, щепки, завивала воронки водоворотов, упрямо тащила нас все вниз и вниз. «Ну и баржа, ну и завозня<sup>1</sup>, чтоб ее хозяину лопнуть», — пыхтел я при каждом взмахе, багровея от натуги.

До левого лугового берега казалось недосягаемо далеко. Только под вечер мокрые, с дрожащими от усталости руками, мы дотянулись до низких грив — длинных островков, оставшихся на месте затопленных лугов. Нас отнесло километра на два ниже места, откуда мы тронулись. Нечего было и думать на обратном пути подниматься против такого течения в нашей тяжелой посудине. Решили, что поднимемся полями. Там, думали мы, вода мельче, чем на реке; течение за гривами и островами всегда бывает потише. Но и эта надежда не оправдалась — тяжелая семейная ладья сидела слишком глубоко и не проходила по мелким протокам. А на более крупных нас встречали пенистые быстрины. Как стремительные горные речки, они играючи швыряли лодку назад. Бились мы, бились и, не отвоевав у реки даже полкилометра, решили высадиться на самую большую и высокую из грив, которая встретилась. Не без грусти расстались с надеждой пробраться к затопленным дубовым рощам, к теплым лесным озеринам, где весной в наших местах больше всего бывает уток.

Солнце зашло, когда мы выгрузили свои пожитки. Лодку привязали к стволу высокой ивы. Вода уже подступала к дереву, мы укрепили цепочку повыше. От алой зари над темной неспокойной рекой тянул резкий студеной ветер.

Нагребли сухих листьев и травы для постели, наладили костер, нарубили целый ворох тальника для шалаша. Его нужно было сделать большим — на двоих, и поставить недалеко от воды, чтобы стрелять поближе. Уже стемнело, когда втыкали в землю гибкие талы, связывали их попарно дугой, оплетали тонкими прутьями. Получилось что-то вроде большой неуклюжей корзины с ходом в сторону, противоположную от воды. После ужина взялись доделывать шалаш. К нашему изумлению, он был уже наполовину в воде. Река поднималась быстро и наступала на остров. В ее ночном, неутраченном плеске, в шорохе, с которым вода подкрадывалась к сухим листьям и хворосту, чтобы через минуту захватить их в мутные водовороты и умчаться в темноту, было что-то пронизывающее холодом и тревогой. Мы чаще, чем нужно, посматривали на противоположную сторону гривы, под дерево, где смутно темнела носатая, толстобокая лодка.

Остов шалаша оттащили от воды. Он оказался настолько прочным, что хорошо выдержал переноску. Потом долго ползали

---

<sup>1</sup> Завозней на Волге зовут большой тяжелый дощаник, на котором с баржи завозят на берег якорь.

по холодному лугу, собирали ветхую прошлогоднюю траву, клочья сена и одевали ими остов постройки. К полночи наши руки были исколоты и исцарапаны, тело ныло от усталости. Тогда выбрали сухую ямку за кустами, куда не очень забирался ветер. Загородились от него корзиной с уткой, двумя мешками и залегли спать. Горка был одет теплее, он начал сейчас же тихо посапывать. У меня зябли сырые ноги, колело за воротом сено, насыпавшееся с крыши шалаша. Я долго вертелся с боку на бок.

Ветер шуршал травой и тонкими прутьями ивняка. Кругом в темноте больше угадывалось, чем слышалось, медленное, неотвратимое наступление половодья. Порой доносились тихие, как шепот, всплески, потом какая-то струя, видимо, пробившись в лощину, начинала журчать громче и настойчивее, пока журчание не разрасталось в ровный мурлыкающий звук потока. Казалось, темная громада воды со всех сторон заползает на нашу узкую гриву и нависает над нами угрозой. Невнятные всплески слышались где-то рядом. В десятый раз я поднимался с пригретого логова и всматривался в темноту: звезды отражались в затишье за лодкой — посуда стояла на месте.

К утру стало еще холоднее, ветер забирался с боков, пронизывая до озноба. Горка ворочался, сгибался крючком — видимо, и его пронимало. Я то засыпал, то, ежась от холода, высматривал на небе признаки рассвета. Звезды плыли чередой между редких туч. Там, ближе к ним, высоко над рекой и лесами, проносились на север пролетные табуны уток. Послышится быстрый, совсем особенный звон крыльев гоголей, коротко, таинственно вскрикнет свист... Снова далекий мгновенный шум крыльев, который угадываешь каким-то особым чувством, и опять ночная тишь звенит в ушах, как комариное пение. Пусть холодно и ноги промокли, пусть мысли путаются в невыспавшейся голове. Но в эти ночные часы под звездами, лежа на милой сырой земле, слышишь ее дыхание и вдруг постигаешь, как необъятен мир, как неудержимо несется по урочному пути наша планета. И жадно вдыхаешь горьковатый запах порубленного тальника, крепкую речную сырость. И теплое чувство шевелится в сердце — к Горке, который так зябнет во сне, к матери, с которой не простился и которая, наверное, расплакалась бы, увидев двух парнишек на островке среди погруженного в мрак бескрайнего разлива. А утки летят и летят, и мысли невольно уносятся следом за быстрыми стаями. Плывут внизу березняки, плывут темные хвойные леса. Мелькают провалы озер, в них тонут и мигают голубые искорки звезд. Большие полноводные реки медленно несут льды к студеному морю. Опять поля, пустые болота, деревня, другая, в ней робко загораются огоньки. Наверное, скоро рассвет. Я снова сплю, а ноги коченеют, и гладкий холодный жук катится по шее за ворот.

На заре, стуча зубами от холода, мы пустили на воду три чирковых чучела и круговую утку. Уже сидя в шалаше, решили стрелять по очереди. Но ружья долго оставались без дела. В свежее, холодное утро утки отсиживались где-то по заветриям, в за-

топленных кустах, лёта не было. Солнце поднялось, стало пригревать — десятками запели жаворонки, переживавшие полководе на высоких луговых гривах. Запахло медом цветущих кустов ивы, над ними загудели пчелы и ранние желтые шмели. Пригретые солнцем

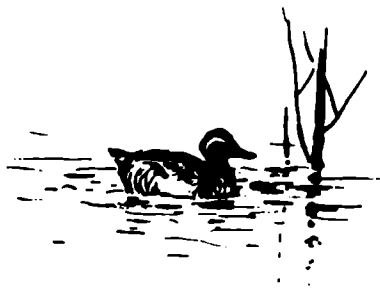


Чирок-свистунок

охотники клевали носом, едва пересиливая дремоту. Вдруг что-то легонько шлепнулось на воду у самого шалаша. Я глянул на реку через прутья, ивовые барашки и солому, обрамлявшие окошечко-бойницу. На воде сверкали и лоснились легкие круги. В центре их, вытянувшись и насторожившись, медленно сплывал по течению чирок-свистунок. «Горка, не шевелись», — прошипел я страстным шепотом. Чирочек взъерошил перья, несколько раз кивнул головой. «Трю-трюю-трюю», — послышался его нежный посвист, такой слабый и меланхоличный среди бодрых, весенних голосов птиц. Деревянные чучелки чирочьих самочек невозмутимо покачивались на волнах. Они были на длинной веревке; течение носило их вправо и влево, поворачивало туда и сюда. Хитро окрашенные деревяшки казались настоящими, живыми чирчихами, только слишком холодными и равнодушными. «Трю-трю», — снова простонал свистунок, еще ближе подплывая к чучелам. Он поворачивался к ним то грудью, то боком, приподнимал и складывал рыжие перышки загривка, поблескивая ярким зеленым зеркальцем крыла, черно-синей головой на висках. Мы пожирали глазами милый силуэт маленькой утки, из-под лап которой бежали светлые струйки ряби. Туда же тянулся ствол моего ружья, неожиданно тяжелый, дрожащий от нетерпения охотника и непослушного стука сердца. Дробь хлестнула по чирку и воде длинной вспененной полосой. Круговая утка с испугу нырнула, чуть не оборвав веревку. Свистунок перевернулся светлым, крапчатым брюшком

кверху. По воде, как надутые паруса, поплыли серые чирковые перья, обгоняя закоптелый пыж и клочки бумаги. Шагах в шестидесяти от шалаша чирка принесло близко к бе-





Чирок-трескунок

регу. Мы вытащили птицу крюковатой хворостиной. Теперь сидеть стало веселей — в уголке шалаша на траве лежала первая добыча.

Вскоре вода начала затоплять наше убежище. Опять перенесли шалаш, передвинули чучела и круговую утку. Только притаились в ожидании — круговая встрепенулась, покосилась на небо и крикнула «в осадку» что было мочи. За шалашом прошелестели крылья, мелькнули тени и два чирка-трескунка, бороздя лапами воду,

шлепнулись на полую воду. Оба были как один — дымчато-голубые, с пестрой грудью, кофейной головой и широкой белой полосой над глазом. По обычаю, две-три секунды утки посидели насторожившись, потом, обгоняя друг друга, тронулись к чучелам. Коротким движением чирки подкидывали кверху голову и тотчас же слышалось их сильное горловое потрескивание — «крьи-крьи, крьи-крьи». Весенний брачный крик трескунка был совсем непохож на томные стоны свистунка. «Чирок-скорлушок»; «чирок-коростелек» — зовут за этот крик трескунка у нас на Волге.

«Стреляй правого, я — левого, — уже не прошипел, а просвистел я одними кончиками губ — Ну разом, по команде». Выстрелы почти слились в один гулкий хлопок. За дымом ничего не видно. Горка, пятясь задом, задевает край шалаша и падает на спину, я переползаю через него. Мертвые чирки распластались на воде, течение относит их к стрелю. Что делать? Лодка на другой

Отдыхающий трескунок



стороне гривы; хворостина не достает, а утки все дальше. Разуться и раздеться — дело нескольких секунд. Вода разлива, снеговых ручьев и лесных болот обдает таким жгучим холодом, что сердце сжимается и захватывает дух. Еле добираюсь до уток, но зато, как приятно схватить окоченевшей рукой их плотное, теплое оперение! «Теперь, Горка, будет твой черед искупаться. Хватит с меня и одного раза». Одеваюсь быстро, и все тело горит приятной теплотой.

Опять сидим притаившись, возбужденные успехом, уверенные в предстоящей удаче. Три нарядных чирка лежат рядком в уголке шалаша. Нет-нет, да и взглянешь на голубые крылышки трескунка или круглые водяные капли, сверкающие на атласных перьях свистуночка. Ждем долго, уток все нет — небольшой утренний лет окончился.

Солнце печет, приходится снять ватные куртки. Не затихая, льются из синего неба трепетные песни жаворонков. Кажется, звенит сам воздух, согретый, колеблющийся над теплой гривой. Кричат истошными голосами чайки, пиликают кулики, играют над болотистой низиной чибисы. А нас одолевает дремота — ночь на холоде, почти без сна, и убаюкивающее тепло весеннего полдня делают свое дело. Часов до трех спим на самом припеке, раскинувшись на куртках, бросив под голову вещевые мешки. Тем временем вода забирается в опустевший шалаш. Соломенная подстилка всплывает, передняя стенка качается под напором мутного быстрого потока. Добраться до лодки можно только бродом, ее короткая цепь уже под водой, корма круто поднялась вверх. Хорошо, что, окончив охоту, мы сняли круговую утку и чучела, их бы, наверно, унесло. Вода со всех сторон урезала, обкарнала нашу гриву. Где утром еще были лужайки — сейчас широкие заливы, от нижнего конца острова остались над водой всего лишь три маленькие кочки. Вода с напором катится через заросли талов, бурлит и рокошет, клонит на бок, треплет и полощет гибкие прутья. Высокие кусты дрожат и кивают верхушками, словно от ледяной воды их бьет лихорадка. Желтые барашки тальника, пушистые как шмели, под водой чернеют, покрываются илом, течение залива кусты гнилым сеном, целыми пластинами хвороста. Не узнать нашей гривы, да и все кругом переменялось. Соседние островки пропали, затопленный лес стал словно еще дальше от нас. На мутной, полноводной и зыбистой равнине не видно ни одной души. А мы стоим на своей гриве, узкой и длинной, как пирога, и нам начинает казаться, что она тоже неудержимо несется вниз, обгоняя пузыри, комья пены и смоляные щепки.

Наступает вечер, теплый и тихий. Синеватые облака лениво ползут с запада, не умолкая мурлычет вода, облизывая щетинистые бока острова. Сменяя друг друга, без перерыва все звенят жаворонки. Хорошо стоять в эту пору на пригреве, закрыв глаза и на слух разбираясь в голосах весеннего, необъятного хора. Присядешь ли в лесу на сухой пенек, встанешь ли на кочку среди болота или ляжешь в степи на душистую полынь — везде охватит

тысячеголосый, бодрящий и радостный весенний хор. Сотни километров пройдешь, и везде, сменяя одна другую, сплетаясь в чудесные узоры, будут звенеть, разливаться, замирая вдали, птичьи песни. Как назвать это ласковое море нежных звуков, теплое воркованье согретой земли?



Кулик мородунка

И над разливом пела и играла каждая птица, все на свой лад. «Муть, мууть, муууууть», — протяжно вы-

водит долгоносый кроншнеп, крупный осторожный кулик. Голос у него флейтовый, и поет он лучше всех куликов. На взлете, при посадке и на лету свистит по-особому. Играя, то побежит по гриве, то взлетит высоко или, дрожа крыльями, издали сверкающими белой подкладкой, медленно, без взмахов, косо спланирует на землю, постепенно приглушая песню.

«Пузыри, пузырри, пузырри», — низким басовитым посвистом торопливо повторяют мородунки, бегая по мелководью у берегов. Их мокрые лапки поблескивают на солнце, уверенно шлепают по воде. Короткий, чуть задранный клюв то и дело опускается к пене и плывущему хламу — хватает утонувшего жука или гусеницу, выбравшуюся на траву. Сыты мородунки, согреты солнцем, весной. Гоняются один за другим, суетливо носятся с места на место, напевают, торопясь и захлебываясь.

«Траваа, траваа, траваа», — без усталости твердит, летая над лугами, серый улит. Сквозь дыры в шалаше видно, как длинноногой тенью плывет он по теплому небу вечера. «Кувырк-кувырк-куувырк», — хором гудят чибисы, взмывая над дальней гривой, кувыркаясь на лету и пестрыми платочками падая вниз. Белые стаи чаек вьются над разливом, опускаются на воду хлопьями легкой пены и, поднявшись на крылья, то собираются в легкие серебристые облачка, то рассыпаются на мелкие стаи. Полая вода несет рыбу из стариц и заросших озер, уснувшую во время зимних заморов, много насекомых, всплывших вместе с сухими листьями и сором. Все это кормит весной прилетных прибрежных луговых птиц.

Вторая ночь была тихая, много теплее, чем накануне. Шалаш заблаговременно перенесли на высокое место, спать залегли рано, вставали только два раза, чтобы подтянуть лодку. И опять в темноте слышны были свист крыльев, далекие голоса уток — над притихшей землей все еще шел весенний перелет.

В утренних сумерках заяц-беляк осторожно прошлепал мимо нас по луже, направляясь к нижнему концу острова, и скоро вернулся обратно. Был он какой-то взъерошенный, с белыми ключьями и латками высокого зимнего меха над новой бурой

шерстью. Широкие белые лапы, тоже в зимнем меху, были мокры и покрыты грязью. Заяц устало ковылял вдоль берега, садился, нюхал воду, тревожно водил ушами и, видимо, искал переправу. В лохмах линючего меха и грязных зимних «валенках» он был чем-то похож на бедного странника, устало бредущего по весенним проселкам.

Днем мы нашли несколько зайцев, притаившихся в кустах и кочках верхнего конца гривы. Половодье загнало их на остров с большого участка затопленных лугов. Днем они прятались, ночью металась по гриве в поисках корма и дороги на берег.

Свежие норы водяных крыс появились за ночь под корнями кустов у воды. Утром мы видели, как из норы вышла большая темно-рыжая крыса. Нахохлившись, она долго грызла зеленоватую кору тальника. Две другие проплыли мимо, сидя на кучке хвороста. Ее несло на середину реки, медленно повертывая и заливая на водоворотах.

У шалаша копошились в траве и беспокойно цикали землеройки, которых еще вчера не было слышно. Площадь гривы быстро сокращалась, зверькам стало тесно, и они грызлись при встречах под сухой травой. Она порой шевелилась и шуршала, как живая: это мелкие остроносые зверушки спешно прокладывали ходы, убегая от воды, отыскивая корм. Вода прибывала к берегу полосы плавучего сора, из него выбирались на берег мокрые полуживые жуки, мелкие клопики, пауки, медленно уплывавшие обогреться на солнце. Вместе с сором вода приносила семена луговых и болотных трав и тоже подгоняла их к берегу. Тростниковая овсянка — белогрудая с черной шапочкой, собирала семена, прыгая вдоль заплеска. По временам она вспархивала на высокий ивовый прут, качалась на нем вверх и вниз, напевая короткую простенькую песню. Целый день овсянка провела вблизи нас, раза три садилась на шалаш и пела над самой головой. Приятно было видеть на расстоянии полуметра, как овсянка ерошит перья, как чистит клюв, постукивая им о веточки шалаша. Даже выстрел мало ее испугал.

Стреляли мы в пегую, среднего размера утку, которая прилетела на голос нашей кряквы. Расплескивая воду оранжевыми лапами и рыжим брюшком, утка села очень близко, коротко и хрипло приговаривая «ка-ка-ка», «ка-ка-ка». Мы сшибли ее, не успев рассмотреть, как следует. Она оказалась селезнем широконоски — одной из самых нарядных уток. Темно-голубые перья покрывали ближнюю к телу половину крыла, металлически-зеленым было зеркальце, белой — грудь, черным — подхвостье, бурой — спина. Перышки головы отливали синеватым блеском. Светло-желтые глаза широконоски, долго не терявшие свою живую яркость, резко выделялись среди темного оперенья головы. Казалось, утка удивленно косится на давно немывтое лицо Горки и мои потрескавшиеся губы. Большой глянцевиный клюв широконоски, с расширением на конце, немного напоминал ложку. По краям его видны были выступавшие наружу частые гребенки из



Тростниковая овсянка

тонких, очень гибких пластиночек. «Вот так нос, — говорит Горка. — Чего только она им ловит?» Мы раскрыли утиный зев, осмотрели беловатый плоский язык, по краям которого тоже были гребеночки. Решили, что такой цедилкой удобно вылавливать из воды разную живую мелочь. (Широконоска, действительно, питается в основном мелкими животными: слизняками, водяными насекомыми, микроскопическими рачками, реже растительным кормом.)

За утро два раза прилетали парочки шилохвостей. Сероватая утка была молчалива и спокойна, белогрудый, сверху пепельный буроголовый селезень кружился около нее, вытягивал тонкую шею и нежно бормотал «тро-тро-тро». Шилохвости были осторожны, са-

дились далеко от шалаша. Два выстрела пропали даром — на таком расстоянии ни один из нас не мог достать дробью эту утку, более крупную, чем наши чирки и широконоска. После девяти часов утра утки не появлялись. Издали по воде доносились грустные покрики свистунков и трескучие голоса сизокрылых коростельков, плававших где-то в затопленных тальниках. Крики этих уток тонули в гомоне чаек, посвистах куликов, в весеннем полноводном шуме разлива. Ветер сдувал золотую пыльцу ив, ворошил теплую солому шалаша, нежно перебирал перья убитых уток.

За стряпней, рисованием, перетаскиванием лодки день прошел незаметно. Вечерняя заря ничего не прибавила к нашей добыче. Потом облака заволокли небо, зашелестел по траве реденький теплый дождь. В намоченных листьях слабее стали шорохи землероек. Голодные водяные крысы, осмелев с темнотой, скрипя зубами, грызли таловые ветви. Смягчая все шорохи, с реки катился мерный рокот дождя. За ним смутно угадывалось налитое могучей вешней силой половодье. Эта темная ночь была тревожней, чем накануне. Туман клубился над гривой. Зноем, сухостью, душистым дымом тянуло от медленно догорающего костра.



Утром подул сильный верховый ветер, по реке и полям бежали мелкие желтоватые волны, течение стало еще быстрее и стремительней. Мы встали на рассвете и часов пять просидели в шалаше без выстрела. Мелкие острова исчезли все до одного, кусты затопило — утки перестали появляться у нашей гривы. Только вдали на стрежне тонкой цепочкой сплывал по течению табунок нырков.

Наши обветрившие лица горели от солнечных ожогов, губы потрескались от горячей пересоленной картошки и сухого ветра, изодранные руки ныли нестерпимо. Конечно, можно было попытаться уплыть глубже в луга и добраться до мест, где есть утки. Но усталость и недосыпание сокращают предприимчивость. Немножко поспорив и поколебавшись, решили ехать домой. Жаль было оставлять на затопляемой гриве обреченных на гибель зайцев. Погонялись за ними, стараясь оттеснить на мысок, переловить и увести с собой на берег. Перепуганные беляки метались по острову, бросались в воду, вылезали обратно обмокшими и дрожащими. Пришлось отказаться от этой затеи.

Упираясь в дно веслами, поднялись на лодке до верхнего конца гривы. Там отдохнули и не без тайного волнения тронулись на переезд реки. Казалось, она готова была унести нас до самого Каспия, так сильно напирала на борта ее мутные волны. Три наших весла с силой резали воду. Мы гребли, как на гонках, во всю мочь, стараясь пересечь реку, не сдавая вниз по течению. Но чем круче ставили нос лодки «против воды»<sup>1</sup>, тем медленней двигались наперерез, тем сильнее нас относило книзу. Короче сказать, вконец измученные пловцы пристали к правому берегу километра на четыре ниже поселка, куда следовало доставить лодку. Сделали еще попытку подняться, теперь уже вдоль правого берега. Здесь вода шла по затопленному лесу, среди стволов ив, толстых осокорей и вязов. Весла то ударялись о деревья, то с шумом рубили воду; она кипела у бортов, бросала нас на пни и кусты. Ветки хлестали по голове, стволы грозили опрокинуть лодку. Тут мы взмокли до нитки, рубахи хоть выжимай, а тяжелая посуда продвинулась вперед не более как на сотню метров. Это полностью исчерпало наши силы. Горка, выйдя из лодки, рухнул на берег, а роковое слово «пошли» незаметно



<sup>1</sup> На Волге говорят «против воды» и «по воде» вместо «против течения» и «по течению».



слетело с чьих-то губ. Стыдно признаться, но мы бросили эту семейную ладью, бросили тут же в затопленном лесу, захлестнув цепочкой за первую попавшуюся осину. О том, что будет с Федором, что, вообще, может выйти, старались просто не думать.

А тут еще беда — пройти вдоль берега почти невозможно. Кое-где еще лежит снег, а на проталинах склона сырая разбухшая глина налипает на сапоги толстыми тяжелыми пластами. Пришлось подняться на гору, в поле, а там по тропе — до пристани. Пароход стоял на месте и был готов к отходу. На секунду кольнула мысль, что нужно бы сказать сторожу о нашей неудаче. Но третий свисток парохода словно подхлестнул нас. Трап уже убрали, мы едва успели вскочить на верхнюю палубу. Через двадцать минут на реке нам встретилась целая ватага деревенских ребят, выехавшая в брошенной лодке покачаться на волнах парохода. Как быстро они ее отыскали. Плохо теперь дело! Угонят в город, продадут, а Федор нас под землей откопает. Решили пока что молчать.

Дней через пять классный наставник, с видом задумчивым и не обещающим ничего приятного, потащил нас к директору гимназии. Федор, конечно, прикатил в город к хозяину дачи, тот к директору, шум поднял. «Лодка, — говорит, — сорок рублей стоит, а воспитанники Вашей гимназии ее угнали». Дело принимало плохой оборот, но все же кончилось благополучно. Бедный Федор, которому здорово нагорело, через неделю поисков «откопал» похищенное сокровище верст на десять ниже места, где мы окончили свое неудачное плавание. По обычаю речных пиратов лодка уже была перекрашена. На синих бортах красовалось четко выведенное легкокрылое имя «Ласточка». «Коровой ее надо было называть или бегемотом. А то ласточка тоже придумали...» — ворчал Горка, когда мы шли с ним по верхней набережной.

Разлив выдался на редкость большой; вода затопила все луга, подошла даже к отдельным селениям левого берега. И как всегда, при виде этой речной шири и мгlistой синевы заволжских лесов, обоих опять охватила тревога, тоска по вольному воздуху, по охоте.



✓

# Моя школа



(из черновиков  
к книге  
„Записки  
натуралиста“  
и старых  
публикаций)

## 1. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Вспоминается мне Волга-мать, отдаленные гудки пароходов и ленивые всплески разомлевшей от зноя волны. Ясно, четко, словно было-то не десятки лет назад, а всего-то вчера, вижу я желтые пески островов, гладь речную, спящую солнцем, и мартынов — речных рыбаков. Острокрылые, как ласточки, серебристые, как рыба чешуя, одиночками и парами пролетают они над рекой. Машет крыльями, не торопясь, беззаботно и легко проплывает мартын, словно красоту свою играючи показывает. Но недаром вниз опущен ярко-красный клюв: зорко смотрят в воду глазки карие, блестящие. А под ним в воде плывет другой мартын: клювом вверх, спинкой вниз, машет крыльями — настоящего мартына передразнивает. Река тиха, река покойна. Прыгнет ли плотица, погнавшись за мошкой, и шлепнется в воду легонько, метнется ли жерех, разбойник речной, в испуганной стайке уклеек — долго искрятся, играют водяные кольца и круги. Серебрятся, крутятся струи над корягами, камнями подводными, завивают легкие воронки в омутах, размывают отражения нежных облаков. Пузыри большие, радужные медленно плывут вдоль берегов, шуряются на солнце, как глаза большие, выпуклые. Длинноногие козявки по течению всплывают и щекочут лапками речную гладь. Она морщится, рябью мелкой покрывается, словно силится согнать назойливых, а потом забывает, успокаивается, и снова река, как зеркало, река, как стекло. Задремала, расплескавшись по теплым отмелям, окунулась в зелень тальников, в тень густую нагорного берега.

Тишина... Слышно даже версты за две, не меньше, раскричались мартыны: из-за рыбки пойманной поссорились. Слышно — далеко за речным поворотом лодку кто-то с перевоза вызывает. «Лодку дава-а-а-й!» — жалобный выводит голос вот уже час или два. «А-а-а-а-ай...» — откликается березняк правого берега, «а-а-а-ай...» — замирает в сосняках за рекой. Зноем пышут пески, разморила жара перевозчика, задремал он крепко в холодке

шалаша, понапрасну плачется о лодке голос. Недвижима она, а хозяин разметался в шалаше, снится ему волжский речной сон. Будто утром рано, чуть заря, выбирает из воды он снасть. Слышит: рыба крупная ввалилась, сильно бьется, дергает хребтину. Тянет он руками снасть, что есть сил торопится, потому что шибко рвется рыбина — перекрутит поводки, уйдет. Но бегут-бегут чередой все пустые крючки самолова, бесконечная тянется снасть. Обливается потом, мечется от жара перевозчик... Заливается звонко голос за рекой.

Опустились, сели отдохнуть на бакен, на середине реки, острокрылые мартины-рыболовы. Спрятали лапки коралловые в пенно-белые перышки, глазки зоркие прищурили, дремлют; может, тоже грезят о пескарниках, красноперых плотичках. Дремлет стадо, то, что на полдень пригнал пастух, и другое, в воде перевернутое. Дремлет сам пастух, бросив лапоть недовязанный; отдыхает, не плещется рыба, спит река; только мы, ребяташки, не спим.

Засучив штанишки до колен, рукава до плеч или вовсе спрятавши рубашки под большие камни, с утра до вечера бродим мы по мелководью. Каменистая гряда длинной, острой косой выдается здесь на стрежень. Непрерывным рокотом поет вода, дрожат рябью струи переката и трясутся, как в ознобе, ветки зацепившихся за дно коряг. Помню, осторожно, не мутя воды, не бултыхая, наклонившись низко, словно цапля, всматриваешься в дно. За колышащейся сеткой отражений видны раковины, гальки, камни, темные и светлые, голые, окатанные или укрытые зеленым шелком — нитями водорослей.

Ищешь плиты плоские, широкие, наклоняешься тихонько, руки в воду запускаешь: Белые и, как чужие, под водой неуверенно и осторожно тянутся они к намеченному камню. Соскальзывают пальцы с острых ребер, в глазах рябь от бегущих переменных очертаний — словно нехотя перевертывается камень. Бокоплавы, препотешные рачки, врассыпную уплывают под камни, испугавшись света, свертывается в комок пиявка, убегает по течению муть. Смотришь — дух замрет! Стоит рыбина! Изогнувшись скобкой, прислонилась к камешку, все шесть усиков сердито растопырила, смотрит тупо в сторону, словно видеть ничего не хочет, вяло пошевеливает жабрами. Хвост прозрачный, красноватый, в мелких точках-крапинках, раздувается течением, как парус, кожа пестрая, с рисунком мраморным, поблескивает. Уже ребрами касаются дна ладони, замыкается кольцо из пальцев вокруг рыбки. Потом, хлоп! — одно движение, муть, и меж ладоней бьется, крутится, щекочет что-то маленькое и скользкое-прескользкое. «Эй, ребя, гольца поймал! Большуший!» Шум воды, пузыри — в тучах брызг летишь на берег, выпускаешь пленника в садок. Там, в водице темной, мутной еле шевелятся три гольца и глотает воздух ослабевший пескарь.

Мелкие налимчики, усатые сомята, большеголовые бычки чаще всех других были нашей добычей. А шиповки не давались! Много

их сидело под камнями переката, но как схватишь — так начнет вертеть головой и уколёт пальцы острыми подглазными колючками — сразу бросишь в воду с перепугу.

Помню, надоест рыбачить, потихоньку двинемся к селу, «блинчики» пуская по дороге. Разбежались, разбрелись по косогору избы, спрятались за вербы, вишни, устремили стекла тусклых окон на реку, на зеленые покосы, на заволжские леса. Пусто на селе, пахнет цветом липовым из сада и кричат, звенят стрижи, хороводами кружась у ветхой колокольни. Только близ реки, там, где длинным рядом вытянулись лодки, видны люди, не поддавшися сну. У шашковых снастей-самоловов гнутся спины рыбаков, за крючком крючок перебирают руки, узловатые и жилистые, как коряги речные. Пальцы в метках все: тут и там, видать, зацеплялись, разрывали кожу крючья самоловов, неудачно в воду сброшенных. «Зиньк-зинь, зиньк-зинь, зиньк-зинь», — ширкает напильник, и блестит острой иглы жало тонкое крючка. Может быть, оно или соседнее этой ночью остановит стерлядь, глубоко уйдет под кожу, в мясо нежное вопьется. «Зиньк-зинь, зиньк-зинь», — напевая, ширкает напильник — крючьев много тысяч, до вечерней зари надо все их направить.

Жарко светит солнце на рубахи выгоревшие и бросает голубые тени на песок; медленно ползут они к востоку, к вечеру становятся длинней. Ширкает без усталости напильник, и без усталости перебирают пальцы поводки, петли черные хребтины, очищают сор речной с грузил и поплавков. Ниже, ниже солнце — красным рыбьим глазом опускается в реку. Потянуло над рекой прохладой, заиграли струи красками зари, рыба заплескалась ближе к берегу, косяками-стаями потянулись чайки на пески. Собраны снасти на полки, черным кружевом качается хребтина: переносят самоловы в лодки — отправляются на ловлю рыбаки. Вскоре видно, как вдали на стрежне из-под весел искрами бегут круги, вьются тонким серебром вниз по течению. С мерным бульканьем

Гольян



уходит в воду снасть и колыхается стеной из поводков и крючьев, загоразживая рыбы тропы.

Уже поздно вечером, когда река совсем погаснет, возвращаясь, долго посылают лодки всплески весел в темноту. Замигают костры на стоянке, дым душистый кудрями потянется к звездам, закипит в котлах рыбацкий ужин. Мы же, ребяташки, снова тут как тут. Сладко растянуться на песке, нагретом за день, с теплыми следами босых ног. Сладко вдыхать запах дыма, за костром следить, полузакрыв глаза, слушать шум речной, дремать. Кружатся поденки, легкие, как хлопья снега, крылья обжигают над огнем и падают на землю<sup>1</sup>. Сонно булькает и всплескивает рыба на реке — далеко ли, близко ли, не скажешь; цапли хриплым криком откликаются на отмелях, и журчит незримая вода.

Рыбаки всегда угощали нас. Тот ушицы предложит из черного дымного котла, другой даст стерлядку обгорелую, круто посоленую, над углями зажаренную. От дождя и ветра прятали нас они в лодки, потешали небылицами речными, рассказами — были бо-родатые лучшими друзьями ребяташек.

Помню, все казалось странно мне, что приходится таяться рыбакам от начальства страшного речного, непонятно было, почему лежал запрет на лове самоловами. Думалось мне тогда, вместе с рыбаками, что закон на то и существует, чтобы людям тяжелей, трудней жилось. Помню, ясно помню, как однажды, в волжский нежный день раздавались крики яростные, дикие и бежали рыбаки к ручью. Становой явился снасти отбирать. Долго, крепко били, по грязи его валяли у ручья, отобрали револьвер, мундир порвали. А потом притихло в ужасе село, и пришел на утро пароход быстроходный, с острым, как у шуки, носом, темно-серой, жуткой краски. Вышли стражники с винтовками, потащили рыбаков на пароход, и заплакали, заголосили бабы на селе. Забурлили лопасти винта, побежала пена из-под носа, затрепался по ветру цветистый флаг — увезла речная полиция рыбаков в уездную тюрьму. За решетку посадили их над рекой рыбацкой в башне каменной макарьевской, что глядится в волжские струи...\*

## 2. ДЕД-ТРАВоед

Босоногим, беспоясым мальчишкой любил я бродить с удочками и жерлицами по лесистым берегам Керженца и Ветлуги, по песчаным заплескам широкой мутноватой Волги. Корзинка для рыбы, мешочек с червями, ломоть хлеба в кармане — простое и легкое снаряжение. Выберешь омут поглубже, забросишь удочки, а сам, притаившись, сидишь на теплом и мягком песке. Натя-

---

<sup>1</sup> Поденки — небольшие, нежного склада насекомые с тремя длинными хвостовыми нитями; летают около воды. Свое название получили оттого, что жизнь взрослого насекомого продолжается всего лишь несколько часов.

нутые волосяные лески легонько подрагивают от толчков течения и беготни пескарей, собравшихся около непосильной для них наживки. Жерлицы, поставленные близ коряг, ждут, насторожившись, быстрого броска щуки или удара жереха. Тихо на реке, спокойно.

Кулики посвистывают вдаль; ровно и невнятно лепечет река; смолистые ветви сосен шумят, шелестят как-то тепло по-июльски. В такие минуты мысли текут быстро и свободно, они легки и пестры, как солнечные блики на речном перекате. Перебираешь в памяти все птичьи гнезда, которые отыскал за неделю, вспоминаешь рыбацкие неудачи и счастливые случаи, задумаешься о рассказах старика-перевозчика. Перевозчик жил в шалаше на берегу Волги, у края широких песков. Приятель всех ребятишек на десять верст в округности, он угощал нас мелкими копченными стерлядками и такими рассказами, равных которым, наверно, не было по всей Волге, от Рыбинска до Астрахани. Про себя мы звали старика «дед-травоед», а почему — не знаю: перевозчик питался больше рыбой.

Дед-травоед знал не менее сотни жутких историй про утопленников, столько же рассказов про старинных разбойников и страшных сомов, которые хватают за ноги телят и мальчишек. Хранил в памяти бесчисленное множество веселых и страшных, грустных и смешных происшествий из жизни рыбаков, матросов и сплавщиков за добрые полсотни лет. Дед-травоед видел место, где нашли глиняную кубышку с древними золотыми монетами, не раз заставал он лосей при переправах через реку, тонул раз десять и спасал утопающих, проваливался под лед и попадал в «шалман» между баржами.

Ох, как приятно послушать такого старика, когда река лениво журчит у бортов лодки и над костром дымятся торчащие на прутьях остроносые стерлядки. Должно быть, этот дедушка с переката «Телячий брод» привил мне интерес к старине, к далекому прошлому. Уже тогда я выкапывал из песка рыжевато-бурые, потемневшие в воде кости, перержавевшие куски железа, и мысли мои стремились в непроницаемую мглу минувшего. Какие люди жили на этих лесистых берегах тысячу лет назад? Какие звери валялись на песке или пили желтоватую холодную воду Керженца? Никто не мог мне на это ответить. Только через двадцать лет, в университете, я случайно нашел разгадки некоторых, с детства волновавших меня вопросов.

В университетском Музее антропологии под шкафами, где хранились сотни человеческих черепов, стояли четыре пыльных ящика, доверху наполненные костями животных. Эти кости вместе с черепками посуды, угольками, бусами и другими следами поселений большая археологическая экспедиция выкопала на берегу Ветлуги, где уже давно были известны городища. Две тысячи лет назад в лесном Заволжье жили охотничьи финские племена. Семь тысяч костей, хранившихся в ящиках, должны были рассказать о том, каких животных ели эти люди, какие способы



охоты были им известны. Я нашел в этих ящиках челюсти и зубы десятка медведей, множества лосей и куниц, нескольких выдр, череп лебедя, кости глухаря, зайца, барсука, остатки нескольких десятков бобров\*.

Древние жители Заволжья были хорошими охотниками! Некоторые черепа куниц оказались раздавленными у затылка; так действуют деревянные лесные ловушки — «колодицы» и «плашки», сохранившиеся на Ветлуге и до наших дней. На других черепах были следы удара тупых стрел, которыми в старину стреляли пушных животных, чтобы не порвать шкурки. Желтые пыльные кости, оказывается, могут рассказать многое!

### 3. О ВОЛГА, КОЛЫБЕЛЬ МОЯ!

Хорошо проснуться ранним утром в свежем полумраке сеновала, отбросить марлевый полог, потянуться, раскинув загорелые руки на душистом сене, и вдруг ощутить всю полноту жизни и свежую силу в каждой клеточке тела. Лето, чудесное лето! Мне уже тринадцатый год. Вместе с братом, двумя сестрами и мамой мы приехали в конце мая в маленькую деревеньку на самом берегу Волги. Мы поселились далеко от излюбленных дачниками мест. За деревней к югу — ржаные поля без конца и края, синие васильки в зеленых полосках овса, высокие темные дубравы по долинам и склонам оврагов. К востоку — огромные заливные луга с чащами таловых зарослей и вереницами озер. На север от дома — рукой подать — крутой глинистый берег и Волга, широкая, светлая Волга с островами и песчаными косами, с буйными всплесками рыбы, с далеким звоном нежного пастушьего рожка в холодке утра и розовой дымке вечера. Утром в высокой зеленой траве и душистых зарослях шиповника я плавал среди упоительных запахов лугов, пока не начался сенокос и на оголенных гривах рассыпались толпы стогов.

Никто не мешал мне проводить время по своему усмотрению. Я начал с того, что облазил все дубравы в поисках птичьих гнезд, нашел две лисьих норы, поймал в капкан тушканчика и застрелил шесть уток за две охоты. Как и в прошлом году, отец берет меня с собой, когда приезжает на воскресные дни из города. Он сам заряжает патроны для легонькой бельгийской двустволки, которой разрешает пользоваться только под его присмотром. Наш английский сеттер Цербер — старый член семьи — отказывается признавать мои охотничьи таланты. Сплавает за убитой мной уткой и относит ее в руки отцу. Пусть так, он еще увидит, как мы стреляем. А вот по части рыбной ловли сомнений быть не может...

При доме, как водится, была лодка, а у нее два владельца — я и мой брат. Проснешься, и хотя еще ноют немного спина и руки от вчерашней поездки — здорово пришлось поработать на веслах, а уже снова тянет на реку, к легкой послушной лодке, как влюб-

ленного к заветному месту свидания. Цепкие пальцы тоскуют по рукоятке весла, отдохнувшие мускулы жаждут новой работы и все тело просит этих привычных сильных взмахов, мягких, ритмичных толчков лодки и певучего говора воды. Что-то широкое, радостное, ликующее, как музыка, наполняет меня при одной мысли о прохладной глади утренней Волги и туго натянутой тетиве перемета.

Красноперые нарядные язи и подъязики; колючие, растопыренные ерши с перламутровым блеском чешуи; ерши — это несчастье здешних мест! Они виснут почти на каждой крючке и не подпускают к насадке другую, более крупную рыбу. Ох, эти жадные, отчаянные ерши! Они и крючок-то заглатывают так глубоко, что едва вытащишь! Тягучая, густая ершиная слизь обволакивает всю мою рыболовную корзинку.

Чередуясь с ершами, выплывают на перемете из таинственных подводных недр небольшие судачки, серебристые синцы и густоперые, плоские, золотистые подлещики. Крупные лещи тащатся на перемете, лежа на боку, изредка подергивая поводок, напряженно вытянув дудочку рта, крепко зацепленную крючком. Черный и тяжелый, как сгнившая на дне коряга, выходит к поверхности воды небольшой сом, упрямо тянет перемет в сторону, шевелит длинными усами и мягкой махалкой хвоста. Этот тоже сидит на крючке крепко, надежно, не хуже ерша. В лодке же падает на спину и выставляет на вид толстое, лягушачье брюхо. Даже остроноса стерлядь, темнея под водой зубчатой спинкой, медленно тащится за леской, взлетает на воздух и мягко шлепает длинным

Стерлядь



хвостом по дну лодки. Брюшко у стерляди желтое; это сквозит через кожу янтарный жир. Хорошая будет уха!

За червями для насадки я отправлялся на скотный двор монастыря, соседившего с деревней, где мы жили\*. Высокие белые стены обители, сложенные из обтесанного известняка, спускались к самому берегу Волги. Каждую весну половодье пенилось у подножия этих стен и монастырь стоял среди разлива неприступным белокаменным островом. В стародавние времена на эту твердыню приступом ходили отчаянные отряды Степана Разина, и несладкий перезвон колоколов поднимал монахов на бой. Казалось, темные полосы, тянувшиеся из бойниц вниз по стенам, все еще хранят следы кипящей смолы — страшного оружия оборонявшихся. Расчетливо, но не скупясь, ее лили из высоких бойниц на головы неприятеля. Разин начисто вырезал монахов, а монастырь, не скоро оправившийся от разгрома, стал с той поры женским. Теперь ничто в этом тихом крае не напоминало о бурном прошлом.

Медленный колокольный звон плыл над гладью реки, над лазурью омутов, синеватой зыбью перекатов и белыми, неподвижно нависшими отражениями облаков. Кулички протяжно свистели на песчаных косах; далеко за Волгой и лугами, в кудрявом березняке коренного берега, звучала флейта иволги, кукушки печально и громко пересчитывали годы. Под этот колокольный звон и шелест ветра, приносившего медовые запахи лугов, медленно умирал заштатный городок Макарьев. Когда-то был он знаменит своей ярмаркой, жил широко и весело, горел и отстраивался, разорялся и снова богател. Потом «всероссийское торжище» перенесли в Канавино, ближе к губернскому городу, на самую стрелку между Окой и Волгой. Знаменитая ярмарка из Макарьевской стала Нижегородской. Кустари-сундучники, слесари и столяры потянулись следом в Нижний. Городок опустел, у половины домов доски и ставни скрыли глазницы окон. Зеленой муравой-конотопкой, пахучей ромашкой поросли отшумевшие улицы. А монастырь за высокими стенами стоял, как и встарь. Меньше стало доходов от приезжих купцов, но по-прежнему в урочные часы скотницы гнали ладных дойных коров, а черные послушницы с далеких лесных хуторов привозили кадки меда, соленых рыжиков и моченой брусники.

Рыбачить я выхожу на заре, когда длинные зеленые тени домов ложатся на седую росистую траву и алое солнце едва выглядывает из-за леса. Через тонкую рубашку пробирается свежесть утра, босые ноги обмывает холодная роса. Пастух играет за рекой, ласточки бодро щебечут у избы, и липы цветут, наполняя все вокруг сладкой свежестью лета.

За крайним домом Волга вдруг открывается передо мной. Тишина и приволье... Прозрачный туман чуть клубится над розовыми и перламутровыми переливами реки. Далеко-далеко медленно шлепает плицами пароход; в лесу за Волгой ему отвечает эхо. Крупный жерех ударил у берега и мелкие уклейки сверкнули там брызгами во все стороны. Здоровый жерех! Крепкий удар, хорошие

круги по воде... Вот солнце поднялось над лесом и стены монастыря порозовели. Вот чайки светлыми жемчужинами плывут над водой. Я дышу глубоко, с наслаждением и мне кажется, что не воздух Волги, а само счастье расширяет, переполняет мне грудь. Все лето, ликующее ласковое лето впереди! Темные грозы и прозрачные радуги, гудки пароходов, смоляной запах лодок и песни сенокоса, знойный гул слепней на лесных дорогах, грибы, земляника, много-много безмятежных часов над удочками, склонившимися к этой светлой глади реки. Таинственные водовороты, какие-то вертунчики, пузыри, вереницами бегущие из глубины, большие и малые лоснящиеся круги на воде, которые у нас называют соловцами. Бегут, замирают и сглаживаются соловцы, переливаются, дрожат и катятся вниз по течению светлые зайчики, играющие на дне. Стайки проворных мальков, вытянувшись длинной вереницей, тянутся вдоль берега у самого заплеска, где мягко булькает и шелестит волна. А там, поглубже, как серые тени, видны рассыпанные стаи пескарей, и время от времени сверкает серебристый бочок круто повернувшейся рыбки. Еще дальше зеленая густая мгла омота, невидимая и таинственная жизнь под глубоким яром. Там стаи лещей и усатые скользкие сомы, остроносые стерляди, несметные табуны рыбьей мелкоты, полосатые красноперые окуни — подводные сокровища, из которых крючок нашего брата рыболова вот-вот выловит настоящую золотую рыбку.

Мысли мои бессвязны и радужны. Стоя над рекой, я теряю драгоценные минуты раннего утра. Хорошо бы сейчас к омуту, где упустил крупного леща. Да черви почти кончились. Надо накопать сотню-другую красных, навозных, тех, что брызжут желтоватым пахучим соком, живучих и вертлявых на крючке, лакомых для рыбы.

С трудом отрываюсь от Волги, иду к монастырю. Тонкие береговые удилища пружинят на плече и постукивают в такт шагам. Осторожно проскальзываю в монастырские ворота. Высокие стены, чужой, непонятный, но строго налаженный быт невольно гнетут и давят. Я чувствую, что становлюсь маленьким, безгласным и онемевшим, прячусь от старых и важных монахинь...

#### 4. ВЕСЕННЯЯ УХА

Для нашего брата, начинающего рыбака, зима — самое скучное время. На реках и озерах — почти метровый лед да сыпучий снег. Вьюга гуляет над застывшими водами, стелется низом колючая поземка. Не то что рыбу, иное озеро едва отыщешь в эту пору! Есть, правда, рыболовы, которых и морозом не проймешь. Тяжелой пешней выдолбит лунки во льду, закинет удочки, растянет на колышках рогожную занавеску (против ветра), сядет у горшка с горячими углями и таскает ершей. Другой поставит

жерлицы на шук и ходит над лунками, как часовой, чтобы вороны «живцов» не вытащили. Иные ловят окуней на блесну, ставят вен-тери на налимов или черпают рыбу сачком из прорубей при «заморе» в озерах. Но все же таких рыбаков зимою немного. Привольное наше рыбацкое время начинается только весной.

Сначала по южным склонам полей зачернеют проталины, потом ручьи побегут по оврагам, испортятся санные дороги, вскроются и разольются малые речки. На больших реках и озерах выступит и засинеет снеговая вода, обозначатся широкие закраины. К этому времени лебеди уже пролетят на север, появятся гоголи, чайки и кряковые утки. Еще пригреет солнце, пройдет первый весенний дождь — неудержимо хлынет вешняя вода и вздуется лед на больших реках. С гулом и звоном потрескаются ледяные мосты, пять-шесть месяцев одевавшие реку. Теперь повсюду сверкают трещины и полыньи; еще немного — и тронутся в путь ледяные поля, растащат по кускам черные зимние дороги. Дня через два-три после первой подвижки льда, портящей переправу, начинается и полный ледоход. Сталкиваясь и звеня, двинутся книзу ледяные поля с зимними вехами, клочьями сена и примерзшими бревнами. В узких местах реки льдины напирают одна на другую, самые крайние из них громоздятся на берега, пропахивают огромные борозды, под корень срезают кусты и деревья. Мутная вода прибывает и поднимается с каждым часом, течение становится все быстрее. Пена, старые листья, хворост, осколки льдин, ныряя в водоворотах, словно вперегонки мчатся мимо берегов. А весеннее солнце сверкает на льдинах и открытой воде, на пятнах последнего снега, на желтых цветочках мать-и-мачехи. Еще зимним холодом тянет от реки, а над согретыми холмами уже вьется теплый душистый пар. Гремят в перелесках дрозды и зяблики, звонко, празднично кричат над рекою чайки. Тут и для нас, рыбаков, наступает праздник.

Шум сталкивающихся льдин и быстрое течение выгоняют рыбу из глубоких ям, где она проводила зиму. Поближе к берегу, где вода теплее и течение медленнее, прибываются даже крупные донные рыбы, летом скрывающиеся на глубине. Подходит толстоспинный полосатый судак, остроносая стерлядь, красноперый язь, крупный золотистый лещ, не говоря уже о мелочи, которая почти весь год держится на отмелях у берегов. Широкооротый, черный и скользкий налим, летом скрывающийся под камнями и корягами, с весны еще подвижен и боек, как зимой, когда он мечет икру на каменных перекатах. Пока вода свежа, наλίма можно застать у самых берегов. Покрытые слизью колючие ерши, сверкающие перламутровыми красками нарядные окуни, красноглазая плотва собираются стаями в тихих заливчиках за кустами, в ямках ниже обмелевших льдин, в омутах за камнями. Рыба, еще сонная после зимовки, почти ослепленная глинистой мутью половодья, хорошо попадает в разные сетяные ловушки.

Ледоход самое лучшее время и для ловли наметкой — широким сетяным сачком на длинном легком шесте. Занесешь сачок над

водой метров на пять от берега, разом опустишь его до дна и протянешь по дну к себе, налегая шестом на плечо. Вынешь наметку — засверкают в ней льдинки, серебристые ельцы и плотички, черной змейкой закрутятся налим. Иной раз ввалится такая щука, какую летом и в бредень не сразу поймаешь. Хорошо попадутся раки; рыба идет всех пород, какие только встречаются в реке.

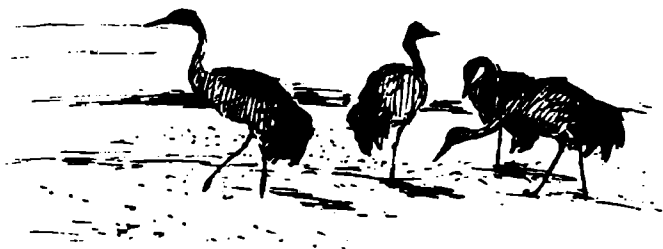
При ловле в ледоход тянешь наметкой в мутной воде и до последней минуты не знаешь, какую добычу подарят речные недра. Иногда десять и двадцать раз закинешь сетку без толку, а потом попадешь на удобную яму или тихий омут, и каждый заброс приносит уловы. Бывают такие места, куда рыба подходит непрерывно; стоишь тут час, два и черпаешь добычу, как из переполненного садка. Все же обычно приходится много бродить вдоль берега. Сырая глина разъезжается под ногами, холодная вода просачивается в сапоги, длинный мокрый шест вдоволь наминает плечи. В полдень сядешь отдохнуть на пригреве, разложишь костер из душистых таловых веток, начистишь рыбы, бросишь в котелок луковку, и вот она — кипит первая весенняя уха!

Хороша эта первая уха! Ласково греет рыбака весеннее солнце. Вереницами проплывают мимо мелкие льдины; вороны важно расхаживают по их голубой ноздреватой поверхности. Кряковой селезень рядом с буровой уткой отдыхает на краю ледяного поля. Медленно поворачиваясь, оно уносит их к востоку. Река сверкает; в голубой дрожащей дали тает полоска леса, плывут над нею к северу длинные косяки гусей...

## 5. НОЧЬ С ЖУРАВЛЯМИ

...Летом я отрешился от правила возвращаться на ночь домой и стал ночевать где попало, где застанет темнота, — и это ощущение полной несвязанности придавало моим скитаниям особенную прелесть.

Однажды я ушел дня на два на Волгу. Вечером наловил рыбы, сварил уху, в сумерках поужинал и пошел дальше искать ночлега: берега были все широкие, неудобные. Смеркалось. Насту-



пила тихая, теплая летняя ночь. Издалека квакали лягушки. Закружились летучие мыши, затрепетали белые поденки. Под босыми ногами — влажный, прогретый солнцем речной песок. Берег стал уже, вплотную к реке подошли белые песчаные обрывы. Обнаженные корни ив черными плетями спускались вниз. Среди них я нашел небольшую ямку, повертелся в ней, уютно устроился и сразу заснул.

Перед рассветом стало холоднее, роса меня разбудила, и вдруг в утренних сумерках я услышал разговоры журавлей. Справа и слева было слышно тихое «трру-трру», какое-то притопывание, одиночные взмахи крыльев — птицы, видимо, просыпались и расправляли свои окоченевшие члены. И вот в предрассветной мгле раздался полный, торжествующий журавлиный крик. Гул крыльев — и одна за другой стали подниматься большие птицы. Стая медленно построилась и полетела за Волгу на поля гороха.

Я понял: моя ночевка была на длинной косе, где обычно ночевали журавли — и эти осторожные птицы не подозревали о таком соседстве.

## 6. «МИКРОБ» КОЛЛЕКЦИОНЕРСТВА

Не помню точно, с какой поры, во всяком случае довольно рано, влечение к коллекционерству начало наполнять мои дни. Подобно эпидемии кори или скарлатины, в определенном возрасте страсть к собирательству охватывает большинство мальчиков. Девочки почему-то меньше подвержены этому беспокойному недугу. Городские ребята азартно охотятся за редкими почтовыми марками, наклейками спичечных коробок, стальными перьями и тому подобными изделиями рук человеческих. Дети сельских местностей и малых городов собирают жуков, укладывают на вату разноцветные яички птиц.

Я начал с коллекционирования бабочек. Это не было научным занятием, как мне тогда казалось, хотя я всегда стремился узнать точное название каждого вновь пойманного вида. Бабочки были милы бесконечным разнообразием красок, тонкостью линий, изысканностью рисунка нежнейших крылышек. Сухие и неподвижные под стеклом коробки, они чудесным образом хранили очарование знакомых лугов, тенистых рощ и больших оврагов, столь обильных на моей родине. Зимним вечером, под тусклым светом керосиновой лампы так загадочно и красиво мерцали фиолетовые «глазки» на крыльях павлиньего глаза, синим пламенем горела верхняя сторона крыльев анутоуры и каплями живой росы светились блестящие перламутровые пятна большой перламутровки.

Стоило взять эту коробку с верхней полки шкафа — и сами собой, каким-то непонятным волшебством, в памяти начинали возникать солнечные дни, оживали воспоминания. Мне чудился

иногда даже шум листвы, а сквозь запах керосиновой лампы пробивался сочный аромат волжских лугов. В этом сложном хоре воспоминаний каждая бабочка вела свою музыкальную партию, как скрипки, альты, виолончели в большой, тонко разработанной партитуре. Теперь мне кажется, что бабочки были мне милы не сами по себе, а как символы чудесных месяцев года и многих любимых мест.

Маленькая нежная аврора оранжевыми кончиками крыльев живо напоминала о тенистых оврагах и дорожках Марьиной роши в теплые дни мая, почему-то о тонких и нежных листочках кислицы, которая цветет в это время. Бархатисто-темная траурница с синими пятнышками и палевой каймой по краям крыльев — это самая ранняя весна. Сугробы снега в тенистых местах, всюду лужи воды и ручьи, запах пересыхающего прошлогоднего листа на поляне и шорох первой ящерицы у большого дуплистого пня. Траурница сидит у солнечной тропинки и медленно складывает и раскладывает свои нарядные крылья. Эти плавные движения крыльев мне казались тогда знаком удовлетворения, радости и блаженства — тех самых чувств, что испытывал и я в первый теплый весенний день, на согретой солнцем поляне, лицом к синему небу и белым облакам, под которыми плавно покачиваются ожившие ветви берез. Крушинница — живой осенний лист. На каждом желтом крыле по розовой точке, брюшко и грудь — в белом атласном пушке. Это тоже ранняя весна или солнечные дни поздней осени. Медлительный белый аполлон с черными пятнами и двумя красными глазками на крыльях — жаркие дни разгара лета, большие поляны и вересковые пустоши в сосновых борах, запах смолы, земляники, хруст пересошего ягеля под ногой.

Моя коллекция бабочек просуществовала недолго. Однажды, вернувшись осенью в город после каникул в деревне, я увидел, что какие-то мелкие насекомые превратили в труху сухие тела большинства бабочек. Поломаны были крылышки, усики и ножки. Случались и раньше нападения вредителей на мои сборы, но это был полный разгром коллекции. Я понял, что без хороших ящичков с плотными крышками, без проклеивания шелей и применения отпугивающих веществ хранить коллекцию невозможно.

Позже у меня была большая коллекция яиц. Каждую весну я лазил по деревьям и разыскивал все новые и новые гнезда. Штаны были вечно порваны, руки и ноги изодраны, а сам я не замечал, как проходила весна, как краснели сережки осины, разворачивались клейкие листики берез и постепенно смыкался зеленый полог нового летнего леса. В коллекции уже были яйца редких видов — сарыча, коршуна-чеглока, но маленького яичка красногрудой зарянки я никак не мог достать: просто не попадалось ее гнездо.

Весна подходила к концу. Цвели ландыши. Среди молодой зелени смешанного леса играли веселые солнечные блики. Я собирал цветы. Нагнувшись за ландышем, у самого комля ствола, я увидел внимательные черные глазки, остренький клювик и



оранжевую грудку сидевшей на гнезде зарянки. Я запустил руку в дупло, подсунил пальцы под горячее брюшко птички и нащупал под ней маленькие яйца. Но гнездо было глубоким, и я не мог выкатить нужное мне яичко. Птичка смотрела на меня немигающим взглядом, и ее маленькие лапки судорожно цеплялись за край гнезда, когда я, рискуя раздавить яйца, хотел приподнять ее. Я шекотал зарянку соломинкой, всячески пытался сдвинуть ее с места, но безуспешно. Птичка еще плотнее прижималась к гнезду, и на меня смотрели все те же неподвижные черные глазки.



Зарянка

Маленькая птичка оказалась сильнее меня и я, посрамленный, отошел от гнезда. Мне было досадно — ведь мог же я прямо стащить ее и взять одно яйцо. Подумав, я даже вернулся обратно, но среди натоптанных мною тропинок и помятой травы не смог вновь найти гнездо.

Зарянка, вероятно, благополучно высидела своих птенцов, а стойкость этой маленькой птички навсегда осталась в памяти. С этого времени я стал больше следить за самими птицами и их жизнью и постепенно перестал интересоваться коробкой с пестрыми скорлупками.

## 7. КНИГИ И МУЗЕИ

Я рано начал задумываться над тем, что видел вокруг. Перелеты стрекоз, жизнь подводного царства речки Валовы, в которой водились нарядные красноперки и золотые лини, законы речных течений, заставлявших кружиться водовороты и змеевидно извиваться длинные пряди водорослей, песни птиц — все это было так чудесно, полно таинственного значения. Книги, научные книги, могли бы открыть мне многие загадки и тайны. Но с книгами в нашем доме было очень плохо.

Отлично помню, как тетя Настя (она была школьной учительницей и рано умерла) однажды выведывала у меня, какой подарок я хотел бы получить ко дню рождения. Книгу, книгу о птицах и зверях, рыбах и насекомых! Никогда до этого, да и позднее, я не ждал с таким нетерпением этого февральского дня, в остальном ничем не примечательного. И вот он настает, день моего рождения; новенькая книжка в плотном переплете, приятно

пахнувшая типографской краской, у меня в руках. Открываю одну страницу — там крот в очках, на нем фартук и большие ножницы за поясом. Он, видите ли, портной и разговаривает со своей за-казчицей — полевой мышкой, которая стоит перед ним, кокетливо играя зонтиком. А под картинкой глупые стишки — перевод с немецкого! Спешно пробегаю по другой странице. Все то же! Рога-тые козлы, заправски взмахивая косами, заготавливают сено, ля-гушки поют хором, разложив на болотных лопухах нотные листки, и т. д. и т. п. Мне было тогда лет семь-восемь, но воспоминания о жгучей горечи разочарования живы до сих пор. Хотелось швыр-нуть книжку под шкаф, срывая острую досаду, но нужно было сдерживаться, чтобы не обидеть добрую тетю Настю. Я низко склонился над оскорбительными страницами, скрывая краску, за-лившую мое лицо, и слезы, готовые хлынуть на козликов и лягушек.

Второе разочарование постигло меня по собственной вине и в более поздние годы — уже во времена звероловства. На столе старшего брата я раз увидел толстую книгу: И. С. Тургенев «Записки охотника». Посмотрел оглавление: «Хорь и Калиныч». Вот удача! Сейчас узнаем, как живут хорьки, а Калиныч — на-верное, охотник. Все секреты охоты за зверьками разведем! Увы, Хорь оказался обыкновенным мужиком, а Калиныч... — о нем и говорить не стоит. Даже мастерское описание тяги вальдшнепов не смогло примирить меня тогда с книгой, оцененной лишь годы спустя.

Так я и блуждал во тьме, без наставников. Отрадным светлым пятном была только небольшая книжка М. Н. Богданова «Из жизни русской природы»\*. Как живо она написана, как хорошо переданы чувства мальчика — ловца синиц и охотника за зайцами! Но что значит одна книжка, если в ней не описано и сотой доли живых существ, знакомых мне издавека и поверхностно? Помощь пришла неожиданно. Я узнал о Естественнo-историческом му-зее.

Одноэтажный деревянный дом на углу очень тихой улицы, поросшей зеленой травкой. Большие окна, закрытые плотными шторами, маленькая вывеска над крыльцом: «Естественнo-истори-ческий музей Нижегородского губернского земства». Таков был внешний вид учреждения, сыгравшего в моей судьбе едва ли не решающую роль. В городе мало кто знал о самом существовании музея и уж совсем никто не говорил о его экспонатах. «Мы ленивы и не любопытны», — сказал Пушкин о русских более ста лет назад; в дни моей юности это было абсолютно верно по отно-шению к моим землякам-горожанам. Школьные экскурсии, столь привычные для нас теперь, в то время только входили в моду и чаще посещали другой — Исторический музей. Он уютился в одной из башен старинного кремля, на высокой горе над Волгой. В башне хранились ржавые мечи и кольчуги воинов, бившихся с татарами, полуистлевшие грамоты, старинная утварь, планы и рисунки построек, давным-давно исчезнувших с лица земли.

Древняя слава родного города, долгие века простоявшего над Волгой верным сторожем восточных границ Московского царства, витала над темными сводами этой башни. Казалось, сами сырые стены ее были готовы что-то поведать бесстрастным медлительным языком летописей.

Не знаю, любил ли я тогда этой музей, но бывал в нем довольно часто. Мне стало знакомо и чувство полета в прошлое — этот сон наяву, сладкий и страшный одновременно, и мурашки, пробегающие по спине при виде шишака, пробитого смертоносным ударом, при взгляде на острые кремневые стрелы и каменные топоры, тысячи лет пролежавшие в земле. Какие руки шлифовали этот топор? Кто был тот позабытый воин, рухнувший с пробитым шишаком? Как загадочно, таинственно и страшно это неведомое прошлое. Черные, тяжелые кандалы и вериги, очень много кандалов, ржавчина, похожая на кровь, запекавшаяся на древних орудиях пыток. Их нельзя позабыть; они оставляют в памяти неизгладимый след. Старые полустлелвшие знамена, витрины с монетами, тихая старушка-привратница у входа, и вот — я на воле.

Как тепло и солнечно это июньское воскресенье! Зеленые липы в полном цвету. Они склонились гибкими ветвями над старой поросшей мохом, потрескавшейся кремлевской стеной; все вокруг полно их тонким запахом. За светлой Волгой, за молодой зеленью пойменных лугов с их озерами и легким туманом, в безбрежную синеву уплывают необозримые леса Заволжья. Леса керженские, чернораменские... Леса древних раскольничьих скитов и Мельникова-Печерского, темные сумрачные ельники и светлые торжественные боры, большие моховые болота с голубикой и узорными коврами мхов, где мой отец в молодые годы гонялся на лыжах за северными оленями. Мне еще долго ждать того дня, когда заветное лесное царство будет моим, но десятью годами позже с ружьем и котомкой за плечами я прошел этот край из конца в конец. Кряжистые бородачи-лесники кормили меня ухой из керженских окуней и ласковыми прибаутками высыпали богатую порцию своих знаний леса и его обитателей. Диковатые и робкие белоголовые ребятишки водили меня неведомыми тропинками к глухим озерам, где бесшумно ныряют выхухоли и совсем еще недавно водились бобры.

Древние старушки в Оленевом скиту рассказывали, как наезжал сюда Мельников-Печерский «чинить разорение» прятаясь по лесам раскольникам\*. Глухая и милая лесная сторонushка! Тихие заводи твоих черных речек, окающий говор твоих людей и вечный шум лесного моря были музыкой моего раннего детства. Я помнил о вас и в пустынях Монголии, и в туманах Тихого океана, и в горький свой час на войне.

Почему ярки и неизгладимы ранние воспоминания о родных местах? Безотчетное, неуловимое и живое чувство связи с ними укрепляется и ширится с годами, но ростки его появляются в детстве. Знал ли я тогда, что значит любовь к родине? Едва ли,

да и смутился бы очень, если бы кто-нибудь заговорил со мной об этом. Просто, я рос на приволье сначала в приволжском селе, потом в старинном городе над той же рекой; много бродил с удочкой под ласковым летним ветром и впитал образы знакомых мест, как корни дерева впитывают влагу почвы. У рыболова удочкой заняты только глаза и руки, остается много времени для размышлений.

Туркмены говорят, что у зайца родина — тот холм, на котором он появился на свет. Моя родина была много больше любого холма. В свои десять-двенадцать лет я уже стремился лучше узнать ее, но без надежного руководителя это было невозможно. Естественно-исторический музей и стал на ряд лет моим молчаливым, строгим и верным наставником в этом деле. Маленькие залы деревянного домика почти всегда были безлюдны, полны музейных запахов и печальной тишины, особенно заметной там, где сотни птиц за стеклами шкафов застыли неподвижными рядами.

Единственный сторож музея — суровый отставной солдат, не отрывая глаз, издали следил за посетителями. Его пристальный взгляд казался сердитым и долго сверлил мне спину. Невольно шаги мои в этом храме науки звучали осторожно и робко. Стараясь не скрипеть башмаками, я проходил через отдел геологии и полезных ископаемых, мимо ящиков с глинами, известняками, мимо геологических карт и потемневших мамонтовых бивней, сложенных стопкой, подобно половинкам огромных баранок. За отделами геологии, климатологии и почвоведения шли залы с фауной и флорой нашей губернии. Здесь я торчал целыми часами, любуясь, мечтая, упиваясь, томясь... Вот в маленькой витрине белый-белый заяц притаился среди искристых снежных сугробов. Мерзлые ветки осины свисают над его логовом, снег с них осыпался, когда заяц ложился на отдых. А рядом, за другим стеклом, тот же вид зайца, но в летнем меху — рыжевато-бурый ком, прижавшийся к дубовому пню, покрытому пестрым узором лишайников. Крошечные крапивники копошатся среди больших опавших дубовых листьев; бекас запустил длинный нос в жидкую грязь болотца. Влажные блики ила, лужицы воды, следы клюва и ног бекаса — все передано с удивительной точностью и простотой. Я воспринимал это, как подлинные картинки природы, то уносясь мечтой в зеленые лесные чащи, то видя перед собой запорошенные снегом глубокие овраги, с трех сторон окружавшие наш город. Тогда мне и в голову не приходила мысль, что скоро я сам стану сотрудником этого музея, участником большой краеведческой работы. Каждое посещение музея давало новые знания: в чучелах я легко узнавал виды птиц, уже знакомых по голосу и повадкам, но не известных мне по научному названию. В моих записях они значились под условными именами «белохвосток», «желтогрудок», но, для того чтобы когда-нибудь прочитать о них в книгах, нужно было отыскать их общепринятые названия.

Коллекции музея были в образцовом порядке: птицы и звери искусно отпрепарированы, стекла витрин прозрачны и чисты, этикетки написаны четким почерком. Просмотрев эти коллекции, любознательный человек мог ознакомиться и с видовым составом животных, населяющих губернию, и с их распространением. Большинство чучел сопровождалось сведениями о том, в каких местах губернии найден тот или иной вид животного и чем он интересен. Неведомые заботливые руки пополняли, берегли и украшали музей. То и дело в витринах появлялись новые чучела самых редких птиц и зверей края. Они оттесняли своих более обычных родичей, уже давно обосновавшихся на полках, и занимали свое место в строю. Видимо, кто-то ездил в далекие уголки губернии и зорким глазом отыскивал то, что еще не было найдено и взято на учет. Быстро росли серые стопки гербарных листов, заполнявших большие шкафы, в залах появлялись то новые карты и картограммы, то снопы льна-долгунца и образцы сорных растений.

Казалось, целое научное общество раскинуло сеть своих ячеек по обширному краю и в тесных залах музея стремится, как в маленьком зеркале, отразить разнообразную природу губернии, ее богатства, дожди, урожай и засухи. Но общества никакого не было, был всего один человек; звали его Николай Александрович\*. Были совсем незоркие, близорукие глаза под старенькими очками и великая любовь к делу, дававшая этому болезненному человеку силы десятилетиями преодолевать людскую косность, проливные дожди осенних пешеходных экскурсий и горечь неуютной холостяцкой жизни.

Говоря обывательски, он был недоучившийся студент; когда-то слушал в Петербургском университете курсы профессоров Шимкевича и Холодковского\*, занимался в Ботаническом саду. Потом поехал на летнюю практику на свою родину, увлекся работой в музее да так и не вернулся в аудитории. Нечасто встречаются люди с такими широкими знаниями, какими обладал Николай Александрович. Он помнил отличия, названия и места произрастания многих тысяч растений и столь же хорошо знал жизнь рыб, птиц и зверей. Он знал все интересные уголки Поволжья. Начав изучение края в конце XIX века, в свои студенческие годы, он отдал этому делу пятьдесят лет подвижнической жизни. Фауна и флора обширного края были им изучены с такой полнотой, какой могут позавидовать области, многократно посещавшиеся знаменитыми учеными. Богатый гербарий и зоологические коллекции, которые он собрал, сейчас составляют гордость музея недавно открытого Горьковского университета. Чудаковатый, по-детски простой и



беспредельно скромный Николай Александрович не думал об ученой славе и недостаточно заботился о публикации своих исследований. О своих интересных находках и наблюдениях он не напечатал почти ни строчки, но каждая экспедиция, приезжавшая в этот край, пользовалась его сведениями, советами и неизменно обогащала свои печатные труды. В маленькой комнате при музее, куда вел черный ход со двора, среди шкафов, заставленных книгами, столов заваленных гербарными листьями, среди тушек птиц, птичьих гнезд и баночек с образцами семян находилось то, что можно было бы назвать штабом музея. Впрочем, штаб этот больше походил на берлогу...

## 8. ПО ДОРОГЕ В ГИМНАЗИЮ

С детства у меня сложилась привычка: куда бы я ни шел, по делу или без дела, все посматриваю внимательно — вперед и в стороны, вверх и вниз. Не то чтобы ворон считаю, а так — слежу понемножку за всем вокруг и часто замечаю разные интересные вещи.

Бывало, по дороге в гимназию чего только не высмотришь! А жил я в большом городе и ходил по очень длинной, прямой, как стрела, людной улице\*. Громяхая и позванивая, тащилась по ней конка, ползли обозы с сеном, пенькой и кожами из деревень Поволжья. На этой улице утрами по свежему снегу встречались следы хорьков. Однажды я видел ласку, которая посматривала на прохожих из норки под забором. Много раз наблюдал, как ястреб-тетеревятник среди домов и сараев ловко хватается галок, тащит потом на завтрак в большой запущенный городской сад. Раз натолкнулся на такую загадочную картину: сидит на панели сотня ворон в одну линию, метров пятьдесят длиной, и долбит носами по грязному утопанному снегу. Присмотрелся: оказывается, нес кто-то масло, оно вытекало на дорогу тонкой стружкой. Вороны сидели вдоль следа человека и глотали снег, пропитанный маслом.

Весной и осенью над городом тянулись стаи перелетных птиц. Взглянешь мимоходом на голубое небо над домами, а там высоко, блестя на солнце крыльями, плывут к северу вереницы гусей и серебристых длиннокрылых чаек. Прислушаешься вечером — через шум города долетают с вышины громкие посвисты кроншнепов, гогот гусей, крики пролетных куличков. Так, не выходя в поле, по дороге в школу и обратно можно было наблюдать за перелетом птиц. Как-то осенью на перекрестке улиц я нашел мертвого коростеля. У птицы не было ни следов лап хищника, ни ран от выстрела. Лежал коростель под телеграфными проводами — видимо, туманной ночью разбился о них на лету. Уже тогда я перестал верить рассказам о том, что коростели отправляются на зимовку пешком.

У меня был дневник, и в нем множество наблюдений, сделанных по дороге в гимназию. Оказалось, что в большом городе можно наблюдать несколько десятков видов птиц, среди них даже таких, как вальдшнеп, козодой, болотная курочка, кукушка и пролетающие в вышине лебеди.

Привычка наблюдать на ходу, в любой обстановке очень мне пригодились потом, когда я стал научным работником. Теперь я часто собираю нужные мне сведения даже из окна поезда или из автомобиля, по пути к месту экспедиционной работы. А ездить приходится много, за лето иной раз недели две-три проведешь в поездах. Наблюдаешь из окна за птицами и зверями, за следами на снегу — и ехать веселей.

## 9. КАЖДЫЙ ГОД

...Такою же мечтой  
Душа полна, как и в былые годы,  
И так же здесь заманчиво со мной  
Беседует таинственность природы...

(А. Майков\*)

Каждый год, когда узкие полоски дорог, пересекавших застывшую поверхность Волги, становились бурными и синеватый лед проглядывал сквозь снег, разъеденный оттепелями, приходила желанная и трудная пора весенних забот, радостей и волнений. Учебный год к концу, все ближе экзамены, а тут — такая сумятица на душе, такая тоска по воле! Весенняя капель, падая с крыши целыми днями барабанит по наличникам окон; ночью отчетливей, чем днем, слышно, как журчит снеговая вода в водосточных трубах и гремят по железу падающие сверху ледышки. Это весна прилетела с юга на крыльях влажного ветра. Темные ветви осокорей бережно качают мокрые шапки грачиных гнезд, но они еще пусты — грачей нет. А скоро будут; считанные дни остаются до обычной даты их прилета. Зашумят на большом грачевнике, что у перевоза через Волгу, и гомон птиц сольется с шумом паромов, стуком пароходных колес и криками лодочников.

В сыром воздухе кажется уже начало пахнуть Волгой — речной свежестью с примесью мазутного дыма пароходов. Далеко-далеко над затоном, у левой луговой стороны, где пароходы и баржи тесною пестрой толпой сгрудились на зимовку, тянется по серому небу несколько полосок дыма. То пробуют топки на пароходах — проверяют качество ремонта. Видно, и там готовятся в неблизкий путь.

Все чаще, не заходя домой, я пробираюсь после уроков за город, чтобы хоть краем глаза взглянуть на ближайшие поля и овраги. Весенняя распутица крепко закрывает все пути к дальним любимым местам. Под скользким слоем навоза, накопившимся за зиму, тянутся длинные ледяные горбы проселочных дорог. Справа

и слева от них — зернистый ноздреватый снег, переполненный водою, жидкий кисель разбухших пашен, большие ручьи и речки, целые озера весенней воды — «снежницы». В низинах накатанный лед дороги насквозь пробит ногами лошадей; желтая вода доверху наполняет «просовы» — глубокие конские следы. Предательские лужи тут и там замаскированы сверху густым крошечным снегом и льда. Плохи дела в эту пору, коли нет надежных высоких сапог. Но искушений, соблазнов слишком много, и холодная вода каждый день хлупает в моих галошах, заглядывая во все дырки башмаков.

Ведь нужно вовремя заметить первые цветы мать-и-мачехи, встретить прилет грачей и жаворонков, не прозевать речных чаек. Первая задача — заметить день появления грачей — дело не трудное. И ходить далеко не надо — сами к городу прилетят. Три-четыре дня подряд навещаю грязные городские окраины, торные дороги и свалки. Мокрые, неряшливые вороны бродят по серому снегу. Мусорные кучи, потемневшая солома, вмерзшие в снег дохлые кошки — неприглядные черты задворок большого и не слишком благоустроенного города... Всматриваюсь в птиц, слушаю внимательно и настороженно. Ветер шумит в ушах и доносит то далекий лай собак, то нескладный хор ворон и стрекотание сороки. И вдруг долетает до слуха сначала слабый, а затем все более ясный, такой долгожданный, тревожно-радостный крик первого вестника весны. Каким нарядным кажется при этой встрече черное, атласное оперение грача, его фиолетовый и синеватый блеск. И крылья у грача длиннее, и полет как-то легче, красивее, чем у галок и ворон, примелькавшихся за зиму. Первый весенний грач, с достоинством и осторожностью шагающий по грязной дороге, выглядит как заморский гость среди серых толп деревенских родственников — привычных галок, в истрепанном за зиму оперении, и грубоватых ворон. За первыми грачами дня

через три-четыре следует их валовый прилет, а там уже время поджидать скворцов и полевых жаворонков, потом трясогузок и зябликов, дроздов и зарянок.

Но наша ранняя весна капризна, робка и нерешительна. Иной раз после нескольких теплых дней повалит густой снег и вновь повеет зимою. Или ночные заморозки возьмутся, неделя за неделей, сдерживать таяние, так что по утрам лишь кое-где сочатся небольшие ручейки. Иногда голодным грачам и скворцам приходится очень туго, и поздние снегопады погребают трупы истощенных птиц. Такая весна бывала

Мать-и-мачеха





для меня сущим мучением, сбивала с толку, выводя из привычной колена наблюдений.

Теперь меня как раз больше интересуют не обычные дружные весны, а именно такие аномалии, как говорят фенологи, те жестокие эксперименты, которые ставит сама природа. Но в далекие юные годы весна была прежде всего любимое время года, а не специальный период научных работ. Тогда я как-то особенно ярко воспринимал неудержимое нарастание сил природы, все маленькие и дорогие приметы весны, пожалуй, ничего не значащие для человека равнодушного или слишком городского. А из всех примет были милее других и навсегда такими остались — первая песня жаворонка, звонкое «тиньканье» ранних зябликов в лесной опушке, далекий, бодрящий, полный влюбленности рокот тетеревов.

Когда в радостном ожидании новых гостей весны, бродя по проталинам или спеша на уроки, сквозь городской шум я улавливал, наконец, еле слышные трели пролетного жаворонка, душа замирала во мне, я останавливался, затаив дыхание, чтобы не упустить волшебных звуков. Маленькая, еле заметная точка, покачиваясь и трепеща в высоте, с песней уносилась к северу. Песня становилась все тише, все слабее и вместе с ней что-то праздничное наполняло меня до краев, как весеннюю почку, готовую раскрыться. Большими прыжками теленка, впервые выпущенного на луг, я перескакивал тогда через лужи, подбрасывал вверх фуражку и даже кричал ура в честь весны и жаворонка, если никого из людей не случалось поблизости.

В эту пору даже в стены гимназии просачивались вести о том, что творится на воле. В моем классе и в параллельном учились несколько заправских птицеловов — любителей певчих птиц. Прилет зябликов, первая песня овсянки для этих ребят, как и для меня, значили гораздо больше, чем переводы Цицерона или латинские неправильные глаголы. «Слушай-ка, Ванька, я сегодня жаворонков слышал». — «Вот здорово! А Петька Кузнецов вчера трех лебедей видал. Над Волгой пролетали... А по реке все закраины да полыньи...» — «Вчера, говорят, два мужика с лошадьми потонули; ей-богу, правда! И переправы скоро не станет — дня через два подвижка льда будет». — «Ну уж и через два. Скажи лучше через неделю». — «Как лед пойдет — мы с наметкой за рыбой». — «А у нас лодку вчера смолили». И пойдут гулять по классу весенние разговоры.

Впрочем, из всех гимназистов один только я наблюдал за весной и прилетом птиц внимательно и постоянно, насколько позволяли школьные занятия. В плавной смене времен года, в неуклонном вековечном ритме сезонных явлений была для меня особая притягательная сила, что-то большое, захватывающее и по-своему поэтичное. Начав увлекательный труд летописца природы более тридцати пяти лет назад, я уже потом не мог его оставить.

В свои определенные сроки журчали и пенились ручейки, наполнялись водой овраги, и Волга, сбросив зимние оковы, уносила

к низовьям бесконечные ледяные поля. Дымился теплый пар над южными склонами холмов, где снег сходит уже в половине марта, и солнышко спешило просушить мои дороги к дальним оврагам, болотистой долине реки и к маленьким безымянным озерам. Алые ростки конского шавеля, как острые наконечники стрел, торчали из темных колпачков кочек. Пробуждались от спячки лягушки и первые ящерицы, черно-синие жуки-навозники, а ранняя осочка показывала над землей темные колоски. В глубоких бороздах близ межей вытаивали из снега круглые гнезда полевок; вороны раскидывали траву этих гнезд в поисках мышей, погибших за зиму. Хомяки, уничтожив зерно в своих подземных закромах, начинали покидать норы, выходил и сам старый барсук — владелец большой норы в вершине оврага «Дальние мостищи». В обычный срок я поворачивал налево от речки к кустарникам Мостищ, внимательно осматривал сырую глину троп, пересекавших выгоны. Голопятые, словно оставленные босой ногой, следы барсука, глубокие черточки, оставленные когтями, пересекали тропы во многих местах. Это означало, что старый знакомый окончил зимний сон и снова бродит по тем же местам, что и в прошлом году. В оседлости этого зверя, постоянстве его привычек я видел черты особой прочности и долговечности распорядка барсучьей жизни.

Нора барсука, его переходы и календарь, по которому он жил, были мне известны достаточно полно. Охотничий участок барсука — его «владения» — составлял часть моих «любимых мест» и, по правде сказать, я считал этого зверя тоже до некоторой степени своим. Боюсь только, что наши взгляды на этот счет несколько расходились. Во всяком случае, барсук упорно

Барсук



избегал более близкого знакомства. Мне так и не удалось с ним повстречаться: одинокий, необщительный зверь был очень чуток и осторожен. Он выбирался из норы только затемно и возвращался в ту же ночь перед рассветом. Чтобы подкараулить скрытного отшельника, нужно было бы заночевать в овраге, а я в те годы не мог этого сделать, да и родители вряд ли разрешили бы мне такое дежурство. Как бы то ни было, я считал, что узы давнего знакомства связывают нас с барсуком и его соседом, жившим в отдельной лесной норе километров в двух к югу от Мостищ.

Я был сильно огорчен, когда однажды весной долго не удавалось отыскать знакомых когтистых следов. Потом вдруг натолкнулся на мокрый сплюснутый труп барсука, вытаявший у наледи на кочковатом болотистом лугу. Наверное, собаки задушили барсука еще осенью и оставили на месте схватки, близ болотца, где много лет подряд он промышлял лягушек. Очень было жаль, что пропал без всякой пользы этот крепкий и ладный зверь. Долго я стоял над ним, разглядывая толстые черные лапы с красиво изогнутыми длинными когтями, белые и черные полосы головы, короткие прижатые уши. В застывшем оскале стертых желтоватых зубов было что-то суровое и одновременно жалкое. Труп уже начал разлагаться. Нечего было и думать сохранить шкуру. Я завалил его старой травой и торфяными кочками. Летом густая иссиня-зеленая осока скрыла под своей сенью маленькую могилку.

Из года в год к пятому апреля возвращались с юга чибисы, посещавшие болотистую долинку близ двух озерков. Иногда чибисов было две-три пары, чаще — четыре или пять. Их гнезда располагались далеко одно от другого на совершенно открытых местах: то на лугу, на маленьких кочках выгона, то прямо на пашне, около кучек полуистлевшей ботвы картофеля. Черно-белые, подвижные, крикливые и осторожные чибисы очень оживляли долину. Их я тоже считал «своими». Они всегда вылетали мне навстречу со звонкими криками «чи-вы, чи-вы...», а самцы кувыркались высоко над моей головой, словно приветствуя гулом крыльев, ловкими поворотами на лету. Шум речки вторил уханью их крыльев, а грязные лужи сверкали так празднично и нарядно! В свои урочные сроки эти лужи наполнялись студенистыми гроздьями лягушачьей икры, а потом черными стаями головастиков.



След барсука

Серые низкие тучи ранней весны сменяло яркое небо, и пышные кудрявые облака поднимались вверх с восходящими токами нагретого воздуха. Белоснежные, ослепительно чистые, они плыли над присмирившей, вошедшей в берега речкой и грязными пашнями, широко раскинув лебяжьи крылья, круто выпятив белую грудь. Теплые дожди повисали прозрачной косой сеткой между полями и дальним лесом, перекидывали за Волгу легкие, многоцветные мосты радуги. Вереницы гусей-гуменников с тихим говором гоготанья, колыхаясь, уносились на север в этой тонкой сетке дождя, в тумане медленно поднимающихся испарений. Ранняя зелень пробивалась тут и там. Сырые низинки на косогорах издали казались уже совсем зелеными. Потом стада наполняли шумом ранние выгоны, пахари появлялись на ближних и дальних полях; влажно поблёскивая, темнели первые полосы поднятой земли. Прилетали горихвостки и пеночки, мухоловки и славки. К старым гнездам под застрехами сельских домов возвращались ласточки-касатки и щebetали над ульцами.

А лес становился все зеленее, все наряднее, весь пропитанный песнями птиц и солнечным светом. Желтели чистяки и ветреницы, лиловые хохлатки и розовые медуницы всюду пестрели над сырым ковром старых листьев. Воздух все более наливался упонтельными запахами весны.

В эту пору каждый новый день приносил целые вороха событий. Глаза мои разбегались, ноги не знали отдыха, и башмаки не успевали просыхать. Новые невиданные силы пробуждались и все наполняли собою в чудесном весеннем мире. И могучую Волгу, на много верст раскинувшуюся в половеде, и быстрый рост трав, и буйный теплый ветер, мчавшийся с юга. Как часто бессильными, тусклыми, жалкими казались мне записи дневников — попытки отразить все это на бумаге. Но я упорно вел счет событиям и дням, искал нужные слова для передачи своих впечатлений.

Сейчас, перелистывая старые дневники, я нахожу немало ошибок, досадных пропусков и недоделок. Это записи начинающего любителя, плохо представляющего, что могут и должны дать фенологические наблюдения. И если теперь многое ясно в сроках, последовательности, причинах и внутренних связях явлений, то тогда приходилось двигаться вперед на ощупь, не имея нужных книг и советов знающих людей. Теперь зачастую я не просто наблюдаю, надеясь на удачу, которая даст возможность увидеть новое и интересное, а действую наверняка, обдуманно ставлю природе вопросы. И нередко заранее знаю, как и что она ответит.

Летописи природы ведут сейчас не только с целью сохранить для науки сведения о минувших событиях. Изучая прошлое, биологи получают возможность видеть далеко вперед, предугадывать многие явления в природе. Умение давать прогнозы, предвидеть, очень важно для сельского хозяйства и рыболовства, для борьбы с вредными животными и пушного промысла.

Если поздней осенью пролетные канюки-зимняки десятками кружатся над полями средней полосы страны и среди этих птиц много молодых, с темным оперением, я знаю, что в Архангельских тундрах этим летом было много леммингов-пеструшек. Зимняки хорошо размножаются только в годы обилия их основного корма — грызунов. Но в такие же годы хорошо размножаются и песцы.

Это значит, что в ближайшую зиму после осени с обильным пролетом зимняков, ненцы Большеземельской тундры добудут много белоснежных песцовых шкурок.

Когда бурые с белыми крапинками длинноносые сибирские кедровки полетят на запад через Татарию, Поволжье и Белоруссию, я знаю, что на Урале и в Сибири нет урожая еловых шишек и кедровых орешков. Кедровки улетают от зимнего голода. Голодно будет и белкам, но им не улететь в буковые леса. Белки вымрут, и года два подряд в тайге Сибири будут плохие заготовки беличьих шкурок.

Как лакмусовая бумажка служит указателем реакции раст-вора, так поведение некоторых насекомых, птиц и зверей может служить хорошим индикатором явлений, происходящих в природе. Я нашел и описал целый ряд таких живых индикаторов, а сейчас занят изучением влияния погоды и стихийных бедствий на изменения количества животных.

Известно, что после засушливых лет в степях нужно ждать «массового отрождения» саранчи и кобылок. Наоборот, в сырые, дождливые годы их бывает мало. Если морозно начало зимы, а снег еще не выпал, земля промерзает на большую глубину. В такую зиму погибает много кротов, землероек, ласок, «вымерзают» на полях мыши и полевки.

У нас разработана и совершенствуется целая система прогнозов, обслуживающих нужды охотничьего хозяйства и борьбы с вредителями. Прогнозами пользуются врачи-эпидемиологи; им важно заранее знать, есть ли опасность массового появления грызунов, распространяющих болезни человека. Заготовителям пушнины нужно заблаговременно заключить договоры с большим числом охотников и завезти для них побольше товаров в те районы, где ожидается хороший «урожай» пушных зверей.

Но в дни моей юности всего этого не было еще и в помине. Изучением сезонных явлений в те годы занимались лишь ученые-одиночки, да и у них круг интересов был очень узок. Я увлекся этими наблюдениями не потому, что они могли быть кому-нибудь полезны, а как-то невольно, без всяких ученых намерений. Записи накапливались незаметно, сами собой, и стопочка дневников росла, как муравьиный холмик, куда день за днем подтаскивают новые листики и хвоинки. Но однажды отец указал мне в газете «Волгарь» небольшую заметку, побудившую иными глазами посмотреть на мои занятия летописью природы. Газета перепечатала из столичного издания письмо петербургского профессора Д. Н. Кайго-

родова, адресованное «К любителям природы»\*. Помню, оно началось несколько старомодно: «По примеру прошлых лет, мы обращаемся и т. д.». Профессор занимался изучением фенологии, т. е. сезонных явлений и, в частности, весенним прилетом птиц. Для его сводок нужны были наблюдения из разных уголков страны. Я старательно переписал все, что имел по прилету, купил хороший конверт и, не сказав ничего дома, сдал на почту. Кажется, то было первое письмо, написанное мною в жизни. Ответ пришел скоро — желтоватый бланк с ровными рядами строчек, заполненных бисерным почерком. И внизу подпись «профессор Д. Кайгородов». Дмитрий Никифорович (так звали ученого) благодарил за присылку сведений и рекомендовал пользоваться для определения весенних цветов и бабочек изданными им «богато иллюстрированными книгами, написанными специально для любителей природы». В конце письма он «выражал надежду» на мое содействие в будущем. Увы, богато иллюстрированные книги были мне не по карману, а радость от полученного ответа — какой-то неполной. Письмо произвело гораздо большее впечатление на моих родителей, чем на самого получателя. Я почувствовал в ответе какой-то холодок официальности. Видимо, Кайгородов всем своим заочным сотрудникам писал на один манер. Моя догадка оказалась правильной: в последующие годы приходили письма с одним и тем же текстом, отпечатанным типографским путем. Только подпись профессора была от руки. Тогда это казалось немножко обидным, теперь же я знаю, какое огромное количество сведений нужно собрать для каждой фенологической сводки, как трудно отвечать всем корреспондентам и вести огромную переписку, не имея для этого специального секретаря. Письма с напечатанным текстом были просто извещениями о получении сведений, обычной данью правилам вежливости.

Четыре или пять лет я посылал сводки своих наблюдений в Лесной институт, где Кайгородов читал лекции. Потом я как-то охладел к этой односторонней переписке. Каждый год мои донесения уходили в Петербург, но что из них получалось, как обрабатывал их профессор, я так и не узнал. Только через десять лет, уже студентом университета, я нашел научные труды Кайгородова об изохронах весеннего прилета и пролета птиц. (Изохроны — это линии, соединяющие на карте географические точки, в которых, например, грач или аист появляются в один и тот же день.) На карте Европейской России изохроны, нанесенные Кайгородовым, тянутся параллельными рядами с северо-запада на юго-восток. При взгляде на такую карту легко угадывается поступательное движение птичьих стай, наступление всего весеннего фронта с юго-запада на северо-восток. Обрабатывая наблюдения для изохрон, Кайгородов подсчитал и среднюю длину перелета разных птиц за сутки. Зная эти цифры и получив телеграмму из Киева или Житомира о появлении первых пролетных уток, легко подсчитать, в какое время перелетный фронт достигнет Среднего Поволжья или района Вологды.

Когда в кружке натуралистов или на лекции по биологии птиц я демонстрирую карты изохрон Кайгородова, в памяти невольно воскресает узкий газетный столбец, начинающийся словами «По примеру перелетных птиц над поднятой к небу головой гимназиста. За строгой сеткой изохрон скрываются конденсированный труд самого Кайгородова и тысячи наблюдений его добровольных помощников. В этих линиях и точках есть маленький вклад и моих усилий — неровные строчки ребячьих записей, переплавленные в короткие научные формулы на лабораторном огне ученого.

## 10. ТРИ ЭПИЗОДА В ВЕСЕННИЕ ДНИ

В пору весеннего прилета и пролета пернатых часто случались неожиданные и приятные встречи с редкими птицами. Они останавливались на короткий отдых в укромных уголках моих любимых мест. Там впервые я увидел выпь — странную коричнево-бурую ночную цаплю. Она вылетела из куртинки примятого снегом тростника, когда я ступил туда ногой. Бесшумным полетом, мягкими взмахами крыльев выпь напоминает сову. Ночной голос выпи — таинственный рев быка, блуждающего в тростниках, — я знал еще с раннего детства.

Над маленьким озером, в бурный, дождливый день я наблюдал крупную хищную птицу с белым брюшком и длинными сильными крыльями. Несколько лет спустя я увидел ее над Волгой и отец сказал мне, что это скопа.

Осторожный черный аист взлетел однажды с берега безмятежного озера и, быстро набрав высоту, долго парил в небе, по-орлиному распластав крылья. С земли его легко можно было принять за орла, так высоко, под самыми облаками, кружил красноногий, красноносый лесной отшельник. Я помнил эту птицу по чучелу в музее, знал, что она очень редка, и не без гордости записал ее в число своих новых знакомых.

Три случая особенно запомнились мне из этой эпохи увлечения фенологическими наблюдениями.



В очень теплый и тихий апрельский день я шел вдоль оврага у опушки леса. Орешник уже отцвел; длинные поникшие сережки лишь кое-где пускали облака желтой пыльцы, когда я задевал за ветви. Желтые бабочки-крушинницы летали взад и вперед над солнечным прогретым склоном. Впереди неожиданно послышался легкий шорох сухих листьев. Я внимательно присмотрелся — в трех шагах от меня, у корней орешника сплетался и перевивался большой клубок змей. Это были гадюки, нежившиеся на

солнце; я сразу их узнал. Все как одна — желтовато-серые с черным зигзагообразным рисунком на спине, крупные, толстые, с маленькой угловатой головой и коротким хвостом. Клубок опутывал несколько тонких стволиков орешника. Хвосты и головы змей торчали во все стороны, появлялись то тут, то там; гибкие лоснящиеся тела переливались между другими телами, покачивая побег орешника. «Гадючья свадьба» — целый клубок ядовитых тварей! Мне показалось, что тут их не меньше двух десятков. Медленно пятясь, я отошел шагов на десять, вырезал крепкую дубинку и, крадучись, вернулся обратно. Зменная свадьба продолжалась. Легкий и, как мне тогда казалось, какой-то зловещий шелест все еще слышался там, где извивался этот живой клубок. Я взмахнул дубинкой и опустил ее что было силы, метя в середину клубка. Ветви орешника смягчили удар, да и сам клубок обладал, очевидно, большой упругостью. Верхние живые петли задержались, послышалось протяжное злое шипение, сильный шорох листьев. Клубок стал быстро расплетаться. Часть змей тут же заползла под опавшие листья. Я ударил еще раз, два и три, сокрушая ветви орешника, но подбил только одну змею. Другие кинулись во все стороны, прячась под защиту кустов. Их было около дюжины. Некоторые уползали как были — сцепившись попарно, волоча одна другую. Ни до, ни после я не видел сразу столько крупных гадюк (недавно Н. В. Шибанов — большой знаток биологии рептилий\* — сказал мне, что немногим натуралистам удавалось наблюдать момент весеннего спаривания этих змей). Когда затих шум сражения и ничто, кроме побитых кустов, не напоминало о случившемся, мой охотничий азарт и ненависть к змеям как-то вдруг остыли. Мне стало не по себе. Этот овражек я знал давно. Много раз собирал в нем грибы и цветы, делал зарисовки. И ни разу не видел даже самой маленькой, захудалой гадюки. А тут целая куча! Невольно думалось, как много неизвестного, загадочного, быть может, страшного еще скрывается под обманчивой личиной знакомых рощ и оврагов, поросших орешником? Как мало я знаю о скрытой жизни «своих владений»!

Признаться, я плохо спал в ту ночь и долгое время вздрагивал при мысли о плавных извивах ядовитого клубка. Наверное, подсознательное воспоминание о страшной, синей, опухшей ноге крестьянского мальчика, бессильно повисшего на руках его заплаканной и потной матери, питало мою неприязнь к змеям. Я видел эту сцену ребенком на одной из переправ через Волгу. Мальчик искал землянику и наступил на змею. В жаркий день двенадцать верст бедная мать несла его на руках по лесным тропам и столько же оставалось ей до уездной больницы за переправой через Волгу. Фантастические рассказы домашних о «страшных змеях», слышанные в детстве, подогревали эту ненависть к ползающим тварям.

Только в университете я сумел преодолеть безотчетный страх и неприязнь, которые вид змеи обычно вызывает у большинства людей. Правда, змеи не стали специальным предметом моих



научных работ, но в некоторых зоологических экспедициях я собирал и вскрывал их десятками. На юге Туркмении я работал с небольшой группой студентов в районе, где водятся четыре вида ядовитых змей, в том числе песчаная эфа (ехидна), кобра и огромная персидская гадюка—гюрза. Гюрза встречалась особенно часто. Иногда за короткую вечернюю экскурсию я видел змей этого вида четыре или пять раз. Днем в сильный зной они скрываются в норах и выходят, когда земля начнет несколько остывать (летом в этих местах песок нагревается до 60—70°, и это не доставляет особого удовольствия даже южным видам ящериц и змей). Кочуя налегке вдоль реки Мургаб, мы останавливались на ночлег где придется и спали на песке под защитой легких марлевых пологов. Помню, однажды на вечерней заре большая кобра заползла в нору песчанки метрах в двух от моего изголовья. Переселяться куда-нибудь было поздно, да и не имело особого смысла. Гюрзы и кобры могли встретиться на любом другом месте ночлега. Я верю в точность научных данных, а они говорят, что кобры не нападают на человека по своему желанию. Значит, нужно поменьше вертеться ночью, чтобы случайно не задеть неприятную соседку, если она близко подползет к пологу. Но насчет спокойного сна можно было не сомневаться. Ночь стояла прохладная, лунная. Свежий ветерок тянул с гор, от Афганистана. Истомленные за день нестерпимым зноем, мы быстро уснули, и я могу сказать, что забыл о неприятном соседстве, едва голова моя коснулась маленькой походной подушки. Ядовитые змеи опасны для тех, кто плохо их знает, плохо смотрит и считает ворон. Они кусают в босую ногу, если наступить на них, кусают в руку, если неосторожный человек забирает в охапку вместе с сеном или хворостом отдыхающую в нем гюрзу. Зоолог должен знать привычки и повадки ядовитых змей, средства предохранения от укусов и первые меры помощи. Для него змея такой же «объект изучения», как мелкие грызуны, от которых можно получить опасные заболевания, как рыба с ядовитым укусом острых лучей плавников или крупные хищные звери. В зависимости от возможных неприятностей приходится менять приемы обращения с животными и только.



В один из апрельских дней той весны, когда мне посчастливилось, по выражению Шибанова, видеть «змеиную свадьбу», ожидалось солнечное затмение. О нем писали газеты, шли разные толки в народе. Некоторые ждали его со страхом, большинство с любопытством. Осколки цветных стекол в торговых операциях ребят вдруг приобрели большую ценность, хотя знающие люди советовали запастись для наблюдения кусочками простого стекла, слегка закопченного над свечей. Я захватил целую пачку таких

стеклышек, когда в солнечное утро отправился за город, надеясь наблюдать и птиц, и затмение.

День выдался на славу — небо было почти безоблачное. Ярко сверкали ручьи по оврагам, синие ветвистые тени деревьев лежали на последних сугробах снега у опушки. Шел сильный пролет птиц. Множество мелких пернатых кормилось на поле вдоль окраины леса. Одни перелетали по жнивью, другие кормились в мелких лужах, чистились и отдыхали на кустах. Особенно много было зябликов. Сотни их пели разом; вся линия опушки звенела и рассыпалась песнями, была полна звуками, как шумом большого потока. Да это и был живой, шумный поток, временно остановившийся на пути к северу.

Я стоял и слушал, улавливая голоса вновь прилетавших птиц, что было не легко при обилии песен. И тут, совсем неожиданно, произошло то, чего я дожидался. При ясном безоблачном небе странная серая тень надвинулась на землю и быстро погасила сверкание ручьев. Наступили сумерки — внезапные, гнетущие, непонятные. Птичий хор умолкал по мере того, как тускнел свет солнца, и, наконец, наступила полная, томительная тишина. Только ручеек все еще бормотал где-то втихомолку. Стаи грачей поднялись с поля и молча полетели к городу на ночлег. Все было тревожно и необыкновенно. На мгновение возникла глупая мысль: «А вдруг оно и вправду навсегда погаснет? Остаться одному в вечной тьме...» Мурашки невольно побежали у меня по коже. Я посмотрел на светило через закопченное стеклышко. Из-за темного плоского диска луны ослепительно сияла солнечная корона. Позднее я узнал, что это солнечная атмосфера, невидимая в другое время, сверкает такими неуловимыми оттенками. Темный диск луны медленно уползал в сторону, все ярче и ослепительней сверкал освободившийся край солнца. Вместе с солнечными лучами слышались первые песни птиц, они звучали все громче, все смелее. И скоро притихшая в немом оцепенении земля снова наполнилась живыми весенними звуками. С нестройными криками, как бы споря, грачи с полпути возвращались на пашню...

\* \*  
\*

Во всех учебниках зоологии написано, что пальцы сов располагаются попарно: два обращены вперед, два назад. В этом отличие сов от дневных хищников. Сию простую истину я крепко усвоил много лет назад, в один прекрасный весенний день. Небольшая сова, желтоватая с бурыми перышками, неслышно выпорхнула из густых бурьянов, пролетела шагов тридцать и села в кусты ивы. Я кинулся следом. Подбежав к цели, замедлил бег и осторожно зашел из-за кустов. Сидит! И хвостом и головой ко мне. неподвижно вытянулась, завернула голову за спину, затаилась. Большие желтые глаза с черными точками зрачков пристально и как-то пронзительно уставились на меня. Прозрачные веки время от времени усталым дви-

жением скрывают их на мгновение, и снова широко смотрят на белый свет испуганные желтые глазищи. Ох, хороша! Я никогда еще не видел сов так близко. Медленно наклоняюсь, протягиваю руку... Нет, улетела. Опять опустилась шагов через двадцать. Я туда. И началась гонка. Место тут открытое, ровное, кустов и водомоин мало, а ноги у меня крепкие и длины достаточной. Сова летит — я за ней. Решил упорством взять. Не даю ей садиться. А она, наверное, больная была, что-то быстро начала выдыхаться. Ну и я тоже порядочно выдохся, пока колесил за ней по пашням, жнивьям и лугу. Потом стало расстояние между нами сокращаться.

И вот в одном месте взлетела она неловко, зацепилась крылом за траву. Я рванулся вперед, сшиб ее рукой на землю и сам упал. Конечно, палкой я мог бы ее убить много быстрее, но хотелось захватить живьем, домой притащить, в клетке держать. Упал я и, падая, поймал ее левой рукой. И она меня поймала, да как крепко! Четыре острейших когтя, два с одной стороны, два с другой, впились мне в мякоть большого пальца у самой ладони. Клювом шелкает, башкой вертит, а второй лапой так и целится, куда бы еще прицепиться побольнее! А лапка какая! В желтовато-бархатном чулочке, и каждый палец мягким пушком одет. А когти черные, крепкие, как железные. Два вперед, два назад. Кровь течет мне в пригоршню, а сова только крепче бархатную лапку сжимает — все глубже загоняет когти. Задушить ее, убить — дело простое. Нет, мне надо живую сохранить. Оторву от пальца один крючковатый коготь, займусь другим — третий еще больше взвиздет! Совсем было и сову упустил. А ей, должно быть, понравилось — не улетела. Только крепче запускает свои «два вперед—два назад», глазищами моргает да клювом шелкает. Добежал я кое-как до кустов, палочек наломал, под когти ей подсунул и оторвал эту бархатную мертвую хватку.

Потом я в книгах прочитал, что у сов гибатели пальцев очень хитро устроены. Хорошие четыре метки на руке мне поставила. Одна долго не заживала. Когти-то у совы не очень чистые — запускает их и в землю, и в мышинные кишки. Освободил я руку, завернул сову в платок и домой притащил. Только недолго она прожила. В угол клетки забилась, корма не берет, глазищами моргает да клювом шелкает. Уж я ей и мышей ловил, и мяса кусочки в рот совал, и черных тараканов подбрасывал. Ничего не ест; сидит молча, гордая, упрямая. Так и умерла.

Хотел я шкурку с нее снять, да не умел еще тогда препарировать. Порвалась шкурка на голове и у хвоста. Оставил я себе ее крылья да бархатные лапки на память о свиной хватке.

Лапа совы



Позднее я узнал, что эта желтоватая с бурыми пестринами сова называется болотной. А живет везде — и в степи и в тундре, в кустах по оврагам, среди полей и на лугах. Ушные перышки у нее короткие, и голова кажется совсем круглой. Брюшко беловатое, с продольными бурыми пятнами. В остальном она похожа на лесную ушастую сову. И полет такой же мягкий, бесшумный. Видит она хорошо и ночью и днем, поэтому часто вылетает на охоту еще засветло. В полях болотная сова вылавливает тысячи полевок и мышей. Это лучший помощник людей в истреблении вредных грызунов.

## 11. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Много лет прошло с тех пор, как я расстался с родным городом и заволжскими лесами. Но память то и дело возвращается к ним. И снова тогда давно знакомым гулом шумят высоко над головой лохматые вершины елей, и среди хора кочующих по лесу синиц издали доносится тонкий посвист рябчика. Осыпается, порхает над просеками золотой березовый лист, и сонные лесные речки уносят его к югу, завивая венки и гирлянды над омутами. И опять я вижу поломанные медведями рябины, недоеденных налимов, брошенных выдрой на песке, и на старой заросшей гари испуганного лося, с непостижимой легкостью перемахивающего через поваленные ветровалом деревья.

А волжский разлив, когда узкие гривы и островки полузатопленного леса лишь кое-где темнеют над мутными просторами вод! Всевозможные утки и нырки носятся парами и целыми стаями, с радостными гортанными криками кружатся чайки и разноголосый гомон стоит над мелководными болотами — притоном светлых куликов. А летние вечера в дубравах с таким богатым птичьим хором, что даже привычное ухо не сразу разбирается в голосах множества одновременно слышимых певцов! Или белые зимние немые дни над запорошенными черноземными полями на юге моего родного края. О, как расписан тогда пухлый снег бесчисленными «маликами» зайцев, как опутаны овраги тонкою строчкой лисьего нарыска и мелким кружевным узором следов куropаточьих стай!

При коротких весенних ночах лесной хор, кажется, не умолкает ни на минутку, и на вечерней заре еще не стихнут дневные виды, как уже заушает филин, загудит глухим голосом из своего дупла мохнатый сыч, и долго в вышине над болотами будут заливаться барашками неугомонные бекасы. И еще до проблесков утренней зари в темноте защелкают и «заточают» на току глухари, полетит над лесом с хорханьем и свистом вальдшнеп, а там проснутся зарянки, завирушки, дрозды, кукушки, засвистят, зальются еще десятки певцов, и в многоголосом хоре вскоре потонут песни рано смолкающих глухарей.

В зимнее время мертвым и безжизненным кажется наш лес, особенно в ветреную и снежную погоду, когда в унылом шелесте несущихся снежинок, в тоскливом скрипе раскачивающихся стволов и мерзлых отвердевших ветвей теряются немногие голоса оставшихся на зимовку животных. Черной стеной стоят ельники Заволжья, колоннадами поднимаются вверх к пурге, несущейся над кудлатыми вершинами, красноватые стволы сосен, ходит ходуном тонкое плетение ветвей березняков, неподвижно распростерты синеватые ветви дубов нагорных дубрав.



# **В Монголии**



(очерк путешествия  
зоологического  
отряда  
Монгольской  
экспедиции  
Академии наук  
СССР)

*Посвящается другу моему  
Любови Николаевне ФОРМОЗОВОЙ\**

...Ровно высятся семьдесят двойных осыпавшихся красных песков, которых прославленный конь не может проскакать из конца в конец, расстилаются тридцать три великих пространных гоби, которых здесь рожденный витязь не может обойти кругом. Расстилаются обвеваемые ветром прекрасные черные увалы, которых не пройдешь — иди хоть целые месяцы; восемь желтых степей затягиваются мглой, восемь радостных желтых степей, которых не пройдешь — иди хоть целые годы.

Такая прекрасная, блаженная была страна...

...Степная полынь и ковыль повырастали вместе, и в тучной, высокой траве совсем не было, говорят, пустого промежутка — пространства. Ревут, ища пищи, силой страшной обладающие дикие звери, шумят и поют звонкоголосые птицы, шестидесяти родов жаворонки чирикают и забавляются, семидесяти мастей антилопы идут, пасясь, друг за другом.

Вот всерадостная, прекрасная отчизна, вот как говорят о ней.

*(Из монгольских былин\*)*

## **В МОНГОЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ — УЛАН-БАТОРЕ**

Восьмого июля вечером я вижу себя плотно втиснутым за тесную парту монгольской школы, давшей нам приют, и занятым писанием писем. Не знаю, как вам, но мне иной раз это дело

доставляет изрядно хлопот и кажется вовсе не легким. Мысль, что за оставшиеся два-три часа нужно написать с десяток писем, обычно или совсем парализует мое перо, или повергает его в состояние энергичной, но дурно направленной деятельности. Из-под его кончика, опущенного на бумагу, выскакивают веселые завитушки, выбегают звездочки, меланхолично сыплются точки, потом вдруг появляется широко осклабившаяся физиономия сурка, спина виденного накануне монгола, на которой его коса оставила лоснящийся след, пушистые беличьи хвосты, острые лисьи уши и птицы — целые табуны птиц, поющих, летящих, скачущих, плавающих. Иногда все это переплетается цветами и вьющимися стеблями неведомых ботаникам растений.

Спохватываюсь я обычно сейчас же, как только на листке не остается свободного места, беру новый и, сосредоточившись, довольно бойко начинаю: «Монголия, г. Улан-Батор, 8/VII 1926 г. Милый друг Володарик!..» А затем длительная пауза... Тут я морщу лоб, грызу деревяшку пера, подолгу чешу ею переносицу и за ухом — ничто не спасает положения. Глаза с бумаги бегут на половицы, потом переходят на окно. Там, по усыпанной камнями улице, тянется скрипучий обоз на хайноках<sup>1</sup>, вправо и влево проносятся желтые, синие, голубые фигуры конных монголов и бегут белесые от пыли автомобили. Вот этот, плотно, до отказа набитый вещами и двумя дюжинами китайцев, наверное, перерезал немалую часть великой пустынной Гоби... А тот — с фигурами в ловко сидящих костюмах — скорее всего из Маньчжурии, из Харбина или Хайлара — примчался по дорогам, совсем недавно проторенным шинами машин и вряд ли еще нанесенным на карты.

Дни героических переходов по этим безводным странам ушли в область прошлого: сотни машин бегут теперь через щебнистые пустыни, везут меха, шерсть и другое сырье, возвращаются с мануфактурой, сахаром, с изящными безделицами, со всем тем, чем полны магазины Шанхая и Тяньцзиня.

Вслед затем взгляд долго блуждает по пятнам сучьев на бревенчатой стене классной комнаты и останавливается там, где темнеют картины. Их, говорят, взяли из богатейшего дворца самого Богдо-гэгэна — перерожденца Будды, одного из первых после тибетского Далай-ламы. Чудными шелками выткан японский художник на одной цветущие заросли лотоса с отдыхающей группой поганок, на другой — листья бамбука, низко склонившиеся над прозрачными струями. Эти струи омыают лапы белоснежных изящных цапель, тонкие изогнутые шеи и распушенные перья которых схвачены так остро, так верно, что, кажется, птицы погрееются еще немного, черкнут крыльями по воде и унесутся на зеленые, солнечные топи. Но сейчас их светлые фигуры как будто

---

<sup>1</sup> Помесь яка и коровы.

начинают слегка покачиваться, а розовые лотосы — шевелить лепестками: издалека (мне трудно понять откуда), вначале невнятно, потом все более и более четко, доносится музыка. Странная, всепроникающая мелодия тягуче и медленно нарастает от тонкого звона ветерка и пения пестрых крыльев над цветами до гула ненастья в каменных дуплах скал.

Кажется, уличный шум стихает и все замирает в напряженном ожидании, но музыка вдруг обрывается резким звоном, сменяется глухим рокотом барабана. Ламы соседнего монастыря (ведь город более чем наполовину занят монастырями) затеяли какую-то службу.

Мелодия снова льется через вечерние стекла окон, но удары молотка в соседней комнате уже выводят меня из забытья — это наши забивают последние ящики.

Да, надо, надо писать. Через час или два придет машина, мы погрузим багаж, а завтра утром она унесет нас далеко от города и почты, а значит, и от остального мира, в обширную юго-западную страну, в страну незнакомую и влекущую в неведомое.

Перо вначале вяло, потом смелей начинает бегать по бумаге. Однако впечатлений со дня выезда из Москвы уже так много, что невозможно разом со всеми справиться. Оттого в одном письме я усиленно рекламирую китайскую кухню и восторгаюсь обедом из сорока с лишком блюд, который мы имели недавно. Я пишу о несравненном вкусе медовой каши из зерен лотоса и о трепангах, о соленом и крепком запахе моря, который издают красноватые, прозрачно-белые водоросли и морская капуста, о креветках, плавниках акул, внутренностях крабов, о майгало, разогретой водке, пропущенной через лепестки роз, о приправах из ростков бамбука и странных кругленьких хлебцах. В другом говорится о грохочущем беге скорого поезда, о мелькании костромских зелено-бархатных озимей, вятских ельников, нежным пухом опушенных березняков Западной Сибири, об озерах Барабы, о туманах Байкала и весенних цветочных коврах в тайге Забайкалья. Помнится, часами несутся в окнах поезда безлюдные просторы, охают и дивятся проезжие немцы на необъятность нетронутых, ждущих человека пространств; помнится пыль Верхнеудинска, осторожное бултыхание колес парохода на извилистой быстрой Селенге.

Река дика и безлюдна. Табуны гусей-сухоносов с большими гусьями, спотыкаясь и падая, убегают от берега в кусты; черный аист, распуская широкие крылья, марширует по заливчику, выгоняет рыбу к мелководью. Четко белеют его брюхо и хвост на фоне галечного берега, алым пламенем горят лапы, клюв и голое кольцо около глаз — последние лучи солнца бьют сюда из-за холмов.

А потом вечер, тихий вечер над рекой с дальним криком птиц, дальними голосами лягушек. Синие утесы, нависшие над водоворотами, деревеньки, костер, рыбаки с неводами, потухающие



гребни гор — все это неопишимо хорошо. И кажется странной, некстати утерянной игрушкой, детским корабликом у дедовского кресла притулившийся к обрыву пароход. На нем мы доезжаем до Усть-Кяхты, дальше на тройках до города Троицкосавска, от которого до монгольской границы рукой подать.

В Троицкосавске разборка багажа и остановка. Здесь радушнейший П. С.\*, приютивший нас в музее, устраивает нам все, начиная от бани по русскому обычаю и кончая экскурсией к обрывам балки, где из песка и торфа ручьи вымывают орудия каменного века, черепа носорогов и вымерших быков.

Потом через неуютный таможенный двор, мимо русского часового, мы проходим последние метры своей земли, и вот уже за границей. Широколистые, скуластые цирики — солдаты монгольской армии — ощупывают наш багаж и дают провожатого. Мы ночуем в Алтан-Булаке — первом монгольском городке — и на следующий день под вечер выезжаем в монгольскую столицу на автомобиле. За воротами таможни — широкая дорога к югу; мелькают холмы, горящие закатным светом, субурганы — часовни, кони, обозы и всадники. К ночи мы в лесу, желтый луч фонаря скачет по рытвинам, зажигает белые стволы берез, оттеняет лужи, черные, как пропасти, и пугливые призраки зайцев, перебегающих нашу дорогу. Помню, впереди носились козодои — быстрокрылые проводники, белые ночные бабочки зажигались светляками, выплывали из тьмы и гасли, едва оставались сзади.

Ночуем на станке Ибицик; луна выходит над голубым двором, окруженным горами, сотканными из тумана; на нем спит голубой автомобиль и посеребренные собаки.

На другой день с утра начинаются автомобильные несчастья: то лопнет покрышка, то перегорит какая-то пробка, перегреется радиатор и нужно дожидаться, пока его остудит ветер, и многое другое в том же роде. О, тогда это нас раздражало, волновало и мучило, но позднее; когда я мысленно возвращался к этим несчастным дням, желтые крупные линии гор мне вспоминались ярче, чем вид автомобиля, обрушившегося с парома в реку. Только на четвертый день к вечеру плоский пыльный город, храмы, сотни флажков и бунчуков смыкаются у конца нашей дороги. О, не так-то легко отыскать сравнения и эпитеты для этого удивительного города. Я задумываюсь, хоть он у меня перед глазами, но в ворота въезжает машина — темный, тяжелый «додж», уже одетый по-дорожному, в ватный стеганный капот, охраняющий от царпин и ударов.

Седла, сумы, банки, ящики, палатки и колья, корзины и свертки, снаряжение и припасы заполняют кузов, подножки, места по бокам радиатора и все свободные уголки. Когда же сюда присоединяются баки с бензином и водой, запасные камеры и покрышки, автомобиль, увязанный и опутанный веревками, теряет свой обычный облик и более похож на бесформенную груду товара, чем на прочное детище завода «Братья Додж».

На вершине этого багажного стога нам предстоит провести дня три и проехать сотен пять километров. Кое-кто с сомнением покачивает головой. «Выдержит ли, довезет ли?» — невольно думается каждому из нас, но новый бывалый шофер уверен и весел, и нам передается его спокойствие.

## ЧЕРЕЗ СТЕПИ И ГОРЫ НА АВТОМОБИЛЕ

В назначенный для выезда час мелкий дождь усердно выбивает дробь на брезентах, укрывающих громаду багажа. Мы укладываем и увязываем кое-какие оставшиеся мелкие вещи, затягиваем последние узлы намокших непослушных веревок, смотрим украдкой на низкое небо, на облака, плотно одевшие город. Вот всегда так! Целые недели стояла отличная погода, а пришел день ехать — льет и льет, да так старательно, что чувствуем — сухими доберемся недалеко.

Молчаливый, сосредоточенный шофер хмуро лазит под машину, долго ворочается там, лежа в грязи на спине, что-то отвинчивает, пробует, меняет, появляется обратно, густо разрисованный темными и жирными мазками масла. Он готовится к этой тысяче километров мало знакомой и не везде легко проходимой дороги; он что-то подсчитывает и взвешивает про себя. Рядом с шофером жмется небольшой человек, спрятавший в капюшон просторного плаща бронзовое лицо, по которому невозможно определить его возраст. Он застенчиво улыбается, не знает, за что взяться, кому и в чем помочь. Это Хун Ю-чен, китаец, по-русски почему-то именуемый Мишей, славный малый, уже давно скитающийся по чужим краям. В родной провинции, граничащей с Монголией, он выучился языку кочевников, а с нашим освоился на приисках Сибири, где мыл золото, был артельным кашеваром, потом держал лавочку, плавал на пароходке по Селенге, служил в Верхнеудинске, в Маньчжурии, в Монголии, наконец, попал к нам на ответственный пост повара и переводчика. Хун Ю-чен первый день на новой службе; он не сразу улавливает особенности нашего говора; мы в свою очередь едва разбираемся в его «русском языке» со словами без «р» и растянутыми певучими окончаниями. Мне кажется, что сомнения начинают волновать его; быть может, его страшит дальний путь с незнакомыми и странными людьми; он выглядит растерянно и смущенно, когда мы выезжаем из ворот.

По жидкой уличной грязи, ворча и покрикивая, машина ползет сначала в таможду, затем в охрану города, потом еще в целый ряд учреждений. И тут и там в потемневших кибитках, пропитанных сладким запахом табака, монголы выводят сложные фигуры букв на наших документах. Наконец все формальности оказываются оконченными. Тогда вырвавшаяся на волю машина уносится в тесные извилины переулков, разбрасывая брызги и серую муть луж на заборы. Привязанные к столбам оседланные

кони шарахаются на дощатый тротуар, обрывают ремни недоуздов. Их хозяева с громкими воплями выскакивают из лавок, бросая покупки, встречные всадники торопятся спешиться, обозы на быках — свернуть в первую улицу. Однако выехать из города нам и теперь не удастся: что-то случилось с магнето, мотор капризничает, приходится его разбирать, протирать, а потом шофер заезжает домой попрощаться, и только в два часа дня мы проходим последнюю заставу.

С мягким рокотом машина катит по крупному галечнику долины к светлым излучинам Тола, потом, через отчаянно скрипучий мост, к дороге левого берега. Усыпанная мелким гравием, дрсвой и песком, она светлой нитью вьется по холмам и увалам, убегает в дальнюю синь гор, дальше кажется всего лишь паутинкой под курчавыми клубами тумана.

Дождь перестал, разорвались, поредели облака, оттого и закрубились дымом солнечные склоны пахучей, обсыхающей земли. Снежными клочьями плывут облака мимо вершины Богдо-Ула — заповедной, почитаемой монголами горы, расчесывают седые свои гривы об острые зубцы леса, оставляют белые тающие пряди по священным логам и ущельям. Не услышите выстрела, стука топора, не увидите дыма костра в этом лесу; здесь не косят сена, не срывают цветов; еще много маралов, диких коз, кабанов и волков в этой роще, окруженной степными и бедными пастбищами. Сторожевые юрты охраняют подножие горы, и не раз ламы-всадники угоняли обратно в лес оленей, выходявших за границу охраняемого пространства. К югу это последний лес; дальше на полдень развернулись лишь безмерные просторы степей да пустынные равнины — гоби<sup>1</sup>.

Разъясняет; свежий ветер дышит нам навстречу, сушит потемневшие тяжелые брезенты. Быстро уносится череда миль под бегущий говор колес, и скоро Улан-Батор с его гнутыми крышами храмов, магазинами, базарами, глиняными лачугами, с кибитками, в которые проведен телефон, караванами верблюдов и автомобилями, с медленно бредущими тибетскими странниками — эта красочно-пестрая столица Монголии остается далеко позади.

Мы забираем влево от реки, в глубину гор, чтобы обойти скалы, спустившиеся к самой воде. Пологие увалы с желтоватой, уже выжженной солнцем травой выбегают навстречу. Впереди то широко развертываются гористые дали возвышенной и пересеченной хребтами страны, то сжимают дорогу с обеих сторон узкие теснины балок, оголенные, изрытые дождевыми потоками. Они заставляют машину влезать и цепляться по крутым косогорам, сползать в глубокие, загроможденные камнями русла. Мы то соскакиваем с автомобиля на опасных извилистых спусках,

---

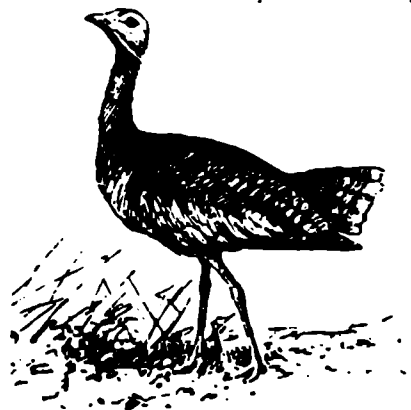
<sup>1</sup> В Монголии «гоби» — имя нарицательное, а не собственное, как мы привыкли его слышать. Там говорят: «Мои верблюды в гобях», т. е. на шебнистых равнинах со скудной растительностью, излюбленной верблюдами.

то, упираясь сзади в его напряженно дрожащий корпус, помогаем взбираться на тяжелые подъемы. А там, где дорога ровней и начинают редеть всюду рассеянные камни, мы цепляемся крепко за брезент и веревки: мотор запекает песню, лихую и буйную песню о несущихся встречных просторах. Красная стрелка спидометра с десяти и пятнадцати переходит на тридцать, тридцать пять, наконец, на сорок миль. Шестьдесят километров в час — машина жадно набирает скорость. Временами она как будто не мчит по земле, а несется по воздуху, бешеным вихрем крутя позади хороводы песчинок. На сурчинах, на впадинах, на кочках полыни мягко швыряет вверх и вперед — вот-вот вырвется из-под ног. Уж то-то нелепо шлепнешься, наверное, на землю! Хун Ю-чен цепляется за меня, а я и сам-то едва держусь...

Мало-помалу привыкаем крепко сидеть на месте, невзирая на толчки и швырки. Разговоров почти не слышно, все сидят молча, каждый думает о своем, следя за непрерывно сменяющимися картинами. Я ловлю взглядом проносящихся мимо птиц, ошеломленных, испуганных зверьков, торопливо бегущих и ныряющих в норы. Их много — и тех и других. Вот даурские дрофы, вытянув высокие сухие шеи, провожают машину взглядом больших настороженных глаз. Издали, быть может, они похожи на домашних индеек, но крупнее, выше ростом, с рыже-вато-красчатым оперением верха тела<sup>1</sup>. Уже оглядываясь назад, вижу, как успокоившиеся птицы склоняются над сухой травой, высматривая кузнечиков и кобылок. Их поступь легка и свободна, все движения как-то особенно степенны. На просторных, гладких, как стол, покрытых низким типчаком равнинах пасущиеся дрофы тут и там рисуются стройными серыми силуэтами. Даже издали нетрудно заметить этих крупных птиц, но только тогда, когда они не намерены скрыться. Стоит дрофе прилечь, вытянув шею по траве, и она пропадет из глаз, как сквозь землю провалится. По открытому месту в десятке шагов от затаившейся дрофы или самки, сидящей на яйцах, можно пройти, не заметив. А ведь птица — почти метр в высоту и до пятнадцати килограммов весом. Тонкий рисунок охристорожких с черными пятнами перьев служит ей хорошую службу.

Дрофы — мои старые знакомые. Близкий к даурским, более крупный вид населяет наши южнорусские степи, где он известен под именем дудака.

Дрофа



<sup>1</sup> В действительности, дрофы вместе со стрепетами — ближайшие родственники журавлей и болотных курочек.

С дудакom мне не раз приходилось встречаться, а я ищу новых животных, известных мне более по книгам, и прежде всего оставляюсь на сурках. Для степи Северной Монголии эти звери так же характерны, как жаворонки для наших полей. Под вечер, когда неровности почвы бросят от себя тени, на пологих скатах холмов, на зеленых горных лугах и высоких равнинах начинают резче рисоваться несчетные бугры и холмики. Это сурчины<sup>1</sup> — большие кучи грунта, выброшенного сурками на поверхность при рытье норы. Всюду, куда только хватает глаз, видны их пятна, точки и крапины. Местами они встречаются так густо, что начинают касаться одна другой, местами редеют, но всюду в области, занятой сурками, куда бы вы ни бросили взгляд, вы обязательно найдете эти отметины. Они то желтеют необсохшим, недавно выброшенным песком, то белеют и сереют обширными грудами щебня. Но и старые сурчины давным-давно покинутых и осыпавшихся нор, холмы, почти сравнявшиеся с землей, все еще продолжают оставаться заметными.

Дело в том, что, выбрасывая грунт из глубоких галерей норы, сурки извлекают наружу материалы, имеющие совсем иные свойства, чем поверхностный слой почвы. Они состоят из более грубых и крупных частиц, богаче солями, беднее органическими остатками. Растения очень чувствительны к химизму почвы, и вот на скудном грунте этих холмов преобладает иная растительность, нежели вокруг. Она остается зеленой, когда выгорит степь, кажется темной среди светлых зарослей злаков. Потому-то в местах, где о сурках уже нет и помину, сурчины, как и могильные холмы — курганы, хранят память о былом оживлении местности. Проходят годы, но и тогда, когда соха и плуг сровняют холмы с землей, если только их почва не рассеется среди окружающей, природа языком степных трав расскажет о местах, где рылся в старину, спал по зимам, свистел по веснам сурок.

Такие картины можно встретить во многих местах наших южных степей, где сурок истреблен, но в Монголии еще далеко до его последнего часа, и земляные работы зверей, а не борозды пахарей накладывают тот или иной колорит на ландшафты. Кочевники со своими стадами ютятся по долинам и впадинам с их более свежей травой, они затеряны и незаметны на огромных безлюдных пространствах. Страна принадлежит птицам и зверям, а из них тарбаганы-сурки, голосистый грызуний народ, завладели всей Северной Монголией. Их «города», «деревни», «поселки» мелькают мимо нас, то освещенные солнцем, то затененные бегущими пятнами облаков. Порой с гулом и шумом машина пронесется через центр оживленного пункта, вызывая панику и явный переполох населения. Пожилые тяжелые сурки-толстяки опрометью катятся к норам, запоздавшие растерянные молодые, иной раз по два и по три одновременно, бросаются наперерез машине, а потом в ужасе припадают к земле, пытаясь остаться незамечен-

---

<sup>1</sup> Сурчины имеют площадь от одного квадратного метра и более.

ными. Далеко позади, за дымкой нашего пыльного шлейфа они приходят в себя и что есть духу несутся к прохладной тени убежищ. В стороне от дороги все — и старые и молодые — поднимаются на задние лапки и, подставив круглые упругие брюшки действию ветра, свистят и вскрикивают, вздрагивая при этом всем телом. Короткие взмахи черноватых хвостов говорят об их сильном волнении. Крики и свисты полосой несутся впереди нас по мере быстрого бега машины. На пространстве около мили в поперечнике все население колоний на одно мгновение обращается в бегство; потом одни торопятся скрыться, другие, свистя и хрюкая, извещают о нашем появлении своих дальних соседей. А те так далеко, что лишь приподнимают на минуту голову и снова принимаются за прерванные дела — для них мы не страшны. На желтых склонах они всего лишь живые золотые точки, греющиеся на солнце, точки, копошащиеся в траве или неспешно ковьяющие на кормежку<sup>1</sup>. С тех склонов и машина — всего только темный жук, уносящий с собою желтое пыльное облачко.

Бок о бок с сурками на возвышенных степных и луговых местах обитает эверсманнов (длиннохвостый) суслик — джумбуран. Это тоже дневной зверек, подвижной и шустрый. Ни у какого другого вида сусликов мне не приходилось замечать столько черт, говорящих о близком родстве его с белкой. Легкий, скачущий бег джумбурана, движения порывистые и стремительные, изящная манера нести длинный пушистый хвост, да и весь облик напоминают о белке, перебегающей лесную поляну.

Джумбуран любопытен и смел. Тарбаганы, сеноставки, полевки, песчанки — все скорее торопятся шмыгнуть в нору или под камни, едва покажется автомобиль. Джумбуран бежит не спеша, оглядываясь, останавливаясь, задорно покрикивая. Иной раз вы можете видеть этого смельчака, вставшего «столбиком» на задние лапки и комично скрестившего передние на брюшке, всего в двух-трех шагах от мелькающих колес автомобиля. Его вытянутая настороженная фигурка, яркий блеск его глаз, исполненных глубочайшего любопытства, заставят вас невольно рассмеяться. Зверек испугается лишь тогда, когда машина промчится, и пыль желтым пологом прикиннет к цветам; он стремительно метнется в нору, коротко, отрывисто цикнет и тогда уже долго не появится. Я видел не раз, как из ближайших к дороге нор джумбураны бесстрашно выглядывали наружу, должно быть, справляясь о причинах содрогания почвы под стопудовой тяжестью автомобиля.



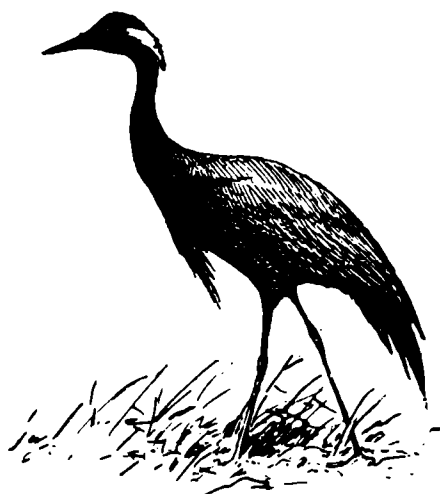
Эверсманнов суслик — джумбуран

<sup>1</sup> В это время сурки были в рыжевато-желтом весеннем меху; к осени они надевают другой — буровато-серый.

Бегут холмы, растягиваясь вереницей, как взлетающая лебединая стая, темнеют скалы, широкоплечие и бурые, словно степные орлы; расстилаются пепельные заросли полыней; дрожат и кивают по воздуху белые перья ковылей; зеленеют низинки с мелкой травкой, долины с сочными купами ирисов, над которыми остановились в воздухе лиловые цветы, как колибри. А за ними пески — желтые и сыпучие, с мелкими кустиками караганы, убегающими рассыпанной стай куропаток, потом снова — степи, снова — низины, щебнистые и луговые пространства. В этой смене красок и линий, в непрерывном токе воздуха и света — опяняющая радость полета, и мне хочется петь, петь поэму об автомобиле. В мелькании голубого и желтого, в смене серых лент и зеленых пространств, в хороводах бурых точек кустарников, в этом беге ландшафтов, непрерывном и радостном, глаз мало-помалу улавливает закономерность. Впечатления, вначале неясные и разрозненные, накладываются одно на другое, и вскоре целый ряд представлений о взаимной связи явлений слагается все прочней и прочней. Уже угадывается, как от горных пород, от того или другого строения местности зависит накопление щебней, обломков, наносов, песков, а вместе с тем и особенности почвы. Почвы вместе с рельефом, влагой и солнцем диктуют распределение растительности, а следом за ней и животного мира.

Старая истина, известная еще из учебников географии! Но как приятно повстречаться с ней заново среди угодий чужой и новой земли, шаг за шагом на незнакомых травах, птицах, зверях тренировать зоркость глаза и свою наблюдательность. Каждый день дарит маленькие открытия, и приходит, наконец, тот упоительный час, когда ясно почувствуется, отчего на ожившем лице страны так весело улыбаются долины, смеются речки, почему суровыми морщинами кажутся складки и впадины гор.

Однако подобными мыслями не следует увлекаться, сидя на краю автомобиля: заглядевшись, я теряю равновесие при первом толчке и валюсь руками вперед на дорогу. Толстые покрышки задних колес проходят в нескольких сантиметрах от моей головы. Мы на каком-то из бесчисленных перевалов. Скоро начинается спуск, один из тех спусков, где едва успеваешь украдкой отирать слезы из глаз, которыми застилает их встречный, резко секущий ветер. Боковой



Журавль-красавка

объезд кончился, мы снова спускаемся в долину Толы и движемся левым берегом вниз по течению. В лощинке у воды зеленеют деревца, ивовые кусты, перелетает сорока белокрылым воровским полетом, на лугу напеваает дубровник. Пока берут воду, я осматриваю в бинокль ближайšie холмы и вижу, как за травянистую гриву бугра кивающей походкой скрывается пара атласно-серых журавлей-красавок. Их, путаясь в траве, торопливо сопровождают два большеногих пушистых птенца. Дальше, на зеленых луговинах вдоль реки, семьи этих птиц попадаютс нам то и дело.

Уже редкий и исчезающий в русских степях журавль-красавка — для Монголии обычная птица. Монголы не едят пернатых и не охотятся за ними. Здесь нередко в десятке шагов от юрты можно видеть пасущийся табун гусей; мне даже казалось порой, что они, словно намеренно, жмутся ближе к человеческому жилью. Но и в этой привольной стране журавли-красавки сохранили свою природную осторожность. Не помню случая, чтобы при открытой ходьбе они подпустили меня на выстрел. Зато машина, ее шум и быстрота нимало не смущают этих прекрасных птиц. Подпустив автомобиль всего на пятнадцать-двадцать шагов, журавли делают несколько крупных прыжков для разбега и вдруг, оттолкнувшись ногами, разом широко разворачивают черно-сизые крылья и взмывают на воздух. Иной раз, когда ветер мешает журавлям подняться, машина настигает их внезапно, как ураган, и они ошеломленно проносятся над головой пассажиров так низко, что, у меня, по крайней мере, всегда бывал в руках зуд ухватиться за их длинные ноги.

Мирная картина долины с нежно-серыми открытыми пятнами солончаков, с зарослями ириса и дэрэсу, с беззаботно пасущимися семьями журавлей таила в себе что-то особенно привлекательное. Но и сюда мы не преминули внести переполох. Одна журавлиная семейка, степенно ловившая кузнечиков, привлекла почему-то внимание шофера. Миг, и автомобиль сворачивает с дороги, мягко скачет через кочки, оттискивает четкий рубчатый след на пухлой почве солончака. В журавлиной семье переполох. Коротко, тревожно курлыкая, старики начинают бежать к зарослям трав. Они пригибаются, клонятся, словно стремятся прикрыть собою едва поспевающих за ними птенцов. Машина быстро их настигает, и вот, у нас на глазах, мгновенно исчезает один птенец, а следом за ним — другой. Среди мелкой травки теперь сереют лишь два небольших округлых камешка, а дальше клонящиеся к земле журавли спешат в узкую лошину, где, отбежав, подни-

Затаившийся журавленок





маются на крылья. Автомобиль останавливается рядом с одним из «камешков».

Представляете ли вы себе эту пропахшую бензином и пылью громаду и маленькое пушистое существо, около которого чудовище «сделало стойку»? Журавленок лежит, растянувшись по земле, поджав несуразно большие лапы, распластав шею и полуприкрыв глаза. Он неподвижен, как мертвый, и машина могла бы, наверное, его переехать, а он бы не пошевелился. Я беру его в руки, журавленок все еще сохраняет неподвижность, хотя слышно, как под нежным серым пушком за слабой и мягкой грудной клеткой тревожно колотится сердце. На машине его встречают радостными и ласковыми возгласами, а старики журавли в отчаянии, они кружат над нами и поднимают горестные крики, после которых птенец начинает биться, пуская в ход лапы и слабый, не окрепший клюв. Ко второму журавленку тем временем отправляется с фотографическим аппаратом. Он позирует ровно столько, сколько нужно для снимка, и пускается бежать, едва только шелкает затвор. Но я уже приготовил альбом, чтобы сделать набросок, и потому преследую его, грозно размахивая карандашом. Когда часто и подолгу имеешь дело с животными, то при недостатке собеседников невольно начинаешь обращаться к ним, как к людям. В поездках кто не ловил себя на разговорах с птицами или на перебранке со зверями? Конечно, и тут, догнав журавленка, я обращаюсь к нему примерно в таких выражениях: «Молодой человек, вы меня чрезвычайно обяжете, если приляжете всего только на минуту. Мне необходим ваш портрет...» (Следует весьма понятное движение руки.) Однако этот жест ему чем-то не нравится, журавленок вдруг прекращает бег, распускает коротенькие неоперенные подобия крыльев и неожиданно переходит к нападению. С хриплым яростным криком он насккивает мне на ноги, ударяет клювом, бьет крылышками, подпрыгивает вверх; я укоризненно качаю головой и грожу ему пальцем, с автомобиля слышится дружный смех. В это время и первый журавленок уже добежал до стариков, неподалеку опустившихся в заросли ириса, и они взволнованно кивают над ним головой. Вскоре туда же следует и второй; машина продолжает свой бег.

Еще дальше по долине, где то и дело встречаются широкие открытые лужи, мы приносим испуг в семьи красных уток. Птица эта, известная у нас на юге под именем огаря, а у сибиряков — турпана, считается монголами священной. Недаром, говорят они, огарь носит желтовато-рыжее оперение, сходное окраской с желтыми костюмами монахов-лам. В расщелинах скал, в старых тарбаганьих и лисьих норах выводит эта утка птенцов. Дюжина, а иногда и больше, покрытых черноватым и белым пухом утят отправляется потом с матерью и отцом до ближайшего водоема.<sup>1</sup> Должно быть, для развлечения за одной такой пере-

---

<sup>1</sup> У красных уток, как и у гусей, оба родителя принимают участие в уходе за птенцами, тогда как селезни большинства других пород при выводке никогда не бывают.

селявшейся семьей наш шофер направил машину. Утята с писком рассыпались кто куда мог, а старки с заунывными криками, вроде «ооонг, оооонг», носились около, садились на землю, летели к воде и снова возвращались. На лету они были больше похожи на гусей, чем на уток, и издали казались почти белыми. На распушенном крыле огаря чисто-белые второстепенные маховые перья образуют большое светлое пятно.

Чем дальше остается Улан-Батор, чем глубже на юго-запад уводят нас река и дорога, тем богаче жизнью становится страна. Я вижу, что на песчаных буграх с караганой все изрыто мелкими ходами и норами зверьков. По долинам то и дело перебегают дорогу серые даурские сенокосилки. Коротконогие, куцые («охотено» зовут их монголы, что означает куц и й); с туго набитым брюшком они имеют необычайно растерянный вид. Округлые уши по-заячьи заложены за спину, черные глазки полны страха, лапки работают что есть сил, но машина уже далеко, когда они доносят зверька до спасительной норы. Из-под кустов выскакивает толай — легкий и верткий степной заяц, лисица мелькает за камнями, какие-то полевки и как будто хомячки мечутся и бросаются под машину в свои осыпающиеся норы, сделанные прямо на дороге. Здесь и хищников стало заметно больше. На буграх и кочках сидят светлобрюхие пустынные канюки и луни. Уже близкое к закату солнце прячется за облака и бросает на них алые блики; оно делает бронзовыми сутулые спины тяжелых степных орлов. Хищники подпускают нас близко; они сыты, спокойны, зобы их туго набиты мясом грызунов, густо населяющих эти степи.

Вечер гонится за нами с востока; он настигает нас, темный и хмурый. Временами начинают бить встречные, мелкие, как бисер, капли дождя, из-за черных низких хребтов вылезают и дыбятся тяжелые тучи. Тола сумрачней стала плести водяные узоры, по широкой долине низко стелется дым от приземистых и черных юрт. Около этой кочевки остановимся на ночь; сто двадцать километров позади — для первого дня хорошо.

Онемели ноги, руки от неловкого сидения; все мы не спрыгиваем с машины, а сваливаемся, как тяжелые кули. Но весело, под лай собак, окруживших нас тесным кольцом, срывать веревки, тащить с автомобиля брезенты, выволакивать мешки и палатку, готовиться к ночи, к дождю. Палатка ставится сегодня в первый раз — момент значительный, даже не лишенный торжественности. Стучат стыкаемые складные стойки, лязгают железные колышки, врезаясь в гальку, натягиваются веревки, и скоро порывистый ветер полощет в темноте широкими полами белого легкого домика. А там уж развернулся брезентовый пол, появился стол из ящика, сгрудились в изголовье постели. И когда шофер под общий возглас одобрения бросает туда голубой веселый луч автомобильного прожектора, под трепещущей кровлей становится не только уютно, но даже как будто тепло.

Пока мы занимаемся дневниками, чайник отправляется на огонь в соседнюю юрту и возвращается оттуда закопченным первым лагерным дымом. Его сопровождает целое монгольское семейство, которое располагается полукругом на земле у входа в палатку, так как у нас слишком тесно... Дождь прыгает по их полушубкам, и вскоре монголы один за другим убегают в юрту сушиться. Мы укладываемся, прожектор гаснет, в темноте слышны лишь шорохи дождя да затихающий лай собак.

Дождь рокочет по стенке всего в нескольких сантиметрах от уха. Странно слышать так близко дробный стук его капель и не ощущать их ударов. Темнота близ палатки вся наполнена собаками. Они чавкают, грызутся, дерутся. Уже сквозь сон чувствую, что одна роется около меня; я сую ей через полотнище палатки кулаком в бок и, удовлетворенный, засыпаю.

\* \*  
\*

Наутро будят громкие странные голоса. «Хонооо, хонооо, хонооо!» — раздаются протяжные женские крики, лают собаки, блеют бараны, слышится шелест камней и щебня под многими сотнями копыт. Мне трудно понять, где я. Слышу, что ветер подхватывает и уносит эти звуки, чувствую — свежими струйками он забирается под бурку. Потом, открыв глаза, вижу влажные, надутые ветром полотнища палатки, а в дверной щели — угол автомобиля и синий клин неба с быстро несущимися облаками. О, в Монголии! Это наши соседи погнались пастишь овец, а им помогают собаки. Я блаженно потягиваюсь в предчувствии сладостных впечатлений поездки и ногой швыряю бурку в сторону. Мы умываемся в реке, во время чая смотрим на орланов, дерущихся из-за рыбы, убираем палатку, занимаем привычные места на машине и трогаемся в путь.

Утро свежее и влажное. На поседевшей от дождя траве автомобиль растягивает сочно-зеленую дорогу; она, как и вчера, указывает на юго-запад. Именно здесь мы расстаемся с Толой. За одной из темных скал река круто поворачивает к северу, чтобы влиться в Орхон, потом в Селенгу, Байкал, Ангару, Тунгуску и вместе с водами Енисея затеряться подо льдами океана. Мы же держим к подножиям Хангайской горной страны, туда, где у северной окраины Гоби расположен большой монастырь Ламын-гэгэни-хит. Там можно купить караванных животных, оттуда мы и тронемся к югу. По-утреннему темные и синие склоны гор проползают мимо нас с левой стороны дороги; местами вдоль них растянулись лентами песчаные дюны, кое-где пески выходят и на наш путь. Я заметил еще вчера, что стоит появиться пескам, как от машины начинают взлетать мелкие серые степные жаворонки, заменяющие здесь рогатых горных.

Небольшие айлы — стойбища монголов — показываются временами по долинам; у ручья — пять-шесть юрт над заполненной

слоистым дымом ложиной и около рассыпанные стада. Женщины идут за водой, с ними бегут ребяташки; на окрестных просторных склонах гурты овец светлеют, как мелкая белая крупа. Ближе к нам у дороги ходят кони, дикие, сытые, неезженные. Гул мотора и стремительный бег невиданного существа приводят последних в состояние сильнейшего волнения. Вначале головы и уши животных разом повертываются в нашу сторону, затем кони сбиваются в тесную кучу и вдруг пускаются вскачь, как живая и шумная лавина. Они мчатся вдоль нашего пути, пытаясь перерезать дорогу. Пышные хвосты и гривы бьются по ветру, комки грязи взлетают высоко на воздух, земля дрожит от дружного топота. Отстающие жеребята растягиваются сзади длинным хвостом, но их тонкое ржание не может остановить молча скачущего табуна.

Следом за ними гонится хозяин монгол; он пригнулся к шее лошади, его шапка еле держится на затылке, а длинный тонкий аркан качается в руке, как копьё. Кони пересекают дорогу слева направо, потом стремительно меняют направление, проносятся справа налево и готовы повторить маневр еще много раз, когда вдруг начинается спуск, дорога летит нам навстречу со скоростью десятков миль, и мимо скользят уже не отдельные предметы, а какие-то бьющиеся ленты стального, зеленого и медного цвета. Табун заметно и быстро отстает, но еще долго, до тех пор пока он вовсе не скроется от глаз, видно, что кони продолжают безумную погоню.

Это волнение и испуг, соединенные с потребностью скакать наперерез, охватывают не только стада, но и отдельных пасущихся коней, даже стреноженных. Они или обрывают тотчас же пути, или падают во время скачки и разом отстают от машины. Телята тоже поддаются магическому влиянию автомобиля; зато быки и коровы переживают его иначе. Они стоят у дороги, насторожив уши, вытаращив глаза, и только в последний момент шаркаются назад, сильно вскидывая ногами и виляя хвостом. Они только комичны, тогда как кони стихийно-величественны.

Спокойнее всех ведут себя верблюды: не переставая жевать, они меланхолично поворачивают в нашу сторону большегубые, шишковатые головы или медленно отбегают в сторону неуклюжей, раскачивающейся рысцей. В тот же день мы имеем возможность убедиться, что и дикие копытные не оставляют автомобиля без внимания.

Мы поднимаемся на обширные пологие склоны возвышенности, на которых машина рокошет сосредоточенно и спокойно. Склоны покрыты ровной зеленью злаковой степи; тырса с пучками молодых и нежных нитей затушевывает золотистой дымкой легкие складки этих, почти идеально ровных мест. Белокрылые, звонкоголосые монгольские жаворонки выпархивают с обеих сторон дороги и, отлетев немного, то садятся, то просто падают в траву. Она невысока и не очень густа, но переливы ветреных волн лоснятся по ней легкие и скользкие, как серебряная зыбь по зеленому морю. Так просторно и ровно, что кажется, не за что

зацепиться здесь взгляду, и скользит он, ничем не удерживаемый, до дальних лиловеющих за маревом зубцов гор. Однако нет. Вот, километрах в двух или трех, в той стороне, куда тянет ветер, показались какие-то точки. Сначала две, потом четыре, и трудно, щурясь от ветра и солнца, разглядеть хорошенько, что это. Просто ли камни или так что-то мерещится? Нет, они живые и двигающиеся: то собираются в кучку, то растягиваются в линию и быстро летят наперерез. Должно быть, птицы.



Монгольский жаворонок

Облако прикрывает часть степи и нас лохматой темной тенью, солнце выхватывает у нее отдельные уголки, и светлый поток словно устилает их серо-зеленым блестящим шелком. На этом освещенном фоне несущиеся к нам существа загораются, как четыре желтоватые искры; но снова набегают тень, и они вдруг угасают. Теперь даже в бинокль ничего не разберешь: от легких толчков машины он, как ни зажимай его в руках, трясется и прыгает, отчего в его стеклах горизонт и небо начинают подсакивать вверх и вниз, словно дерущиеся петухи. Но опять набегают светлое солнечное озеро, и теперь уже видно, что желтоватые точки — крошечные подобия зверей: видно, как они скачут, нет — не скачут, а летят и скользят над землей. Уже близко, уже можно различить ряд стройных белых ног, разом толкающих мускулистые и как будто лишенные веса тела. Дзерены<sup>1</sup> летят, как четыре желтых сокола, как четыре монгольских стрелы. А мы плетемся: грунт мягок и не окреп еще после ночного дождя, да и подъем становится трудней. Копыта и мышцы берут верх над металлом и газом; машина уже не рокочет, а рычит и завывает от ярости, когда впереди, шагах в пятистах — шестистах четыре легких силуэта описывают дугу на краю неба и скрываются за перевалом.

Потом начинается спуск, и от мерного говора мотора далеко от нас приходит в движение теперь уже целый табун. Охваченные безумием дзерены спешат наперерез и вытягиваются длинной цепочкой; все острее и острее делают угол, под которым стремятся к дороге. Но ветер гудит, дзерены скрываются из глаз. Мы уже в долине, скачем через рытвины, сбегая к ручейку и снова начинаем подниматься.

Этот перевал высокий, увенчанный двумя гранитными вершинами, и между ними, как в ворота, уходит дорога. Серая скала на скалу, как башня на башню, выше и выше налегают и гроздятся островерхой громадой. А по самому гребню — обглоданные

<sup>1</sup> Один из центральноазиатских видов антилоп, или газелей.

ветром плиты, как подушки и пуховики титанов, сложенные высокими стопами, — это «матрацевидные отдельности», по терминологии геологов. В щелях между отдельностями воет перевальный ветер, прячутся пестрые каменные дрозды; ниже, по осыпи, расползаются чахлые кустики. Где-то там сидит невидимкой сенокосовка и, завидев машину, заливаётся звонкой трелью. «Пить-пить-пить, пи-пи-пи-пи-пи...» — выводит она совсем по-птичьи. Трель, вначале быстрая и бойкая, под конец с паузами и затихающая. Не подумаешь, что кричит это грызун, да еще родственник зайцу. Пищуха поет, а птицы молчат, греются на скалах в заветерье, и один только сокол крикливо заливаётся вдали над неприступным пиком останца. Вот к нему подлетает второй, и они кружат над скалами, в которых прячется гнездо, где большеглазые птенцы с дракой рвут сейчас брошенную сверху добычу.

Мы останавливаемся на отдых; кое-кто лезет в скалы, остальные располагаются у машины. После тряской, беспокойной поверхности приятно растянуться свободно на пригретой солнцем зелени. Я располагаюсь у большого обломка скалы и, лежа на животе, рассматриваю сквозные кружева и сплетения ближайших травинки, синих округлых жучков, поджавших лапки и спрятавшихся под камнями, пыльных неприметных букашек, затаившихся среди растительной ветоши и трухи, шевелящейся от моего дыхания. Я смотрю, как кругленький и неловкий жучок в пятый раз карабкается на скрюченный корешок, падает, переворачивается на спину и снова лезет туда же! Он упрям, неумолим; я проникаюсь к нему чувством симпатии, беру его, сколь можно деликатнее, и подсаживаю туда, куда он стремился; жучок снова находит повод для упрямства: он притворяется мертвым.

Муравьи тащат в гнезда сухие и опавшие лепесточки цветов; они уверенно отыскивают дорогу среди подножий трав, высоких и темных, как лес. Сбоку выползает кузнечик; у него не отросли еще надкрылья, но уже видно, что он никогда не будет музыкантом: где-то погибла одна из его задних лапок — чудесный смычок, играющий полуденные песни солнца. Весь этот уголок свободно уместится под моей фуражкой, но у него свой сложный мирок — муравьиный, жучиный, букашечий. Стоило лечь, и вот перед носом виднеется эта картина, да и то не вся. Я знаю, что земля от поверхности до значительных глубин пронизана ходами и норами, наводнена бактериями; знаю, что личинки точат корни, сидят в глубине стеблей и листьев, что куколки лежат среди ветоши и, как в люльках, качаются, спрятанные в головках цветов.

И всем им нет до меня дела; я могу раздавить весь мирок одним ударом ноги, могу посадить в морилку с цианистым калием и кузнечика, и круглого неловкого жучка, и тех, что под-



Даурская пищуха, или сенокосовка

жимают ножки, а степь будет так же жужжать, стрекотать и копошиться. Для этого мира я даже не проезжий, не лицо незнакомца, мелькнувшее в окне проносящегося поезда, а просто ничто.

Солнце усыпляет, мысли шевелятся вяло: я чувствую подобие обиды оттого, что этой степи я чужой, и резко перевертываюсь на бок. Лежать жестко: дресва — гранитные кусочки крупнее песка, но мельче гравия, дают о себе знать, и мысли снова ползут, лениво, как дальние облака. Теперь я смотрю на камень, который темным зубцом касается сини неба. Сверху желтые лишайники покрыли его нежным рисунком, наискось пересекла его трещина, в которой гранит свежий, светлый, не такой, как с наружной поверхности. Там он изъеден щелями и выбоинами, шероховатый и ноздреватый; от него отслаиваются и опадают мелкие чешуйки. Дневной зной и ночной холод, дождевая вода, а потом лишайники день за днем ведут свою извечную работу. Чешуйка за чешуйкой отслаиваются и падают к подножию скалы, как листья с умирающего дерева, но сколько иссякнет тысячелетий, прежде чем огромный обломок скалы превратится в круглый камень, обгрызанный веками, словно кусочек сахара.

Крупинками гранита завладеет ветер, который точит и шлифует ими уцелевшие скалы; их разносит вода, разрушают корни растений. Тысячи тысячелетий, неописуемая череда лет, — и одряхлевшие горные хребты рассыпались, развевались, страна превратилась в «пенеплен», в «почти равнину» с волнистой поверхностью и зеленеющей степью. Лишь местами сохранились отдельные пики, мелкие обломки былых гор, «останцы», или «свидетели», как их называют геологи. Я смотрю на ближайшую ко мне вершину; ее скалы — тоже свидетели, свидетели, быть может, того, как горы рассыпались в равнину, как ящеров сменили носороги и олени, как вымиралли одни ветви животного мира, совершенствовались другие, как проходили потоки переселенцев из Африки в Азию, из Азии в Америку и обратно. Причудливые имена ископаемых форм, геологические термины начинают роиться в голове, воскресают в памяти понятия, казалось бы, уже исчезнувшие со времени экзаменов. Я добираюсь до даек и лакколлитов, превосходно выраженных во многих местах Монголии, когда раздастся «поеехали!» шофера, первым залезающего на свое уютное место.

Опять ветерок, бег машины и волнистые дали, утопающие в солнце. Подъемы легки, спуски длинные, и степная Цаоди — «Страна трав» — час за часом набегает на дорогу зеленеющими волнами холмов, заливаает нас медовым воздухом. Далеко позади останцы скалистых ворот потихоньку уходят за горизонт, голубеют, потом наливаются синевой. Впереди пологая возвышенность с красноватым, дресвянистым грунтом; на ней мало злаков, и монгольский низкий лук едва прикрывает землю. Для машины — приволье; она мурлычет, как приласканный солнцем кот. И опять, как час назад, от мурлыканья этого и пения, в стороне и справа и слева зашевелились золотистые точки — антилопы.

Но машина опять далеко, и ветер тонким смехом свистит об их бессилии в каждую ячейку радиатора.

Вдруг рядом с нами из какой-то лощины появляются еще два дзерена. Они летят, как на крыльях; в их напряженных телах дерзкий вызов, их копыта как будто не касаются земли; начинается своеобразный поединок. Копыта дзеренов остры; под атласной, песчаной шкурой — мышцы, не знающие усталости; сухожилия, натянутые, как тетива. Их ноздри узки, легкие объемисты, сердце создано для состязаний. Но мало в том пользы — в мастерских братьев Додж покорять золотистые степи народилось ревущее чудовище. Восемьдесят пудов багажа, шесть человек пассажиров, бензин, вода — ничто для его хребта. Счетчик равнодушно приписывает все новые и новые цифры к тысячемильному пути автомобиля, стрелка спидометра указывает всего только тридцать, а дзерены уже отстают и сдаются. Легкое движение руки, нажим рычага — и ветер стихает, убавляется бег, казавшийся неукротимым. Тогда антилопы начинают догонять; они уже несутся вровень с нами и круче держат наперерез. Опять движение руки — злобный рычащий гудок раскатывается над степью, дзерены вздрагивают и летят, как ветер. Они уже близко к дороге. «Готовьтесь!» — кричит шофер; машина ринулась с самой большой своей скоростью. Балансируя, я встаю на колени. Викторич\*, лежа на животе, ухватывает меня за талию, его за ноги придерживает Хун Ю-чен. Машину толкает, подбрасывает, швыряет, ветер высекает слезы из глаз, две желтые тени уже летят над дорогой. Потом мгновенный удар в плечо, грохот в ушах, дым перед глазами. Уже сбоку замечаю, как у дзерена подкосились ноги; оглянувшись назад, вижу как долго катится, скользит он по траве. Машина описывает полукруг и останавливается над убитым.

«Одна в шею, две в грудь, одна в бок и еще в заднюю ногу. Пять картечин...» У дзерена большие выпуклые лучистые глаза, горбоносая сухая голова и почти бесхвостый зад с широким пятном белого цвета. Антилопа оказалась самкой. Надо мной подтрунивают, я же утешаюсь тем, что рогов все равно бы не было видно<sup>1</sup>, а потом, в коллекциях самок, конечно, меньше, и этот экземпляр не будет лишним. Зверя свежуют. Над нами появляется коршун и, раскинув бурые крылья с порыжелыми выгоревшими концами, кружит все ниже и ниже, поводя точеной головой. Потом мы трогаемся, в стволах ружья напеваает ветер заунывную степную охотничью песню, легкий запах порохового дыма знакомой нитью вплетается в строгую ткань степных запахов.

Перед нами длинный пологий спуск, дальше — почти бескрайняя долина, а на ней большое и светлое озеро. У озера — хурэламайский монастырь, ближе юрты, стада и палатки. Мы заезжаем туда, чтобы приготовить обед. Озеро называется Ихэ-Тухум-Нур; мы видим, когда проезжаем мимо, что воды почти нет и обсохшее дно сплошь покрыто белым налетом соли. Здесь и

<sup>1</sup> У дзеренов рога имеют только самцы, самки безроги.



пахнет солопчаками, тонким запахом мелководных морских побережий, а птичьи крики напоминают о Каспии, о Сиваше и черноморских островах. Обеспокоенные шумом машины, перелетают морские зуйки; шилоклювки, белые, как унесенные ветром платочки, с жалобными криками носятся над пересыхающими лужами. Мы пробираемся через грязь, через мелкий ручеек, потом через кочки дэрэсу и выходим на видневшуюся вдали равнину. На пространстве, быть может, не одного десятка верст с обеих сторон дороги низкотравная скудная степь вся изрыта, изъедена, источена норами полевок Брандта. От лаза к лазу тянутся узкие торные тропинки, и вся почва, пересеченная этими прямолинейными дорожками, разделена на множество многоугольников так, что с высоты автомобиля кажется городом, сфотографированным летчиком.

Мелкие желтовато-серые зверушки выглядывают из-за травы, умываются, чистятся, стоя на задних лапках, тащат к норам травинки или спешат за кормом. Всюду мелькают их подвижные фигурки, отовсюду слышится их тонкий и довольно звонкий свист. Солнце начинает клониться к западу, и все население колонии вышло сейчас на вечернюю кормежку. Я вижу молодых, сидящих целыми выводками, вижу престарелых или больных — белесопегих, еще не успевших сменить зимний мех на летний. Они что есть сил спешат поскорее убраться с дороги, но лапки их плохо работают. Как и всегда у колоний грызунов, здесь много канюков и орлов. Одни летят к дальним скалам, унося зажатую в когтях добычу, другие терпеливо стерегут, сидя на кочках и холмиках.

Под вечер мы снова попадаем в гористую страну. Дорога уходит вверх по узким лощинам среди зеленых склонов и пастбищ. Здесь только что прошел дождь, трава выпрямляется, стряхивая капли, и воздух налит благоуханием.

Вечереет, птицы летят на ночевку, и только три орла — два беркута и один степной — рвут еще какую-то падаль у дороги. Два первых успевают слететь; я стреляю в степного, он падает в мокрую, душистую траву.

Уже совсем в сумерки мы подъезжаем к большому монастырю Мишиг-гун. Было бы бесполезной тратой времени искать его на картах: старинный и сравнительно крупный населенный пункт еще не значится ни на одной из них. Половину дня сегодня мы ехали по местности, которая белеет на картах пустым безымянным пятном. Завтра тоже весь день путь наш будет лежать по району, еще ждущему своего топографа.

Босоногие, грязные мальчишки, встретив нас криком и воем, бросаются следом за автомобилем. Это — будущие ламы, ламские ученики и послушники. Один из них, тот что посмелее, встает впереди, заграждая дорогу. Растопыривший ноги в крючконосых сапогах-гутулах и раскинувший руки в широченных рукавах, он похож издали на какую-то причудливую букву. Мимо монастырской стены-частокола, из-за которой смотрят крыши храмов, шести с бунчуками, флажками и украшениями, молитвенные

мельницы и беспорядочная куча плоских монастырских лачуг, мы проезжаем дальше к торговым постройкам. Разбиваем палатку и располагаемся под открытым небом около притихшей машины...

Всю ночь шел дождь, под утро стало холодно (всего 8° по Цельсию). Просыпаясь, я слышал, как бегал кто-то около палатки и хлопал руками, разогреваясь. Резкий и колкий ветер дул от Хангая, низкой чередой тянулись тучи. Позднее, около полудня, когда чуть разъяснило, вдалеке на северо-западе мы увидели гребни гор, сплошь укрытые снегом. На Хангай вернулась зима; холодное дыхание снегопада долетело и до наших гор.

Пассажиры автомобиля преобразились: надели перчатки, плащи, теплые меховые шапки; машина имела теперь вид уходящей для полярных исследований. Первый же перевал (а подъем на него был крутой и высокий) встретил нас свирепым, удушающим, не дающим дышать ветром. Колен дороги, и раньше часто терявшиеся, теперь на горных лугах, чередующихся с болотами, были еле заметны, а добравшись до скал, и вовсе стирались. Мы ехали по высоко поднятой плоской вершине со многими впадинами и бесчисленными останцами, горами скал и грядами щебня. Невидимые резцы и зубила пустынного скульптора-ветра веками трудились над дикими нагромождениями скал и превратили их теперь в причудливые руины крепостей, в сторожевые башни с амбразурами, в зачарованные косоглазые головы каменных баб. Между ними, осторожно пыхтя, час за часом нащупывает дорогу машина; все приумолкли, сидят неподвижно, повернувшись спиной к ветру.

Перемена свершается неожиданно и вдруг: из-за скал, впереди, внизу, под ногами разом показываются беспредельные пространства голубых и призрачных равнин с вереницами светлых озер, еще не попавших на карты, развертываются синие цепи гор с мглой и солнечными пятнами дальних хребтов, тонущих в безмерном просторе. Мы у спуска, и примолкшая машина чертит свой извилистый путь все ниже и ниже по теплему склону остающихся позади гор. Через полчаса мы в долине, видим, как крачки вьются над озером, как никем не тревожимые утки плавают на нем большими табунами. В нем никто еще не ловил рыбы, и осока не гнулась под ногами охотника.

Потом озеро скрывается за мелкими буграми; через полчаса начинаются холмы, через час мы снова на долгом и трудном перевале. Машина уходит вперед и, заваленная багажом, для нас, плетущихся сзади, кажется толстым жуком, который упорно и длительно катит в гору свой шар. Затем опять мы на высшей точке перевала; холод, ветер, а перед спуском — новая голубая бездна под ногами, необычайная панорама голубой и солнечной страны. Так мы проходим четыре или пять перевалов, и каждый раз от начала подъема до гребня и от вершины до конца спуска перед глазами проходят картины постепенной смены растительности и животного мира, связанные с изменениями условий жизни на разных высотах. В долинах — степь или заросли ирисов и дэрэсу, на кочках которых машина прыгает и трясет нас чуть не до потери

сознания. Здесь много монгольских жаворонков, выскакивают зайцы, видны норы тушканчиков. На вершинах — густая и свежая зелень лугов и болот. Здесь рогатый жаворонок вместо белокрылого — монгольского, тарбаганы и джумбураны сменяют зайца и тушканчиков; у болот — красные утки, кулики-красноножки и коньки Ричарда. В одном месте, на лужайке, суетливо тыкался во все ямки куцый маленький зверек с черным ремешком на спине; это был, по-видимому, молодой джунгарский хомячок.

Наконец мы спускаемся к обширным щебнистым пенеplainам. Они унылы и голы; кажется, что растительность только еще начинает захватывать эти места. Всюду блестят на солнце отшлифованные осколки камней; редкие приземистые кустики пустынных трав неприметны и серы, как пыльные. Чем дальше на юго-запад, тем безжизненней и пустыней эти каменные пространства, в противоположность тому, что мы видели позавчера. Уже давно не слышно птиц, уже норы зверьков стали встречаться как редкость. Я постепенно впадаю в уныние: если и дальше страна будет такой же, нечего будет собирать и изучать. Вскоре к югу открывается вид на то, что на карте названо «Долина Эргиргэн-гоби». Трудно создать картину более унылую и безнадежную: мелкий окатанный щебень с мертвым стеклянным блеском покрывает эту «долину», оголенную и ровную, как непомерная площадка для скачек. Ничто не рисуется на скучной черте горизонта — ни куст, ни деревце, ни гребни гор: долина gobi, одна из бесчисленных «гобей», сливается с краем неба, ничем не нарушив тоскливой равномерности.

Полчаса и, быть может, час проходят, не дав ничего примечательного; о той цветущей жизни, которую мы видели вчера, сегодня нет и помина. Одни только зичии, нелетающие крупные и толстые кобылки, убегают от дороги, тяжело волоча раздутое брюшко и длинный яйцеклад, изогнутый, как сабля. Немного дальше белоголовые ржанки и монгольские зуйки<sup>1</sup>, кулики, изменившие привязанностям своих родичей, молча смотрят на быстро уносящуюся машину.

Под вечер опять начинаются легкие возвышенности, постепенно сменяющиеся травянистой долиной, и мы подходим к реке Онгийн-Гол, вдоль которой рассыпаны стада и айлы. Онгийн-Гол разлился; родившийся на высотах Хангая, он быстр и стремителен, как все горные реки; после дождей и снегов уровень воды быстро поднялся; мутный, бурлящий поток имеет вид внушительный и грозный. Стоит ли говорить, что мостов на этой реке нет; переправа возможна только вброд. Однако сделать это сегодня — нечего и думать. Мы разбираем палатку на зеленой лужайке близ монгольского стойбища, окруженные пестрой толпой его жителей.

---

<sup>1</sup> Огромное большинство ржанок и зуйков — птицы морских побережий, тундры и вообще угодий, богатых водными пространствами.

Вода спадает, но очень медленно. Слышно, как время от времени с плеском рушится в воду подмытый участок берега, но день ото дня рокот воды слабеет, и на третьи сутки ожидания мы получаем возможность переправиться. Впрочем, кажется, никто не сетовал на непредвиденную остановку. Всем было приятно отдохнуть у реки, наблюдая за жизнью кочевой и привольной Монголии.

Белые стада юрт мелкими группами рассыпались по зеленым и свежим лугам. Около юрт резвились чумазые ребяташки, хлопотали женщины в красных, как мак, халатах, в полдень и к вечеру приходили шумные стада. За стадами следили пастухи на конях, целый день напевавшие песни, лежа под бугром или в рытвине, защищенной от ветра. Под вечер, когда стихал дневной шум, вдалеке за рекой играла свирель; ночью собаки заливисто лаяли на звезды, по утренним зорям курлыкали журавли, а речные струи рокотали день и ночь, торопясь докатиться до Гоби, влиться в озеро Улан-Нур.

На реке было много птиц, и частенько раздавались наши выстрелы, но зверьками долина очень бедна. Сзади нас на бугре были норы даурской пищухи. Днем ее можно видеть греющейся на солнце, а в вечерние сумерки она оживлялась и начинала свистать. Тонкая, красивая трель зверька слышалась через определенные промежутки времени (должно быть, минут восемь или десять), даже после наступления темноты, хотя ниоткуда не доносилось ответного «пения». Пойманная пищуха оказалась самцом; может быть, как у птиц, способность петь является особенностью этого пола.

Недалеко от пищухи жили джунгарские хомячки; они собирали в защечные мешки жуков и зерна ириса, которые уносили в свои подземные кладовые. Как-то раз выскочил на лужайку тушканчик, латинское название которого означает «скакун» (*Alactaga saltator*). Уже по одному этому можно судить, на что была обречена попытка поймать зверька живьем. Легкий, быстрый, увертливый, он замелькал среди травы белым значечком своего хвоста и скрылся в нору, прежде чем преследователи сообразили, куда он мог деться.

Помнится, на второй день ожидания наши соседи монголы начали переправлять через реку стада, долгое время остававшиеся без хозяев на противоположном берегу. Пятеро всадников подогнали к воде животных, из которых некоторые тотчас же пустились в плавь. Стремительное течение, крутя, подхватило первых четырех овец, но они как-то сумели выбиться и вышли на берег, от которого уже удалялись мокрые, лоснящиеся быки. Однако быки плохая компания для овец: те растерянно оглядываются, потом пускаются в обратный путь к нерешительно остановившемуся стаду. Здесь монголы встречают их ударами палок и толчками. Снова течение подхватывает четырех пловцов, но пример их и на этот раз не соблазняет стадо: оно стоит в воде, зябнет и не трогается с места. Тогда на пушистые, еще не стриженные спины овец начинает с пяти

сторон сыпаться дождь ударов и отчаянные крики. Криками отвечают монголы, стоящие на нашем берегу, но и это не помогает — стадо остановилось, как белая груда камней. Проходит не менее получаса, прежде чем хозяева догадываются взять одну овцу на веревку и, погоняя других, въехать в воду. Середина июля, а овцы еще не стрижены; они уже наполовину растеряли шерсть. Не стригут же их потому, что может случиться возврат холодов, и тогда беззащитные животные погибнут...

Наша переправа через Онгийн-Гол была веселой и шумной. К этому времени пришел еще один автомобиль со множеством пассажиров и целым ворохом пожитков. Разбросанные кучи багажа, две машины, освобожденные от всего лишнего, группы пестро одетых людей у дымящихся костров, повозки, запряженные быками и яками, всадники, множество собак, и над всем этим многоголосый шум и небо, почти белое, с белыми курчавыми облаками — вот картина стоянки у переправы. Багаж перевозился вьюками и на повозках; погонщики с криками брели по воде; в машину запрягли четверку быков. Вода хотя и сбывла, но на месте переправы доходила до кузова автомобиля, и, что самое главное, щебнистый грунт был бегуч и неплотен, так что колеса в одно мгновение могло заметать. Поэтому шофер сидел у руля, и лишь только быки переставали тянуть, как начинал реветь гудок, и животные брались за дело с новой силой. Наконец процедура переправы, тянувшаяся не один час, пришла к концу. Мы на правом, степном берегу. По нему ходит монголка-старуха, собирает аргал — побелевший выветрившийся помет куланьих стад и давних верблюжьих караванов — и бросает его в заплетную корзину ловким движением специальной граблеобразной лопатки. Корзина ее почти полна; по монгольским приметам, встретить на пути такую женщину — к удачной поездке.

Уже вечереет, когда мы подъезжаем к монастырю Уйцзин-ван, останавливаемся на ночевку в русской фактории и в первый раз за неделю ночуем под прочной кровлей. Помню, на закате мы все вышли за ворота фактории. И монастырь и поселок были как-то особенно тихи; на ясной, холодной заре кружились иссиня-черные клушицы и с криками забивались под крыши. В Монголии, высоко поднятой над уровнем моря, на которой даже равнины лежат выше гребней многих наших хребтов<sup>1</sup>, эта горная красноклювая галка заменяет нашу обыкновенную и охотно живет в постройках. Нашего воробья здесь тоже не было; каменные воробьи с более протяжным и мелодичным криком летели от степи к домам на ночевку.

Теперь до Ламан-гэгэна нам оставался один дневной пробег, хотя и несколько больший, чем мы

<sup>1</sup> Даже уровень озер лежит здесь на высоте от 700 до 1200 метров над уровнем моря.



делали до сих пор. Мы выехали вскоре после рассвета, и солнце, поднявшееся из-за гор, застало машину мчащейся далеко от Уйцзин-вана. Утренний воздух был холоден и свеж, краски — нежны и необычайны; долины, холмы, склоны гор на десятки верст совершенно безлюдны. Страна казалась бы вовсе мертвой, если бы не орлы, спозаранку слетевшиеся на обильную пададь, хлопающие крыльями, прыгавшие, согнувшись, и отгонявшие друг друга.

Дальше местность стала еще более унылой. Сожженные скалы с торчащими из щелей тощими кустиками карагаиы сменялись обширными оголенными пространствами, напоминавшими бесстравную степь; дальше — пересохшие песчаные русла ручьев и речек, уже давно лишенные воды, пересекали долины, в которых не дымились юрты, а были рассеяны лишь покосившиеся могильные камни да кэрэксуры — курганы из груды камней, окруженной кольцом или квадратом из камней же. Это были окраины Северной Гоби, в которой нам предстояло провести половину лета.

От сухого встречного ветра горело лицо и начинали трескаться почерствевшие губы; взгляд уныло скитался по безрадостным пространствам щебней и скал, терялся среди впадин, сменявших возвышенности, и возвышенностей, разбросанных по впадинам. Казалось, природа имела и время и силы разрушить горы, рассыпать их в хаос мелких неровностей, но не довела своего дела до конца: она не принесла сюда достаточно влаги, не создала здесь почв, скудно посеяла травы.

Так может казаться, на самом же деле картина сложнее. Наука говорит нам, что пустынная Азия знала когда-то и лучшие времена. Они прошли, резко изменился климат, и там, где еще в плиоценовое время была цветущая жизнь, теперь лежат мертвые пространства. На месте лугов, быть может, кустарников и перелесков раскинулась полупустыня и пустыня, не песчаная, в барханах, с представлением о которой связано у нас это слово, а щебнистая и горная, на тысячу метров и более поднятая над уровнем океана. Зима холодная здесь, как в Сибири, но бесснежна и ветрена; лето жарко, дожди малочисленны. Все же жизнь должна быть и здесь, ведь она гибка и приспосабливается ко всяким условиям. Словно алой кровью расцветивают мельчайшие водоросли белые снега высочайших горных вершин; она



теплится и мерцает в голубых и зеленых огнях фантастических рыб вечно темных провалов океана, слышится в тысячеголосых криках птичьих базаров на островах полярного моря, в зеленом шелесте тропических зарослей.

Одна из задач натуралиста — отыскать ее всюду, где она существует, и указать на ее особенности. Конечно, она удержалась и здесь, даже далеко не всегда бесцветная и не бросающаяся в глаза. Какой-то ирис, странно зеленый среди серых поlynных веточек, цветет сейчас фиолетовыми цветами, и его редко разбросанные кочки кажутся чуждыми этой местности, словно случайно оброненные проезжим садовником. Плотные, низкие шапки окситрописа с голубоватыми листьями так обильно усажены колючками, что похожи на большого, свернувшегося в клубок ежа. Монголы так и называют его «дзара», что означает еж. Но цветы у дзара яркие, алые, и лежат на самой кочке, словно вовсе лишены цветоножек. Они так свежи, что думается, ветер принес их от влажных альпийских лужаек.

Местами слегка зеленеют низинки, поросшие приземистым луком; кое-где виднеются дерновины дэрэсу. Из-за них дружной стайкой вылетают острокрылые, острохвостые саджи-бульдурюки. Чем дальше, тем чаще встречаются стада этих птиц; над сожженными склонами проносятся уже не десятки, а стаи по несколько сотен особей.

Саджа, или копытка, как прозвали ее русские охотники за миниатюрную и плотную трехпалую лапку, напоминающую копытце, ростом немножко меньше голубя, с которым сходна и формой тела. Ее оперение сверху глинистого цвета с красивым буром рисунком, на зобе — узорный ошейник, на брюшке — большое черное пятно. Она принадлежит к семейству рябков, родственному голубям, но издавна приспособившемуся к жизни в пустынных, открытых местностях. Быстрокрылая, со стремительным и сильным полетом, саджа не боится гнездиться в местах, отдаленных десятком или более километров от ближайшего водопоя. В простую ямку среди сухого песка и дресвы самка кладет три-четыре глинисто-бурых пятнистых яйца, по цвету таких же, как почва окружающей равнины. Днем солнце греет их чаще, чем мать, которая предпочитает вместе с другими членами стаи собирать семена пустынного лука, черные и мелкие, как стеклянный бисер. Птенцы выходят покрытые пухом и рано привыкают заботиться о себе. Осенью они начинают кочевать, сбившись в тысячные стаи, а к весне, в некоторые исключительные годы, отличающиеся какими-то неблагоприятными для них условиями, появляются далеко от границ своей родины. Эти-то налеты и сделали саджу такой известной. Пустынная азиатская птица несчетными стадами летит иногда на запад, достигая Ирландии и

Лапки саджи



Фаррерских островов, Архангельска на севере, Италии на юге. Отдельные пары пытаются здесь гнездиться на песках и приморских дюнах, но вскоре вымирают и выбиваются охотниками.

Проходит десяток, другой лет, и о садже почти забывают, как вдруг новый налет и новые тысячи пустынных пришельцев наводняют Европу. Налеты эти хорошо описаны, но до сих пор еще не установлены точные причины, их вызывающие. Одни ученые полагают, что птицы просто «сбиваются с дороги», возвращаясь на родину с зимних кочевок; другие — ищут причину налетов в чрезмерном увеличении количества птиц после годов, благоприятствовавших размножению. Но те, кто видел саджей на их родине, вряд ли будут сомневаться в их умении ориентироваться при полете, а также и в том, что пустыни еще слишком богаты свободными местами. Скорее всего правы третьи, видящие в выселениях следствие исключительного недостатка корма на местах постоянного обитания этих замечательных птиц.

С коротким, округлым криком вроде «пэк-трооо, пэк-трооо» саджи проносятся над нами и, снизившись, разом садятся на землю. Вы прекрасно видели, как опускалась стая в сорок или пятьдесят саджей, но едва они коснулись земли, как птицы пропали. С большим трудом в бинокль можно отыскать одну или двух,двигающихся быстрее других, но как только они остановятся, вы тотчас же теряете их из вида. Окраска саджи — одна из поразительных степных или пустынных окрасок, тонко гармонирующих с расцветкой сухого грунта и так распространенных у зверей, птиц, ящериц и насекомых открытых мест, на которых иначе было бы трудно скрыться.

Долгое время стаи этих птиц были единственным нашим развлечением, но потом местность снова стала более гористой, и в одной из долин показалась речка. Здесь при спуске тощий, поджарый волк перебежал нам дорогу и остановился, рассматривая машину. После выстрела раненый зверь быстро скрылся в балку; я пошел его преследовать, но в результате долгих поисков среди скал не нашел ничего, кроме покинутого гнезда филина. Это была небольшая пещера, сверху и с боков защищенная плитами, внизу ничем не высланная. Множество костей тушканчиков, зайцев, даурских пищух и пищух Прайса свидетельствовало о том, что филин находил у долины достаточное количество пищи.

Тем временем остановившиеся у речки приготовили обед и уже обедали, бросая кости откуда-то взявшимся коршунам. В Монголии черноухий коршун привык сопровождать кочевников, и стоит остановиться лагерем, как три-четыре птицы возьмут на себя обязанность санитаров. С удивительной ловкостью выхватывают они почти из-под рук брошенные кости и куски мяса, совершенно не пугаясь обедающих. Если кусок невелик, тут же на лету коршун передает его из лапы в клюв и проглатывает, чтобы снова свободно кружить над местом стоянки и высматривать новую подачку.



Эта речка называлась Ширгаин-Гол. Потом мы пересекли Тацьян-Гол и Шарагольджа-Гол, более богатые водой, но все же легко проходимые. К вечеру, когда снова нас окружили высоты с полустепною флорой и богатыми колониями сурков, мы повернули на север той самой долиной, в вершине которой расположен Ламан-гэгэн. Чаше начали попадаться встречные всадники, пасущиеся кони, стада коз и овец, отдельные черные юрты монголов, усталые караваны верблюдов с большими ношами шерсти. Дальше по склонам гор высоко паслись яки, черные, серые и пестрые, рогатые и комолые, все одинаково лохматые, массивные, но легкие и порывистые в движениях. Завидя машину, они хрюкали низким, рычащим басом и неслись по косогорам вскачь, высоко взмахивая косматыми хвостами. Еще дальше долина сузилась в теснину, а дорога круче полезла вверх, потом ушелье расширилось в большую котловину, по дну и склону которой, окруженный зелеными шапками гор, широко раскинулся монастырь.

Уже затемно мы поставили палатку рядом с домом во дворе фактории, и разом грянувший ливень словно заторопился опустить занавес после первого этапа путешествия.

## У ЮЖНЫХ ОТРОГОВ ХАНГАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

Автомобиль, доставивший нас в Ламан-гэгэн, ушел обратно на другой день утром, увозя груз пушнины и наши письма. Серый, запыленный «додж» быстро покатился вниз по долине, превратился в букашку, потом в точку и исчез за поворотом. Но еще долго слышался издали певучий, рокочущий звук, бодрый говор мотора и хрюканье напуганных яков.

В нашем распоряжении остались теперь стародавние средства передвижения: впереди не было колесных дорог и тянулись лишь тонкие, легко рвущиеся нити вьючных тропинок, то намеченные следами кочевников между отдельными колодцами, то теряющиеся в зарослях речных долин. Нужно было купить верблюдов, чтобы везти наш груз, и верховых лошадей для себя. Ни тех, ни других поблизости не оказалось; и Миша был отправлен к дальним кочевьям, где сейчас стояли богатые скотоводы. Таким образом мы получили достаточно времени, чтобы ознакомиться с окрестностями монастыря.

Его окружали изрезанные склоны гор, еще зеленые в понижениях, сожженные и сухие на солнцепеках. Близ вершин (около 8000 футов) по северным склонам ютились небольшие лиственные рощи, защищенные от сухих южных ветров гребнями гор. Это — клочки леса, вплотную выдвинувшиеся по предгорьям к границе пустынной, безлесной полосы. Они, наверное, давно были бы вырублены, если бы ламы не объявили их священными. В Монголии немало таких почитаемых уголков: это или отдельные горные вершины, уединенные, покрытые снегом, или целые

плоскогогорья и хребты, иногда реки, озера, источники, считающиеся целебными. На подробных картах пестреют имена «Богдо» — святой, с разными приставками, или «Хаирхан». Последнее слово, нанесенное на карты, говорит лишь о незнании производивших съемку: хаирхан — вовсе не собственное имя, а нарицательное, означающее «славный», «миленький». Его монголы произносят, находясь вне стен юрты, ибо грешно и опасно, по их мнению, упоминать подлинное имя священной горы у нее на глазах. «Обо», или «обосы», также имеют отношение к этому культу. Начиная подъем на перевал, монгол берет у подножия горы камень и кладет его, достигнув гребня, в добавление к куче, уже сложенной из приношений ранее проходивших путников. Кости, рога баранов, старая обувь, разрозненные четки, куски ремня, обломки посуды — все годится в дар духу гор. В безлесных местностях считается особенно полезным украсить обо жердьями или сучьями лиственницы; на их ветви привязываются потом нитки, лоскутки одежды и пучки конского волоса, которыми завладевает горный ветер, треплет их и купает в прозрачном воздухе высот. Нет ни одного хребта, ни одного перевала, на котором не нашлось бы обо; многие из последних даже нанесены на карты, так как вместе с колодцами являются единственными прочными следами человека на пространствах, где подвижные дома кочуют и деревни не имеют пристанища.

Обо, субурганы — часовни и молитвенные изречения, выложенные на склоне горы из белых камней, близ Ламан-гэгэна были особенно многочисленны. В камнях первых жили горные серо-седые полевки *Alticola*, черноглазые, короткохвостые зверьки, с первого взгляда больше напоминавшие хомячков, чем полевок. В жаркие часы дня можно было видеть, как они с ловкостью ящериц бегают по трещинам отвесной скалы и, достигнув какого-нибудь уступчика, начинают перебирать и шевелить там пучки сена, сложенного на просушку. Потом, то исчезая в пустотах, то вдруг выныривая из камней совсем не в той стороне, где ее ждешь, полевка спускается книзу за горными астрами, злаками и щавелями. Набрав пучок травы, из-за листьев и цветов которого его черные глазки блестят, как бусины, зверек пускается в обратный путь к своим сушильням. Солнце жарко припекает скалы, уже к вечеру трава превращается в сено и с уступов и других открытых мест переносится в глубокие щели или в пазухи под плитами, куда не попадет вода и где нет сырости; так еще в июле готовит горная полевка запасы на длинную голодную зиму. Зверек этот тесно привязан к скалам, никогда не уходит от них далеко и делает гнезда в недоступных щелях и трещинах.

Скалы разбросаны по лугам, населенным сурками и джумбуранами. До сих пор я видел этих грызунов с автомобиля и теперь рад часами наблюдать за мирной жизнью колоний. В тени скал брошу тяжелый рюкзак, сверху положу ружье и лопату, сам усядусь с биноклем. Затихает мало-помалу тревожный свист, связанный с моим появлением; ближние сурки засели глубже

в норах, решив испытать терпение подкарауливающего, дальние принимаются за прерванные дела. Я вижу, как на широкие площадки перед норами выходят тяжелые сурчихи и, лежа на боку, предоставляют солнцу золотить и греть желтоватую зимнюю шерсть. Они едва начали одеваться в летний мех, тогда как холостые самки уже перелиняли и стали серовато-бурыми, должно быть, семейные дела задерживают линьку.

Около матерей, рассыпавшись по склону, шиплют травку дымно-серые, не по возрасту толстые сурчата, неторопливо ковыляют среди камней, оглядываются и взмахивают хвостом совсем как взрослые. В их движениях все то же спокойствие и медлительность, неуклюжая грация домоседов, как у старых полупудовых сурков, чьи заплывшие маленькие глазки полны ленивой, безмятежной неги, чьи тяжелые животы при вынужденном бегстве трясутся жирными складками и катятся по земле, едва уносимые слишком короткими лапами. Спешить, торопиться не в природе сурка. Пусть скачет тушканчик — любитель изысканных луковиц, пусть суетится полевка, готовясь к трудной зиме, пусть рыщет лисица, жадная до свежей крови. Сурку довольно и травы, самой низкой, приземистой, сильно пощипанной стадами, и нет нужды уходить далеко от норы. Ведь травы много, она еще зелена и не совсем выгорела; под бескрайним небом — бескрайние пространства пастбищ. Припечет солнце, засохнут, пожелтеют склоны — сурок спокойно заляжет в спячку; сидячий медлитель-домосед он уже накопил запас жира на целую зиму.

Степным азиатским кочевникам чужда и непонятна озабоченная деловитость европейцев. Человек медлительный, степенный, бездельный — в их понятии почтенный человек; занятый, торопливый, стремительный — достоин всякого сожаления. В этих странах никто не придумает лишнего дела, и время течет само по себе, как солнечный свет на равнины. Оттого и сурок, лето дремлющий на солнце, зимою и осенью спящий в норе, спокойный и степенный, по убеждению кочевников, несомненно, знатный человек. Они говорят: «Был тарбаган богачом и звали его Курун-бай. Тысячами коров, лошадей, верблюдов, овец владел он, но когда приходили нищие, убогие, он отказывал и ничего им не давал. Тогда за

Сурки



дурной нрав и превращен он был в сурка, которому велено было питаться травой и спать долгую зиму. Сурок покинул свое семейство с криком: «Прощай!» Так и теперь он кричит, вылезая из норы и возвращаясь в нее. А скот его был обращен в диких животных: коровы — в маралов (оленей), бараны в архаров (горных баранов), козлы в каменных козлов, лошади — в диких ослов-куланов». И еще рассказывают, будто по знатности своей не любит тарбаган выходить из норы на сырую траву, по росе или после дождя. Наблюдение это верно лишь отчасти: действительно, сурок избегает сырости, но пасется иной раз и после росы и даже во время небольшого дождичка.

«Хорошо, если застрелишь наповал тарбагана из лука; худо, если со стрелой уйдет он в нору. Тарбаган обратится тогда в черта; десять человек, целый хошун (волость) не выроет его, целому аймаку (уезд) добыть невозможно». Действительно, редкое нужно терпение, чтобы вырыть даже ненапуганного сурка из норы, сделанной в каменной и твердой почве. Далеко в глубину склона, извиваясь между камнями, уходят галереи; трудно добраться до просторной камеры, высланной мягкой сухой травой, в которой звери отдыхают и где лежат в спячке, собравшись на зиму большими обществами.

«Курун-бай» пасутся, останавливаясь и приседая, ковывают по склонам, похрюкивают и свищут, перекликаясь. День клонится к вечеру, в часы второй, послеполуденной кормежки (первая была утром, едва обогрело солнце) все население колоний высыпало на луга. Орланы-длиннохвосты и беркуты высоко в синем небе вьются над сурочьим городком, ждут, не зазевается ли где молодой сурок, не лежит ли раненый или больной зверь. Но не так-то легко выхватить жертву из дружной тысячеглазой, тысячеголовой семьи. От склона к склону, от хребта к хребту переливается тревожный свист, и низко спустившийся орел уже никого не может захватить врасплох. Сурки лишь несколько приблизились к норам, но даже не бросили кормиться; они спокойны — за ними глаза, слух и бдительность соседей. Тогда, без взмаха крыльев, орел взмывает над котловиной и переваливает через хребет к новой, еще не напуганной колонии. Мгновенно, вдруг вывернувшись из-за скал, он ринется вниз по стремительной плавной дуге, вычертив свистящими кончиками крыльев точный профиль горы. Только этим мгновенным, молниеносным налетом — таким быстрым, что, имея в руках ружье, не успеешь о нем и вспомнить, как уже орел превратился в точку, — только таким порывистым броском можно

захватить сурков врасплох. А если не удастся и это, то орлу остается последнее: сесть на скалу близ нор и, слившись с ее мшистым гребнем, часами ждать и стеречь, слушая тонкий звон травяного ветра. Так стерегут и



монголы, укрывшись за стенкой, сложенной из камней наподобие небольшого окопчика.

Если угроза из воздуха встречается сурками спокойно, то совсем иначе переживает колония появление наземного врага. Лисица, собака или волк, показавшиеся в пределах городка, заставляют ближайших сурков кинуться в норы, где они и затаиваются у входов, выставив из лаза только темную часть лба и носа вместе с присматривающимся глазом. Радиусом в сто или сто пятьдесят шагов вокруг хищника образуется покинутое зверями пространство, и за пределами этого кольца все, и старые и молодые, сидят в наблюдательных позах и свистят непрерывно. Это мертвое пространство и свистящий круг разведчиков перемещаются по мере продвижения носителя опасности. Редко при такой обстановке удается ему захватить какого-нибудь сурка, слишком далеко ушедшего от норы; чаще же приходится прятаться в камни и тоже стеречь целыми часами, пока сурки не позабудут об опасности. Охрана сурочьих городков так хороша, что монголы по тревожному свисту узнают о приближении волков, которые могли бы повредить их стадам.

Много позднее на северном склоне Барун-Богдо-Ула мне пришлось наблюдать тарбаганов одной колонии, большая часть населения которой или погибла, или ушла от дождевых потоков, заливавших норы, расположенные в понижениях. Немногочисленные оставшиеся сурки лишились выгодного соседства и были необычайно осторожны. Они так редко покидали норы, что, вероятно, постоянно голодали и вряд ли накопили жир, необходимый для зимней спячки.

Любопытно, что обычно смелый и совсем небоязливый джумбуран, живя вместе с сурками, научается их осторожности и по первому тревожному свисту тарбаганов поспешными прыжками бежит к норе. Последняя иной раз уходит под камни всего сантиметрах в двадцати-тридцати от устья сурочьей норы; джумбуран останавливается здесь и, вытянувшись во весь рост на задних лапках, кажется рядом с сурком тоненьким и стройным, как ящерица около черепахи. Короткое «чэрэк» или «чрэк» эверсманнова суслика примешивается тогда к сурочьему свисту и хрюканью.

Джумбураны, жившие внизу котловины, совсем не боялись людей, играли, прыгая друг через друга, тащили в гнезда клочья шерсти и куски кошмы, набивали защечные мешки семечками, делали все свои несложные сусличьи дела около самых монгольских юрт. Кочевники бережливо относятся ко всему живому, без нужды не истребляют и не мучают. Множество примет и поверий обещает благополучие за доброе отношение к живому, всяческие кары сулятся тому,



Эверсманнов суслик

кто нарушит обычаи. Поселившийся в юрте грызун «ухырокто» (сеноставка или суслик) сделает то, что у хозяина будет много коров, но горе тому монголу, который убьет лебедя, орла, красную утку, даурскую галку, будет бить лошадей по голове или выдергивать траву с корнем; по отношению к последней ведь это «то же самое, что шипать волосы из бороды».

\* \*  
\*

Зной, душно, жарко... Коршуны десятками вьются в высоте, среди камней «черкает» суслик, где-то далеко, на противоположном склоне похрюкивают сурки. Беркут черной стрелкой чертит спирали над вершиной, где небо бездонно-синее и облака выходят из-за гор, как белые лохматые яки. А сами сарлыки<sup>1</sup>, собранные на полдень в ущелье, грудятся, как мелкие обломки скал, тогда как подлинные скалы «пасутся» по склонам большими рассыпанными стадами.

Без дороги по косогорам к табуну лошадей скачет монгол в ярко-красном халате и, добравшись до гребня, запекает песню, тягучую, горловую, но какую-то особенно счастливую и бодрую. Да, пожалуй, и не может быть иной песни на этом гребне, с которого дали на сотню километров все голубей и прозрачней, а дороги, как нитки золота. Ярким степным маком в последний раз мелькает халат за камнем, новая группа появляется тем временем у долины.

Путники едут верхом на рогатых, лохматых сарлыках. Яки высунули длинные белесые языки, тяжело пыхтят, но идут обычной красотой и легкой поступью. Ими правят монголки — женщины в голубых и красных халатах, с причудливыми прическами в виде изогнутых рогов, и две девушки в желтых халатах с длинными черными косами. Они едут тихонько, покачиваясь в седлах, и сквозь зубы насвистывают песни. Потом, когда я спускаюсь к дороге и начинаю раскапывать норы, появляется новый проезжий — пастух. Он весело говорит что-то приветственное, слезает с коня и садится со мною рядом. Мои познания в монгольском языке к тому времени ограничиваются десятком слов, из которых к тому же половина не годится для разговора, так как заключает названия зверьков и птиц. Монгол тоже по-русски ни звука, а потому достает трубку из-за голенища, закуривает, весело щурит щелки глаз и блестит зубами. Я показываю ему ловушки, даю бинокль, знаками поясняю, что охочусь за тарбаганами. Это его сразу заинтересовывает; он осматривается вокруг, потом, смеясь, встает на четвереньки, грозно двигает челюстями и делает вид, что щиплет траву. Два-три жеста — все сказано: там, за бугорком, пасется старый сурок. Мы делаем попытку подкрасться к нему, но звери напуганы (я убил уже здесь троих), и они сейчас не подпускают на выстрел. Так, пробродив с полчаса,

---

<sup>1</sup> Сарлык — як по-монгольски.

мы расходимся приятелями. Вскоре слышно, у субургана на перевале он начинает степную мелодию, звенящую и теплую, как июльский ветер, светлую и солнечную, как волнистые склоны гор...

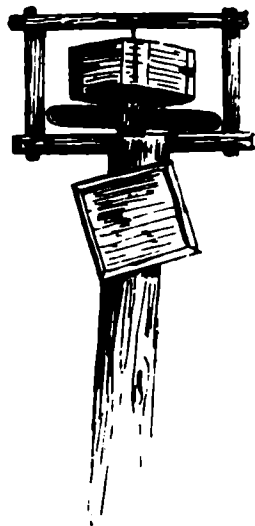
Ламан-гэгэн лежит подо мной в глубокой долине. Я вижу отсюда рощи, которые он объявил священными; вижу каменную мистическую формулу «ом-ма-ни-падмэхум», пересекающую склон горы, слышу музыку богослужения. Это то ровные басовые ноты, как сонное гудение шмеля, то сухое пение крыльев трутней, то редкие тревожные удары в тарелки.

Монастырь готовится к большому празднику Торм. В бинокль мне видно, как ламы в красных накидках толпятся у храмов и разучивают на площади танцы предстоящих мистерий. Медленно кружится и топчется красный хоровод; поднимаемые ноги, опускаемые руки движутся плавно, спокойно, как во сне. Музыка навеивает дрему, и я, кажется, начинаю засыпать, убаюканный теплым ветром высоко на хребте над монастырской долиной. Дрема и сон...

## ВДОЛЬ РЕКИ ТУЙН-ГОЛ ДО ОЗЕРА ОРОГ-НУР

Не помню точно, в какой день, но, вернувшись однажды с ламангэгэнских гор, я застал у палатки Мишу, деловито докладывавшего о покупках и расходах. Четыре верблюда стояли привязанные у частокола двора, и кто-то гнал уже шесть наших коней на ближайшее пастбище. Тогда появился у нас и Дорджи, молодой монгол, только что вернувшийся из армии. За обедом он всему и всем беспричинно радовался, ел баранину до седьмого пота, обтирал жирные руки о сапоги и полы лилового халата, причмокивал и качал головой, получив свою порцию компота. Он знал по-русски «ать, два, три», «товарища» и «интернационала», позднее же усвоил еще пять-шесть слов, из которых ухитрялся строить целые фразы. С его помощью и при деятельном участии жившего по соседству кривого и добродушного монгола были сделаны недоузки и путы для коней, куплен майхан — легкая монгольская палатка и хомы — верблюжьи вьючные седла из двух брусьев, войлоков и мешков с сеном. Теперь можно было начать путь к югу, и на 25 июля было назначено выступление.

«Цог, цог, цог!» — кричит Дорджи, ударяя сапогом по передним ногам



Молитвенная ветряная мельница

верблюда и дергая книзу за повод. Повод привязан к палочке с развилкой, протыкающей перегородку между ноздрями, и, когда за него дергают, узкие щели носовых отверстий еще более суживаются, верблюд тоскливо поводит головой и с каким-то сдержанным кряхтением становится на мозоли кистевых сгибов, потом подгибает колени, качнется вперед, назад и уже лежит на земле. Его бока и горбы пеленают войлоками заботливей, чем мать ребенка, сверху войлоков кладутся мешки с сеном, а на них продольные брусья, которые стягиваются по концам веревками — верблюд оседлан. Тогда с боков подтаскивают груз, увязанный в два плоских тюка с веревочными ушками вверху, на стороне, которая будет обращена к верблюду. Одно ушко продевается в другое, в продетое вставляется колышек, выдернув который, можно сбросить потом вьюки на землю. Сверху кладутся мешки и свертки, узлы с посудой и палаточные колья, потом все покрывается брезентом и опутывается веревкой по особой системе, выработанной вековой практикой кочевников. Один за другим поднимаются вьюки, покачиваясь на высоте верблюжьего роста. Вот животные связаны в цепочку, Дорджи трогается, взяв передового, мы садимся на коней и выезжаем за ворота.

«Лиха беда — начало», — гласит поговорка. Она как нельзя более приложима ко всякому первому выступлению еще не сладившегося каравана. Верблюды не привыкли к новым хомам и не применились к тяжести вьюков, коней беспокоят новые уздечки и всадники, одетые не по-туземному, не успевшие пропахнуть привычным запахом аргала и юрты. Вьючные животные бесполово дергают друг друга, кони пугаются каждого неловкого движения, в любую минуту готовы кусаться, бить копытами или помчаться в степь и сбросить незнакомое седло; все настороже — и люди и те, кто их везет. Но проходит час, другой и третий, неровности начинают сглаживаться, через неделю между вами и вашим конем — полный мир, и Серый трется мягкой мордой о ваше плечо, сгоняя надоедливых мошек, сам нагибает голову при надевании уздечки.

Мимо монастырского колодца и столпившихся лам, по долине, спускающейся к югу, мы выходим за пределы гористой страны к северным границам полупустынной и пустынной областей. Еще недавно свистели на склонах сурки и «черкали» эверсманновы суслики, но реже и реже слышатся их голоса, луговины сменяются бестравными, щебневатыми склонами, шире становятся сухие долины, ниже делаются горы, спустившиеся сюда от севера.

Над серо-желтой, словно пеплом посыпанной почвой невиданными цветами начинают впереди расцветать желтые, синие, оранжевые и голубые халаты монголов. Мужчины, женщины, дети, разнообразные группы в самых новых нарядах, в причудливых головных уборах скачут к монастырю на праздник. Под ними кони, яки и верблюды в лучшем убранстве; на вьючных животных узлы с приношениями или ящики, прикрытые войлоками, из-под



которых выглядывают чумазы ребятишки, еще не умеющие ездить верхом. Завтра — Торм, и все мы жалеем, что не могли на него остаться (впереди длинный маршрут и небольшой запас времени для его выполнения)...

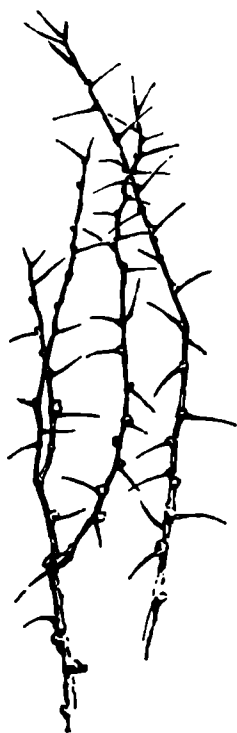
Иная музыка, иные краски ожидают нас — Ламан-гэгэн скрылся за поворотом; оглядываясь, я вижу только склоны, усыпанные скалами и караганой, да узкую цепочку нашего каравана. Ровная, мягкая поступь животных, ритмическое покачивание вьюков, живописный Дорджи, с сознанием собственного достоинства следующий впереди, — все, как у караванов на картинах. Мы уже прошли километров двенадцать; новый способ передвижения не кажется таким необычным, как вначале. Я решаю, что пора приниматься за дело.

Прежде всего следует приучить Серого к выстрелам. Три дрофы пасутся в стороне; подобраться на выстрел хоть и трудно, но можно; к тому же для пробы я не прочь выстрелить и на большом расстоянии. Для первого случая рискованно стрелять из седла: я слезаю, крепко наматываю повод на руку, и вот уже картечь поет над дрофами. Они расправляют черно-белые крылья и, так как ветер дует от меня, а подниматься им легче против ветра, летят в мою сторону. Снова раздается выстрел, теперь уже почти под мордой лошади, и катастрофа следует мгновенно. Стрелок лежит на земле, повод сорван с руки, и обезумевший Серый, прижавший уши и раздувший ноздри, скачет во весь опор по степи, все более прибавляя ход, так как освободился один конец бурки, привязанной к седлу, и это черное, лохматое начинает бить его по боку. Вот он приближается к группе наших, едущих впереди каравана, и там сейчас же происходит переполох: один конь пускается вскачь, два других бьются и дрожат, спутанные вовремя спешившимися всадниками.

Только под вечер сглаживаются последствия первого знакомства животных с пороховым дымом и выстрелами. Серый дрожит еще, когда я начинаю его расседлывать, и долго не дает надеть на ноги путы, прежде чем отправляется на выпас.

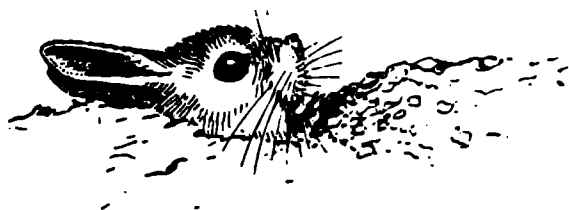
Кончился первый походный день, палатка расправляет прозрачные крылья, как белая птица, укрывающая гнездо; близ островерхого майхана Миша хлопочет над ужином. Облачный вечер переходит в ночь.

Колючая карагана



Утром, идя умываться по открытой площадке у палатки, я заметил свеженарытую землю; белые лапки высывались по временам из норы, выталкивая новые порции земли, вслед за ними на мгновение выглядывала большеглазая мордочка с при-тупленным, слегка задранным кверху носом, и зверек пропадал в глубине хода, который он расширял или делал заново. Когда раскапываешь норы тушканчиков, всегда нужно помнить, что у многих из них есть потайные ходы, доведенные до самой поверхности почвы и открывающиеся здесь «отдушиной» — еле приметным отверстием. Конечно, и на этот раз я начинаю с поисков «отдушинки», но, исползав на коленях всю площадку, не нахожу ничего подозрительного. Тогда зазвенела лопата, и неглубокая, почти горизонтальная нора тушканчика обнажилась на протяжении двух метров. Узкий прямой ход слегка опускался в глубину около средней своей части, а затем опять поднимался выше; тут, недалеко от поверхности, было расширение — жилия камера.

Тушканчики любят тепло, поэтому нередко отдыхают в том слое почвы, который хорошо прогревается солнцем; на случай дождя и непогоды имеются гнезда, сделанные в глубине. Камера была пуста; я торопился дорыть до конца хода, но и здесь зверька не оказалось: тушканчик-скакун успел выскочить у меня из-под ног в отдушину, которая была замаскирована мелкими комьями земли. В зверька полетела лопата, потом сачок и камень, но он, ловко увильнув на скаку, направился к зарослям дэрэсу, более похожий на перепархивающую у земли птицу, чем на четвероногое. Там он сел на открытой полянке, пригнувшись низко, совершенно затерявшись среди мелких камней и не делая попыток спрятаться в норы сеноставок, которых кругом было множество. Но еще в Улан-Баторе для таких случаев были приготовлены половинные заряды с дробью, мелкой, как маковое зерно; к вечеру у шкурки тушканчика висел ярлычок, где, кроме обычных обозначений времени и места, где и когда он был добыт, значилось еще и то, из чего состоял последний обед зверька. Тушканчик ел мякоть луковиц, зелень, мелкие семечки, жуков и гусениц. Монголы зовут этих зверьков «алак дага», что значит пестрый жеребенок; к названию крупных видов прибавляют слово «мори», а мелких — «хони» (получается тушканчик-лошадь, тушканчик-баран). Шесть или семь видов этих зверьков обитают в пустынях и степях Монголии; среди них есть крошечные формы песчаной окраски, замечательные своими приспособлениями к жизни в песках.



Тушканчик

На следующий день с утра лил дождь, и, чтобы не сидеть в палатке, я пошел осматривать высокую скалу, отвесно обрывающуюся к реке. В ее щелях гнездились дикие голуби, пестрые каменные дрозды, стрижи, ласточки, каменные воробьи, горихвостки и завирушки. На вершине сидели коршуны и цапля, гнездо которой, видимо, было поблизости. Она палкой вытягивала шею и кричала хриплым, не птичьим криком. Странно было видеть эту птицу плоских берегов над горной рекой, на гребне скалы, среди мелких хребтов, чередовавшихся с безводными равнинами. Скала была почитаемой монголами: на вершине оказалось обо, где среди камней лежал ветхий рог горного барана-аргали, а когда я приблизился к обрыву, на меня глянула огромная глиняная голова,



размалеванная красной краской. В отвратительную и злую гримасу сложились складки этого лица, зубы были оскалены, рот искривлен, левый глаз выбит и зиял темной щелью. Злой докшит охранял покой скалы и гнездившихся в ней птиц.

Позднее нам не раз приходилось встречаться с предметами буддийского культа, нередко в местах совершенно безлюдных. В пещерах и трещинах скал, устанавливая ловушки, я наткнулся на глиняные эмблемы мира и грубые статуэтки божков, плосколицых, с обломанными носами. Иногда окружающие камни были закопченными: видимо, здесь горели когда-то свечи, теперь же сновали только горные полевки, сушили в нишах сено и сверкали из-за статуэток черными бусинами глаз.

В тот же день, перейдя Туйн-Гол, там, где разомкнулись горы и началась равнина, мы прошли мимо большого могильного памятника, на котором степные канюки оставляли сохнуть внутренности съеденных ими сеноставок. Несколько дальше, слева от дороги, посредине равнины желтели развалины крепости. Широкие стены с осыпавшимися зубцами и бойницами, глубокий ров, груды глины и щебня на месте зданий, искаженные очертания восточных и западных ворот — все носило на себе следы времени и упрямых ветров. В щелях между изъеденными необожженными кирпичами грелись ящерицы и, должно быть, гнезвился угод, удивленно складывавший и распускавший гребенчатый высокий хохол. Крепость — одно из звеньев той непрерывной вереницы памятников, которые говорят всякому путешественнику по Монголии о том, что страна не всегда была такою мирной, что она являлась когда-то ареной больших событий. Местами непрерывные ряды кэрэксуров превращают зеленые долины в длин-

ные сплошные кладбища; могильники встречаются сотнями там, где теперь не увидишь ни единой юрты.

«Были в древности великаны; когда собирались огонь разводить, по целой лесине выдергивали с корнем. А когда умирали, над ними могилы — кэрэкурсы — складывали. С тех пор люди стали меньше ростом; придет время, и совсем измельчают», — так говорят монголы. Другие толкуют иначе: «Воевали в старину два хана. Время было беспокойное, люди зарывали в землю имущество и приметы над ним ставили. Кэрэкурсы и хушочулу — каменные бабы — как раз и есть эти приметы».

Отдыхают и дремлют на затылках каменных баб канюки и орлы; сенокосы роются в щелях кэрэкурсов; не скоро придет очередь услышать и тем и другим звуки лопат археологов. И если хоть тысячная доля всех монгольских могильников содержит вещи, подобные тем шитым коврам, золотым фигуркам коней и мифических животных, лакированным тюльпанам, бронзовым чашкам, которые найдены экспедицией Козлова в Ноин-Улинских могильниках лесистого хребта Хентей, богатства, зарытые в земле, еще не раз напомнят миру о равнинах и плоскогорьях выдавших великие племена\*.

Равнина, окружавшая развалины крепости, была занята норами светлохвостого суслика, палево-желтого пустынного зверька, впервые здесь встретившегося на нашем пути. Этот суслик осторожен и пуглив; увидев издали человека, он издает короткий свист, стелющимся бегом спешит к норе и припадает у ее входа, сразу становясь незаметным. Если опасность близится, у норы мелькнет широкий, короткий, почти белый хвост, и зверек соскальзывает в глубину вертикально спускающегося хода.

Свисты сусликов слышались в этот раз там, где кружились степные орлы. Один из последних вдруг полетел навстречу каравану, опустился у дороги на землю, пригибаясь пробежал несколько шагов и затаился в ямке у куста караганы. Он вытянул шею по земле, слегка растопырил крылья. Это была поза орла, изменившего обычным приемам охоты и принявшего подкарауливать зверьков, словно кошка.

Колониальные суслики, как сурки, не такая уж легкая добыча, и орел поспешил воспользоваться временным переполохом, который произвел караван, чтобы залечь незаметно от зверька, скрыв-



Затаившийся  
степной орел

шегося в нору. Он рассчитывал схватить его при первом появлении из норы. Позднее я несколько раз наблюдал, что «царь птиц» жмется к земле и близ нор эверсманновых сусликов, тоже пользуясь моментом появления каравана.

Следующий день стоит назвать днем слепушонки. Накануне вечером мы остановились на лужайке левого берега реки, в трех шагах от того места, где растянулся извилистый ряд кучек земли, напоминавших выбрасываемые из нор кротами. Только кротовая кучка имеет форму шапки или усеченного конуса, а выброшенная слепушонкой похожа на широкий полумесяц или миниатюрную дюну с пологим вогнутым склоном и крутым выпуклым. Кучки лежали на мелкой свежей зелени, среди которой нор не оказалось: слепушонка живет под землей и, выбросив грунт из галерей, сейчас же забивает использованное отверстие.

В полной темноте ходов, растянутых среди корней, проводит жизнь этот замечательный грызун. Монголы, называющие его «тенгри-хулугоно», считают, что ему запрещено появляться на дневной свет, и уверяют, что стоит слепушонке показаться, как ее убивает громом. Наблюдательные кочевники отчасти правы. Больные слепушонки выходят умирать на земную поверхность; находя здесь их трупы, можно подумать, что они погибли от света. Верно и то, что зверек избегает показываться на волю; но если сесть осторожно у городка слепушонок, то удастся иногда видеть; как из-под земли вынырнет тупая усатая голова, пушистая, округлая и кажущаяся лишенной глаз. Но, приглядевшись, вы увидите, что среди бархатного меха из-за унизанных песчинками и во все стороны торчащих усов смотрят крошечные глазки, сверкающие не то веселым, не то злым блеском, а на том месте, где должно быть ухо, имеется более светлый пучок волос. Непомерно большие резцы, выставленные вперед и хорошо видные даже тогда, когда рот слепушонки закрыт, придают этой странной голове сердитое, оскалившееся выражение. Но резцы эти служат главным образом для разрыхления земли, да и сам зверек такой пугливый и смиренный, что не пытается пускать их в дело для самозащиты. Вынырнувшая голова мелькнет в норе, и через секунду оттуда начинает бить темный земляной фонтанчик, направляемый то вправо, то влево, то прямо от входа. Слепушонка выталкивает землю сильным движением головы, и частицы, вылетающие словно от напора ветра, дующего из норы, укладываются в виде маленькой дюны.

Такие-то кучки, а их было десятка четыре, тянулись по



Слепушонка

лужайке у палатки. Вечером я сровнял их с землей, чтобы узнать на другой день, где работает неутомимый землерой. В шесть часов утра середина линии была отмечена свежими бугорками земли. Я разбросал их и проделал отверстия в глубину ходов, но, вернувшись через полчаса, опять нашел на их месте заново выросшие холмики. Было время утреннего чая; я взял свой стакан, ружье и занял удобную для наблюдения позицию. На месте проделанного хода уже бил земляной фонтанчик, но стрелять в него не имело смысла, так как даже и в следующий за этим час или два, когда я семнадцать раз открывал ходы в лабиринт слепушонки и зверек семнадцать раз забивал их, он все-таки ни разу не показался наружу. Под конец запасы ненужной земли у слепушонки истощились, и, едва свежий ток воздуха извещал ее о появившейся бреше в постройке, она начинала приносить обрезки листьев ириса, корни солодки, мелкие огрызки и материал из своих кладовых. Но я уже примирился с невозможностью захватить зверька во время рытья и решил применить другой способ. Открыв главный горизонтальный ход, тянувшийся у некоторых нор не на один десяток метров, я врыл в уровень с его дном глубокую жестяную банку и сверху, над ходом, прикрыл ее дерном. Через полчаса банка была доверху наполнена землей, и я освободил ее, а через следующие полчаса слепушонка снова бегала через мою ловушку, не рискуя в нее свалиться. Видимо, и этот способ не годился: приходилось признать себя побежденным этим небольшим подслеповатым и упрямым зверьком. Тут я пообещал Дорджи два доллара за живую «тенгри-хулугоно» и один — за мертвую (совсем как за голову разбойника). Но Дорджи пренебрежительно смолчал, и я понял почему, когда узнал, что его религия запрещает понапрасну рыть землю и тревожить ее покой.

Тогда я вооружился лапатой, и большая лужайка заперестрела перекопанной землей, как огород. Казалось, была вскрыта вся сложная система ходов от гнездовой камеры, высланной сухими прикорневыми чешуями ириса, от кладовых, наполненных кусочками корней, до второстепенных ходов, подводивших к зарослям ириса и солодки, где зверек доставал корм, но его самого не было видно. Только к вечеру, когда я бросил бесполезную работу, присутствие слепушонки было обнаружено в одном боковом отнорке, забитом наглухо и потому оставшемся незамеченным. Слепушонка попала в клетку, и с нее сделаны те наброски, часть которых имеется в этой книге.

Это был плотный, мускулистый зверек с густой бархатно-мягкой шерстью, рыжевато-желтой по спине, почти белой на брюшке и бурой, словно выпачканной в грязи, на мордочке, почти куцый, с широкими лапами землекопа, быстрый и ловкий в норе, неповоротливый и неуклюжий



в неволе. На другой день я нашел такой легкий способ ловить слепушонок, что уже к вечеру имел их более десятка, но из всех, собранных за путешествие, мне дороже всего эта, стойвшая целого дня работы.

Речная долина в том месте, где жили слепушонки, была мало интересна; горы же, ее окаймлявшие, поражали своею унылостью. Базальтовая порода, твердая и мало поддающаяся разрушению, образовывала ближний к стоянке склон. Черные, задымленные скалы, темные камни, словно покрытые копотью грандиозного пожара, громоздились на протяжении многих километров. Растительность здесь была скудна и убога, зверьков вовсе не было, из птиц встречались немногочисленные горные чечетки, пустынные каменки и завирушки Козлова.

С этого дня чаще стали встречаться сухие щебнистые пространства, с камней и останцов — покрякивать пустынные сойки и пищухи Прайса; близилась равнинная полоса, страна тушканчиков и джейранов. Помню, почти весь этот путь нам, как это ни странно, мешали дожди. Говорят, что был исключительный по обилию влаги год, и зеленели даже те участки, которые обычно бывают совсем бестравными. Туйн-Гол был широк и полноводен, так что переправы нередко оказывались рискованными. Тучи постоянно виднелись у горизонта, и далеко не всегда можно было решить, принесут ли они дождь или ограничатся одной угрозой. Последнее явление, известное под названием «сухого дождя», для Гоби довольно характерно. Вы видите облако,двигающееся над равниной, видите темные пряди дождя, спускающиеся к земле, но ни одна капля не достигает ее поверхности: в сухом, нагретом воздухе они испаряются прежде, чем достигнут раскаленной почвы.

Дожди и маленькие дорожные приключения вносили разнообразие в монотонную смену утренних и вечерних переходов, в навьючивание и развьючивание верблюдов. День на седьмой Дорджи доверил мне вести верблюдов, и я, гордый тем, что еду впереди каравана, слушал, как тепло и жарко дышат мне в затылок узкие ноздри передового. В этот день у меня было знакомство с вольфартовой мухой. Мне случалось кормить москитов в полутропических лесах Южного Дагестана, оводов, слепней, строку и комаров на севере, но с этой крупной, безротой, недолговечной мухой я встретился впервые.

Мы остановились на обед близ воды и монгольской кочевки. Было жарко; кони стояли, сгрудившись и



Сеноставка Прайса

уткнув друг в друга головы, чтобы защититься от докучливых насекомых. Их было множество, и среди этого гудящего роя летала светлоголовая муха. А. Н.\* указал нам на нее и сообщил, что она вьется всегда около глаз и, подлетевши близко, брызжет в них целым зарядом мельчайших личинок. Личинки живут и питаются под веком, вызывая усиленное слезотечение и болезнь глаз: они-то и были причиной того, что наши кони терлись глазами об ноги и камни. Едва все это было рассказано, как вольфартова муха закружилась около обедающих, мелькнула над моей чашкой с супом, и я почувствовал на лбу у бровей присутствие чего-то влажного. Я провел платком — множество мелких, белых, как мука, личинок шевелилось на нем: муха успела выпустить заряд, но попал он как будто выше цели. Тем не менее пришлось усиленно промывать глаза.

### НА ОЗЕРЕ ОРОГ-НУР, БЛИЗ ПОДНОЖИЯ ГОБИЙСКОГО АЛТАЯ

В средней части карты Азии, далеко на юг от западного конца Байкала, чуть посевнее того места, где вдоль охристой полосы гор косыми буквами изображено «Гобийский Алтай», притаилось синеватое пятнышко, и около надпись: «Орог-Нур». Это будет как раз полпути от мыса Челюскина, что, засев на широком Таймыре, врзался далеко в Ледовитый океан, до мыса Камбедж, окунувшего свой зеленый нос в теплое Южно-Китайское море. Далеко! И можно ли знать, как выглядит на деле эта синяя крапинка, спрятанная на карте меж коричневых разводов гор?.. Может быть, это — мертвое озеро с белыми от соли берегами? Или горный водоем с водой необычайной прозрачности? Как знать, — на карте ничего не сказано. Вы заглянете в книгу, но и они скажут, далеко не все, и вы отложите их в сторону, вздохнув о непонятном смысле необычных и странных географических имен.

Вот «Монголия и Кам» П. К. Козлова. В первом томе находим: «Озеро Орок-Нур пресное и вытянуто от запада к востоку на 25 верст, простираясь в окружности до 60. С севера в озеро впадает река Туин-Гол, берущая начало в горах Хангай, с юга же оно граничит с подножием правого крыла массива Ихэ-Богдо<sup>1</sup>. Глядя на Орок-Нур с его большею частью возвышенных берегов получается впечатление глубокого провала, некогда, вероятно, наполнявшегося водою значительно выше; ныне же, по словам монголов, не всегда полностью прикрывается даже его дно. Наибольшая глубина озера у северного берега, хотя значительные омуты, согласно показаниям тех же монголов, имеются во многих местах

---

<sup>1</sup> Географические названия, приведенные в цитате, ныне пишутся так: озеро Орог-Нур, река Туйн-Гол, массив Барун-Богдо-Ула. (Прим. ред.).



этого бассейна. Периодически, приблизительно через десятилетний промежуток, река Туин-Гол приносит очень мало воды, и озеро мелеет настолько, что по нему свободно бродят лошади и коровы; многочисленная же рыба частью скопляется в омутах, частью погибает в грязи, становясь добычей крылатых хищников.

Описываемое озеро, как замечено выше, пресное, хотя и не имеет истока. Это обстоятельство заслуживает особенного внимания ввиду того, что внутренние центральноазиатские бассейны, находящиеся в таком же положении, заключают соленую воду.

В наше здесь пребывание озеро стояло подо льдом, занесенным снегом; нынче оно замерзло 15 октября — на две недели раньше среднего замерзания. По ночам от времени до времени раздавался на озере треск льда, гулко отдававшийся в соседних горах. К весне толщина льда достигает 5—7 футов; иногда значительные льдины держатся на озере до начала мая.

В западной и южной частях озеро богато клячами, поздно или даже совсем не замерзающими. Высокий камыш окаймляет воды озера то широкими, то узкими полосами\*.

Дальше несколько слов о запоздалых гусях и утках, о сверкающих радужных дугах при свете утреннего солнца над юго-восточным концом озера, и все; деловито и коротко, как и должен писать путешественник.

Нет! Ни карты, ни книги не могут передать поистине невыразимой обаятельности этих мест. Не штампованным стальным пером, не синими чернилами «Для письма и копирования, фабрики Экватор», а, быть может, крылом орог-нурского лебедя, ароматными соками трав, желтой кровью ветреных закатов, кобальтом горной синевы нужно писать такие картины. Оттого и увлекает вдаль поглядеть на все своими глазами, оттого и бьется быстрее сердце, когда подходишь к перевалу, откуда откроются новые, невиданные страны.

Утром третьего августа лил дождь, и мы, сдерживая нетерпение, пережидали его, так как знали, что Орог-Нур близко, и не позже, чем сегодня, мы разобьем лагерь на его берегу. Караван тронулся, едва прояснило. Все, кроме Дорджи, поскакали вперед, но даже и его верблюды как будто прибавили ходу. Один невысокий хребет отгораживал нас теперь от обширной Долины Озер. Туйн-Гол пробил в его скалах ворота и теперь мчался меж высоких, почти отвесных стен. Черный аист, поджав одну ногу, стоял на высокой колонне скалы, словно охраняя вход в теснину. Дороги по ней не было; она ушла от реки, нанское поднимаясь к гребню. Наше нетерпение как будто передалось и коням. Я хорошо помню, что мой Серый спешил изо всех сил и камни дождем сыпались из-под его копыт. У озера всех ожидала длительная стоянка; за целую неделю до прихода чуть не каждая фраза начиналась словами: «Когда мы придем к Орог-Нуру...», «Как только станем на Орог-Нуре...», «Вот доберемся до Орог-Нура». С этим именем связывалась у нас длинная цепь возможностей: спокойно работать, удобно расположиться, починиться,

купаться и т. д. и т. д. Чем больше накоплялось в пути неотложных, неоконченных дел, чем заметней становилось утомление караванных животных, тем чаще упоминалось имя озера, и скоро слова «Орог-Нур» стали синонимом земли обетованной.

Да и на самом деле, в том виде, в каком представилась нам эта местность, с ее свежей зеленью пастбищ, перерезанных узкими рукавами реки, с розовыми щербистыми равнинами, с курчавыми группами кустарников, с узорными очертаниями камышовых зарослей, бугристых песков и солончаков, с тут и там сверкающими зеркальными пятнами воды, — она была одним из самых привольных и пленительных уголков земли, какие кому-либо из нас случалось видеть. Но все это, от золотистых дюн на западе и востоке, от рассыпанных пылинкой стад и кочевок до величественной дымно-голубой стены Барун-Богдо-Ула, к вершине которой прильнули тучи, как белые парусники к молу, — Барун-Богдо-Ула с синими ущельями, жемчужными снегами и золотой пряжей обсохших русел ручьев — все это было лишь прекрасной рамкой для несравненного озерного зеркала. До Орог-Нура было еще очень далеко. Он лежал, как длинный, широкий клинок из нежно-зеленого сверкающего и прозрачного металла, брошенный среди шелка песков и зеленого бархата камышей. От него тянул ветер, ветер гор и пустыни, безудержный степной кочевник, принесший пыль и ароматы, быть может, Алашаня и Цайдама, а то и самого Тибета...

Мы прокричали «ура», и тотчас два бурых грифа, тяжело хлопая и гудя крыльями, поднялись с темных и загаженных скал. Они летели низко, почти касаясь земли, оттопырив рыжие грязные перья туго набитого зоба. Только тут я увидел, что всюду на скалах сидели молчаливые, хмурые хищники. Здесь были широкоплечие беркуты, белохвостые орланы-долгохвосты, огромные, почти черные грифы с голой красноватой шеей и головой, еле прикрытой буроватым пушком. Массивные, тяжелые клювы грифов были раскрыты, большие, выпуклые, не птичьи глаза смотрели пристально и напряженно. Десятки коршунов, ссутулившихся, втянувших шею, поджавших лапы, сидели, повернувшись в одну сторону набухшим зобом. Казалось, сюда собрались все пропахшие падалью хищники от южных отрогов Хангая до ущелий и гребней Алтая. Ниже по склону их было еще больше. Одни лениво покидали при нашем появлении насиженные места и, отлетев десяток метров, снова садились на отдых; другие, неподвижно раскинув крылья с обтрепанными и выгоревшими концами перьев, описывали в знойном небе нескончаемые круги. Десятки их черных силуэтов непрерывно скользили без взмаха — одни ближе, другие дальше, третьи еле видные в высоте, и было в этом траурном кружении что-то тоскливое, жуткое, как в дребезжащих трелях немногих, не успевших объесться коршунов. Остальные уже насытились и переваривали пищу.

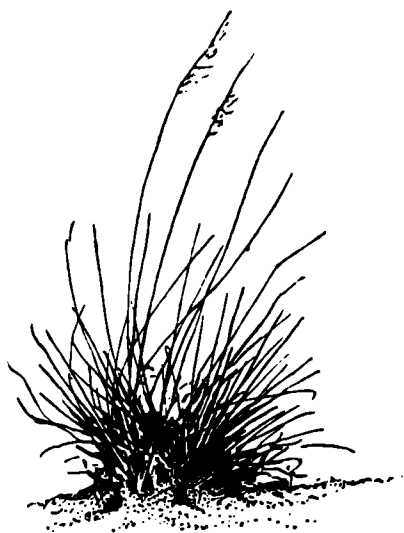
Где-то поблизости должно было находиться то кладбище, которое могло наполнить объемистые зобы этой многочисленной шайки. Кладбище оказалось близ устья ущелья. Два синих

больших майхана стояли здесь, окруженные кипами шерсти и разостланными по земле свежими, сохнувшими шкурами. Какая-то повальная болезнь начала выхватывать из стада одно животное за другим, и пастухи едва успевали обдирать с них шкуры. Свежие костяки погибших, очищенные птицами от мяса, лежали тут и там по косогору; грифы, орлы и коршуны еще дрались местами над не успевшими остынуть трупами. Десятка полтора коз, вялых, с тонкими шеями, понуро стояли среди тощих кустиков караганы. Две-три из них лениво и нехотя щипали листья; остальные дремали стоя. Видно было, что и эти обречены, что и назавтра хищники не останутся без поживы.

Мы спустились в долину и двинулись к озеру вдоль левого берега реки. Сверкающая черта Орог-Нура вначале еще была видна из-за окаймлявших его кустарников и холмов, потом она стала поблескивать лишь кое-где в окошечках среди зелени и, наконец, пропала из виду.

Добраться до озера было не так-то просто: дорогу заграждали то глубокие рукава реки, то большие сыроватые пространства, сплошь занятые ямами и расположенными между ними высокими кочками. Кони с трудом выбирали себе дорогу, верблюды то и дело спотыкались, временами падали, выюки сбивались, их приходилось заново увязывать. Особенно тяжело пришлось двум более слабым; выделенные из общей вереницы, чтобы не задерживали других, они далеко отстали от передовых всадников и более выносливых верблюдов. Я присоединился к Дорджи и проводнику, которые, шумно пререкаясь по поводу неудачного выбора дороги, едва успевали поправить сбившийся выюк, как падал верблюд и только что увязанная ноша съезжала набок. Тогда мы переложили часть груза на коней и, перейдя несколько мелких рукавов с мутной и теплой водой, вышли на лучшую дорогу.

Высокая, но сквозная и прозрачная зелень дэрэсу с тонкой сеткой кивающих стеблей, метелок и листьев окружила нас со всех сторон; в ней нежно звенел ветер, пробегая такими же волнами, какие скользят на колосющихся ржаных нивах. Но никто не сеял здесь этого злака, он сам шаг за шагом отвоевал у песков все пониженные и более влажные пространства, одел их щетинистыми большими шапками дерновин, закрепил, окружил оголенные дюны серебристо-зеленой, легкой, но стойкой стеной. Там, где разросся дэрэсу, пески



успокаиваются, их движение замирает, они перестают быть угрозой для соседних зеленых лужаек. Пусть рвется над равнинами ветер, пусть застилает дали желтым дымом песка и пыли — то, что прикрыли дерновины дэрэсу, над чем скрестились его тонкие, как шпаги, листья, не приведет в движение и буря. Стебли дэрэсу гибки и прочны, словно тонкая стальная проволока; киргизы, называющие этот злак чиём, делают из них отличные циновки. Режущие листья жестки, но на верблюжий вкус отнюдь не лишены приятности; крепко засевавшая в песке дерновина дает приют множеству насекомых; под нее же уходят и норы пустынных зверьков. О, не только для когтей лисицы, но и для хорошей железной лопаты такие норы почти недоступны; большую дерновину можно разрубить только топором. Вот каков дэрэсу, пустынный ковыль, на удобных местах вырастающий выше всадника, сидящего на лошади.

За полосой этих зарослей бугры и холмики стали мельче, начали встречаться ровные, лишенные травы площадки солончаков, и, наконец, берег озера появился совсем рядом.

Мелководные теплые лужи, глянцевитые пространства грязи, ржавые болотца, гривки камыша, разноцветные пятна сочных солянок (солончаковых трав) и отдельные кусты засохших тамарисков пестрели вдоль изрезанной линии берега. Камыши мысами сбегали в воду и то стояли там густыми зелеными купами, то рассыпались жидкими, растрепанными косицами. Среди них полоскались, ныряли, бултыхались, гонялись одна за другой чомги, нырки и утки со своими выводками; над ними парили и кружились чайки; крачки с дружными хрипловатыми криками вились и дрожали над болотами целым облаком, сверкающим несчетными взмахами крыл. Они падали в воду за добычей, как белый град, в то время как большекрылая скопа (речной орел) уже тащила к синеве гор большую, влажно поблескивающую рыбу. После однообразия степей и мертвенности гор глаза разбегались при виде этой кипучей жизни.

«Смотрите, смотрите — вон лебеди...» Далеко, как два белых блестящих осколка льдин, уплывают осторожные птицы. Вот одна из них крикнула заунывно и звонко, ударила крыльями по воде, взметнув сверкнувшие на солнце брызги; вторая ответила тем же, и обе, трубя при каждом ударе крыльев, заскользили над зыбкой поверхностью озера и, как снежные хлопья, растаяли у дальнего берега. Озерная гладь — вся из солнечных бликов, просторная, покойная и радостная. Легкие волны, как мелкие рыбешки, с нежным плеском выкатываются к мелководью, греются на теплом песке; круглыми и мягкими губами забирают малахитовые ленты водорослей и бросают обратно, играют утиными перьями, выпуклыми, как надутые паруса. На жидком иле и песке заплеска нет и помина о следах человека; здесь купаются только гуси, черный аист да неутомимый ныряльщик — баклан.

«Эй, не вороньте! Что это?..» Длинноногие птицы, белей барунбогдо-улинских снегов, построившись длинной волнистой вер-

ницей, медленно тянут над озером. Это колпицы — родственные анстам птицы, с клювом, расширенным на конце, словно ложка, с белой косицей на голове. В их обществах всегда строгий порядок; они и летают и кормятся, построившись ровной шеренгой. Над зеленью озера, на сини гор стая колпиков сейчас — как жемчужная нитка. Потом опять из плеска и теплого сверкания озера доносятся голоса лебедей, появляется орлан, летят гуси, беззаботная стая куликов рассыпается по берегу у самой нашей стоянки. И, решив, что разом всего не пересмотришь, мы занимаемся устройством лагеря.

Под вечер, когда замерло озеро и гомон птиц стал еще более слышным, место стоянки уже имело давно обитаемый вид. Над большой палаткой растянут тент для защиты от солнца, перед ее входом высится удобно сложенный багаж, близ майхана лежит запас топлива и вьется дымок над костром; кто-то уже успел постирать и развесить на тамарисках издали белеющие вещи. Верблюды, как зайцы, затерялись в зарослях дэрэсу и лишь время от времени показывают то отошавшие поникшие горбы, то морды, быстро заглатывающие пучки листьев. Кони уже наелись, повалялись в песке, лениво помахивают хвостами и чешут друг другу холки. Дорджи, звякая бидоном, мелькает шапкой за кустами; он скачет к ближайшим юртам за молоком и мурлычет песню. По песне, по спокойным взмахам нагайки видно, что и проводник наш сегодня счастлив и доволен.

Теперь, вспоминая орог-нурские дни, мне трудно остановиться на чем-нибудь одним, с чего удобнее начинать. На озере с тихим плеском птичьей жизни, на берегах, где огромные дюны вплотную к воде принесли животный мир засушливой пустыни, в колючих кустах хармыка, по зарослям дэрэсу, на солончаках, в камышах — всюду было свое, особенное и замечательное.

Дни начинались рано. Солнце только что показывалось над восточной окраиной озера, и снега на Барун-Богдо-Ула едва начинали розоветь, как полы палатки раздвигались, показывалось ружье, полотенце, сверток верхней одежды, и, наконец, появлялся сам владелец этого имущества, только что вынырнувший из-под одеяла. В этот час, когда свежее и сонное озеро еще не пробудилось и только чомги тихонько полощутся, доставая со дна мелкую живность, у воды как-то особенно хорошо. Запах душистого мыла смешивается во влажном воздухе с запахами ила, рыбы и водорослей. Серые цапли начинают возвращаться с проточин и отмелей, где всю ночь при свете месяца вода серебрилась и кипела от играющей рыбьей молодежи. На изогнутых шеях, на сизых крыльях играет оранже-



Монгольская песчанка

вое солнце. Силлым, протяжным криком они оповещают друг друга, издали завидев палатки, и плавно сворачивают в сторону. Распушившийся кругленький морской зук молча бежит вдоль берега: он еще не обогрелся и не так подвижен, как всегда.

Искулавшись, я осматриваю по пути к палатке капканы и ловушки, поставленные для ловли монгольских песчанок. Они живут в сыроватых буграх возле берега и таскают к своим норам сочные солянки, складывая их в небольшие стопочки у входа. Пойманных зверьков я кладу в тени у палатки и, положив в карман вчерашнюю лепешку, отправляюсь к дальним пескам, где расставлена большая часть моих ловушек. Я спешу собрать их до того, как солнце начнет припекать и погубит добрую половину моей добычи. Мелкие зверьки очень нежны; на открытом песке при жаре они быстро начинают разлагаться; шелковистая шерстка облезает, экземпляры становятся негодными. Но трудно идти быстро, когда в одном месте никак не удержаться от соблазна подползти и выстрелить в гусей, в другом — понаблюдать за куликами, в третьем — подкрасться к зайцам-толаям. Последних у Орог-Нура немало.

Вымахнув большим прыжком из логова под дэрэсу или хармыком, толай быстро несется между кочек, мелькает то сравнительно длинными ушами, то опущенным книзу хвостом, который вместе с малым ростом дает возможность сразу отличить азиатского зайца от нашего европейского русака. Временами он делает прыжок вверх с целью осмотреться по сторонам и тогда на мгновение высоко взлетает над зарослями. Монголы считают помет толая целебным, говоря, что заяц этот «ест семьдесят две травы». Вероятно, он их ест и больше, добавляя сюда еще ягоды хармыка, за собираньем которых я наблюдал толаев неоднократно.

То пригибаясь за кустами, то бегом, то ползком, спрятавши на первой версте гуся, на второй зайца, на третьей еще что-нибудь, я добираюсь до песчаных бугров. Они имеют странный и несколько фантастический вид. Высотой до двух метров и более, формой напоминая муравейники с широким основанием, эти песчаные холмы увенчаны сверху приземистыми кустами хармыка.

Хармык живуч, ветвист, колюч, коренаст. Пустынные ветры, разгулявшись над просторами, уносят вдаль желтые песчаные тучи, день за днем выметают мелкие частицы, отшлифовывают

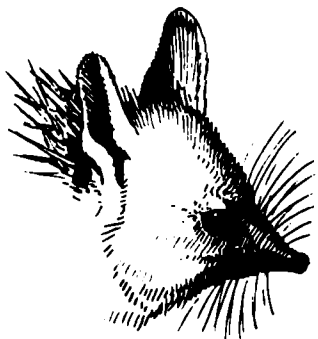


Заяц-толай

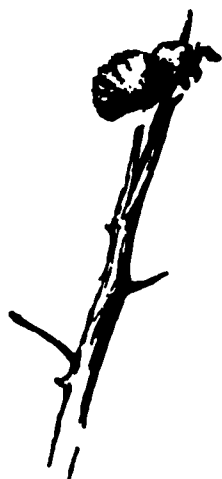
ими оставшиеся на земле щебень и гальку, сантиметр за сантиметром углубляют голые, неприкрытые пространства. Хармык плотно оплетает корнями, стережет ветвями тот участок, на котором сидит. Новый песок может здесь задержаться, но тот, который захвачен кустом, остается лежать на месте. И вот, в итоге длительной борьбы между кустарником и ветром, последний завладевает песком промежутков и открытых участков, оставляя тысячи песчаных муравейников под зелеными шапками хармыка. Между ними он роет каналы, разрисовывает пески нежным струйчатым рисунком, сглаживает их и снова разрисовывает. Под корнями кустов роют норы мохноногие тушканчики, из тех, которым щетка волос на ступне помогает скакать по мягкому, сыпучему грунту, совсем не проваливаясь, мелкие хомячки Роборовского, черноглазые пустынные ежи. Днем поверхность песка горяча и ровна; одни жуки-чернотелы да ящерицы-круглоголовки доказывают, что и полуденные часы не совсем безжизненны. Пустынные ежи дремлют тогда в устье неглубоких нор, выставив на солнце остроносую с зажмуренными глазами мордочку; хомячки Роборовского прячутся в норах рядом с кладовыми, где положены собранные за ночь жуки, зерна и ягоды.

Этот хомячок, один из самых мелких, розовато-желто-серый сверху, кремово-белый снизу, был известен до сих пор только по двум экземплярам из Наньшаня и Цайлама — стран, лежащих далеко на юг от Орог-Нура. Найдя его впервые на Орог-Нуре, я расставил в песках целую полусотню ловушек, рассчитывая поймать несколько редких зверьков.

Через бугры и долинки растянулась длинная вереница капканчиков; ставить их, примечать и записывать — мешкотно, зато интересно собирать. Многие пусты или опустошены ежами, уничтожающими и хлебную приманку и пойманных зверьков; в других, придавленные железной пружинкой, желтеют окоченевшие песчанки, виднеются серые хомячки, иногда ежи, поплатившиеся за неосторожность. Пустынные сорокопуть уже склоняются на ветках и, держа голову набок, приглядываются к пойманным зверькам: птицы, как и ежи, охотно меня обворовывают. Стоит немножко опоздать — и пустынные сойки да сорокопуть оставят одни лапки и кровавые клочки шерсти. Я разгоняю моих пернатых конкурентов; стелющимся полетом улетают сорокопуть накалывать на колючки излюбленного куста мохнатых тарантулов и ящериц с оторванными головами; пустынные сойки убегают быстрой, семящей побегой. Возвращаясь назад, я вижу их шныряющими под поникшими ветвями кустов и промышляющими под корнями ящериц.



Пустынный (беловатый) еж



Тарантул — запас пустынного сорокопута

Ловушки собраны в кучу и зарыты в песок до вечера. Я возвращаюсь к палатке берегом. Солнце уже высоко; озеро из голубого стало зеленым, как росистая свежая лужайка; в неподвижном воздухе знойно звучат голоса чаек и клекот орланов, подравшихся из-за рыбы. Камыши и солянки источают сладкий аромат, близнится час полуденной тишины и безмолвия.

Потом в палатке, на седле, прикрытом буркой, я пишу этикетки, нумерую, измеряю зверьков, обдираю шкурки; ножницами, скальпелем, пинцетами кромсаю кости и мышцы маленьких трупиков, сыплю картофельную муку, смазываю шкурки мышьяком, набиваю их ватой, зашиваю — выполняю кропотливую кровавую работу коллектора. Я сижу за работой, пока не онемееет спина, пока кучка пойманных зверьков не превратится в десять-пятнадцать шкурок, расправленных, измеренных, записанных и выставленных на просушку. Тогда снова за спиною — рюкзак, на боку — патронташ и ружье: я отправляюсь ставить на ночь ловушки.

В это время стада верблюдов уже идут из дэрэсу к аилам, погоняемые мальчишкой, странным образом удерживающимся на раскачивающихся горбах самого большого животного. Монгол кричит и скачет около непослушного стада, бесшумно разбегающегося мягконогой, качающейся походкой. Голос мальчишки и движения стада совсем не нарушают ни дикости, ни безлюдности — так они мелки и малы перед лицом озера, равнины и синего облачного Алтая.

Птицы оживляются к вечеру: на кустах показываются скрытные, подвижные и бойкие пустынные славки; где-то пропадающий днем большой сорокопут Пржевальского издали белеет грудью на вершине большого холма; целые полчища пернатых высыпают на берега озера. Две или три сотни колпиц, построившись рядами, ищут на мелководье мелких личинок и раковинки. Они похожи сейчас на косцов, вставших с косами на лугу, прежде чем начать срезать траву в длинные увядающие грядки. Недаром косарями зовут их нижеволжские рыбаки. Дальше, в устье Туйн-Гола видны цапли и черный аист; ниже по течению располагаются чайки и крачки, к которым у края дельты и камышей присоединяются табуны уток, цапель, гусей и куликов. Когда все это с криком, свистом и хрипом поднимается на крылья, кружится, строится в белые, черные и серые вереницы, тянется на дымно-синем фоне гор к укромным островам и заливам, картина кажется необычайной даже для Монголии, этой неописуемой страны.





Пустынная славка на кустике, корень которого обнажен, так как ветры уносят все мелкие частицы грунта

Проходит час, закат тускнеет, летучие мыши ныряющим ломаным полетом спешат от гор к долине; у воды, в теплых струях воздуха, дрожащего над разогретым илом, мириады зеленых безвредных комариков колышутся живыми прозрачными туманами, и ночь, наполненная певучим звоном их крыльев, живет напряженной восторженной жизнью. Тушканчики открывают закрытые на день устья нор и скачут летящим, неслышным скоком; пустынные ежи, похрустывая песком, бегают в поисках жуков, покинувших песчаные убежища.

Совсем поздно, когда в палатке все успокоились, я сажусь за дневник и пишу, отрываясь, чтобы посадить в энтомологическую банку то жука, то ночную бабочку, летящих к огню от непогоды; тучи заволакивают звезды, видимо, собирается дождь. Я смотрю в ночь, слушаю озеро. Волки воют далеко за камышами, верблюды прислушиваются и перестают жевать, лебеди отвечают с озера чистыми, прозрачными голосами. Есть звуки, которые могли родиться только в лесу, подобно скрипам и трескам глухариной песни, и есть голоса, возникшие среди плеска вод, вобравшие в себя всю мягкую звонкость и гармонию языка струй. Таковы лебединые крики. Никогда не забыть мне голосов четырех лебединых пар над сонным, умолкшим озером, одинаково неотразимых, слышались ли они в лунном мерцающем свете или в предгрозовой темноте. Из конца в конец над широкой водной поверхностью они перекликаются, как белая озерная стража, и, может быть, потому так спокойно спят камыши, так угрюмо выкрикивает филин свое протяжное «угу».

Ночь свежее; я вздрагиваю и иду в палатку. В ней светло и знакомо, как в давно обитаемой комнате. Трое в ряд, укрывшись



Задняя лапка  
тушканчика

одеялами, спят мои спутники; комары, толпясь у фонаря, напевают им баюкающую песню. Мое место крайнее справа. Рядом, за брезентовой стенкой мирно хрустит жвачка на верблюжьих зубах. Я засыпаю, едва успев вытянуться и набросить на себя одеяло.

## В ГОРАХ БАРУН-БОГДО-УЛА, НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ УЧАСТКЕ ГОБИЙСКОГО АЛТАЯ

Десять дней на Орог-Нуре прошли, как один; наступает время двигаться на новое место. Палатка медленно склоняется к земле, дарит озеру низкий прощальный поклон. Пустым, неуютным кажется без нее плоский, илистый берег. Клочки бумаги и ваты, синие стреляные гильзы, уже успевшие выцвести на солнце, обрывки веревок и перья остаются на месте лагеря; ветер спешит докатить их до озера.

Привычные, полегчавшие вьюки обнимают зажившие, пополневшие бока верблюдов, седла плотно садятся на окрепшие спины коней. Последний взгляд на стоянку, и мы уже за буграми.

Туйн-Гол встречает нас нерадушно: он опять помутнел, разлился и захватил большое пространства лужаек; даже узкие рукава его стали труднопроходимыми...

За Туйн-Голом открывается равнина, по которой прямая дорога до подножий Барун-Богдо-Ула, крупнейшей вершины в восточной части Гобийского Алтая. Равнина с севера ограничена низким хребтом Нарын-хара, перед которым желтеет полоса песков, незаметно сливающаяся с серовато-голубой полынней плоскостью; с юга лежат заросли кустарников, а за ними — желтые песчаные волны дюн, расположенных вдоль берега Орог-Нура. После озерной прохлады нам кажется, что солнце печет нестерпимо; в нагретом воздухе дрожит и поблескивает несуществующая прозрачная влага марева, затопившая подножия дюн. Странно приподнятые над землей в этом обманчивом озере плавают темные верхушки юрт; около них должны быть колодец, и мы поворачиваем туда на обед. Однако Дорджи, оставший с верблюдами, не замечает наших сигналов и проходит мимо, далеко стороной; нам приходится его догонять. Все же я успеваю воспользоваться короткой остановкой у колодца, чтобы дойти до ближайших дюн.

Перед нами широкая глинистая площадка, изъеденная рытвинами и отшлифованная ветрами, на которой лежат камни и кости зверьков, оставшиеся после того, как пески переместились. Дюны нестерпимо сверкают на солнце, мелкий сыпучий песок с сухим и звонким скрипом мягко расступается под ногой. Ни травинки, ни ветки, ни кустика, но жизнь есть: следы пересекают пески по

всем направлениям, и я узнаю среди них дорожки, оставленные хомячками Роборовского, ямки, вырытые пустынными ежами, и останавливаюсь над мелкими легкими отпечатками лапок тушканчика. Их мог оставить или крошечный *Cardiocranius*, или какой-нибудь *Salpingotus*, но ни один из этих замечательных зверьков еще не был найден так далеко к северу. Я пытаюсь отыскать нору зверька по следам, но на гребне дюны они стираются, и мое внимание привлекает джейран, выскакивающий из междюнной впадины. Легконогая рыжевато-песчаная антилопа удаляется большими неспешными прыжками; она выскочила так близко, что еще долгое время отлично виден черный султан круто поднятого вверх хвоста и легкие изогнутые рожки. Когда джейран останавливается и оглядывается, в бинокль хорошо заметны его большие глаза, светлые пятна перед ними и настроженные уши.

Дзерены держатся на степных пространствах Монголии, джейраны характерны для пустынных ее частей; в юго-западной стороне обитает и третий вид — более крупная, светлая горбоносая сайга.

Вечером следующего дня можно видеть наш караван поднимающимся вверх по северному склону Барун-Богдо-Ула. Монгол, доставивший нам пятого верблюда, чтобы облегчить выюки четырех наших, уверенно ведет его по каменистым лощинам. Уже давно на десятки километров раздвинулись к северу дали, и прозрачно-светлый Орог-Нур раскинулся к востоку, видный от берега до берега; уже примешались к карагане в долинках густые и низкие кусты дикого миндаля, и ближайшие склоны оделись сравнительно пышной зеленью, а мы все еще поднимаемся вверх.

Верблюды, спотыкаясь о камни, едва несут на крутизну свои вдруг потяжелевшие ноши, даже привычные кони идут медленно и дышат тяжело в разреженном горном воздухе. Наконец, мы решаем остановиться, немного не дойдя до подножия уступов, где ярко-зеленое пятно злаков указывает на близость в почве воды. Там, по словам монгола, колодец, и мы отправляемся к нему умыться и пить, пока не подошли наши верблюды. Но увы, колодца не существует: щебень, гравий и песок заполняют его вровень с землей, и лишь покоробленная колода напомунает о когда-то существовавшее водопое. В ней, на самом донце — теплая зеленая вода, одетая нитями и пузырьчатыми пленками водорослей самой неприглядной внешности. Все же кто-то пагибается и громко пьет эту влагу, вызывая звуками завистливое чувство. Уже поздний вечер и пора готовить ужин, но без воды не сделать лепешек и не сварить супа; положение таково, что от работы в горах, быть может, придется отказаться.

Тогда мы с Хун Ю-ченом решаем попытаться очистить колодец, и вскоре близ сруба начинает расти куча щебня и гравия. Грунт, вначале сухой, потом становится влажным и, наконец, мокрым. Миша недаром служил на золотых приискаx: ведра



Косточки миндаля, погрызенные зверьками

быстро мелькают над зияющим отверстием, откуда слышен его голос, лопата звякает все глуше и глубже; ночью месяц уже смотрится в мутную, но свежую и вкусную воду.

Наутро как будто собирается дождь, но потом облака расходятся, и над цветами обогретых лужаек начинают порхать десятки крупных ко-

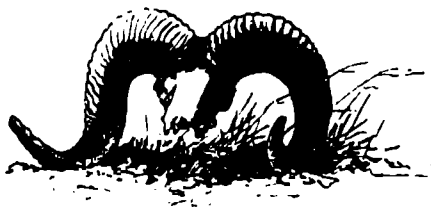
былок — бриодем. На лету они так легки, а окаймленные темным розовые, красные и пурпуровые нижние крылышки так ярки, что отсутствие в этой стране дневных бабочек кажется до некоторой степени возмещенным, когда следишь за дребезжащим полетом и мельканием этих прямокрылых. Я ставлю ловушки на ближайших к палатке склонах, где под кустами миндаля лежат косточки, погрызенные какими-то зверьками, под камни уходят норы сусликов и тушканчиков. Ловушки на следующий день дают мне возможность узнать, что ядро у косточек абрикосов поедает серый длиннохвостый хомячок; у нор в капканы попадает алашаньский суслик и редкий, недавно описанный вид тушканчика.

К вечеру я отправляюсь на охоту. За плечами — винтовка маузер, а в руках — мой привычный дробовик. С этим грузом медленно и осторожно я поднимаюсь к ближайшей вершине. Горные индейки, увидев человека, перекликаются звучным свистом с одной стороны ущелья на другую, горная курочка — кеклик — с мелодичным квохтаньем перескакивает с камня на камень, уводит кверху по крутой осыпи своей большой и послушный выводок. Цыплята бегут гуськом, из-под красных лапок, шурша, сыплется мелкие камешки.

По тенистым склонам сползают зеленые луга, на солнечных — сереют голые осыпи с пустынной караганой, а над теми и другими высятся ржаво-красные стены и уступы, от которых тянутся к долинам узкие звериные тропы. Они проложены копытами горных баранов — аргали и козлов, на день скрывающихся в скалах, ночью пасущихся по лугам.

В первом же русле дождевого потока я натываюсь на изогнутый рог козла, спереди покрытый поперечными бугорками; несколько дальше, у подножия скал, лежит скелет аргали, задавленного обвалом или сброшенного в пропасть противником. Толстые, крутоизвитые рога его близ основания сантиметров до двадцати в поперечнике и вместе с черепом весят много более пуда.

Цепляясь за камни, под которые уходят покинутые сурочки норы, затянутые паутиной, за сире-





Сеноставка Прайса

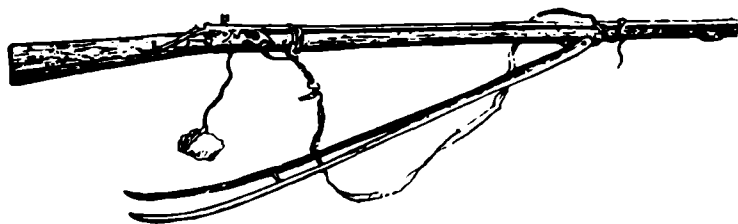
невые кустики горных астр, пролезая через щели в скалах, по которым сквозит резкий ветер, я добираюсь до подножия большого уступа и сажусь отдыхать. К запаху луга и сырости трещин здесь примешивается острый запах овчарни. Я смотрю на землю, на потертые копытами камни, уходящие лестницей вверх, и догадываюсь, что это — место обычного отдыха горных баранов. Да и не одних только аргали: тут и там лежат перья уларов — горных индеек; видно, и они прилетают сюда ночевать. На заре здесь стоило бы постеречь.

Гребень, лежащий под этим утесом, соединяется узкой перемычкой с широкой плоской вершиной, занятой тощими лугами и непрерывной полосой сурочьих городков. Для меня большой вопрос, тот ли это вид сурка, что живет на севере Монголии, или другой. Чтобы узнать это, нужно достать пару-другую зверей. Вскоре гремят выстрелы, а через полчаса я сижу у болотца, обдирая двух убитых зверьков. Сеноставка Прайса, которую я привык считать обитателем пустынных равнин, вылезает на скалу и свистит, завидев кружащегося надо мною коршуна. Здесь она живет на больших высотах, рядом с сурками, около нор которых я видел сегодня и зайца-толая. Обычное распределение «зон жизни», наблюдаемое в горах Европы, отчасти Сибири, Америки и других стран, в Центральной Азии сильно изменено. Если на Кавказе, двигаясь от степей в горы, мы проходим вначале полосу лиственных лесов, выше — хвойных, потом — кустарников, субальпийских лугов, альпийских лужаек и, наконец, достигаем границы вечного снега, занимающего самые высокие гребни, то в горах Монголии картина оказывается значительно упрощенной. Здесь от пустыни мы попадаем в степь, а затем непосредственно на горные луга.

Почти полное отсутствие леса, лишённого в силу климатических условий возможности образовать сплошные пояса, дает простор для развития горных лугов, область которых непосредственно соприкасается с полосой степи и полупустыни. Поднимаясь в горы

на Кавказе, например, нетрудно заметить, как следом за растительностью меняется и животный мир; в Монголии эта смена выражена менее резко, так как многие степные виды получают возможность подняться на горные луга, а горные — спуститься в степи. Оттого на Барун-Богдо-Ула часто можно слышать одновременно крик пустынной сойки и горной галки—клушицы, свисты уларов и трещание пустынного сорокопуга, видеть горных козлов, пасущихся почти на тех же лугах, к которым поднимаются джейраны. Лес, в других горах преградивший сплошной зеленой стеной дороги от степи к лугам, здесь не развит, и животные открытых травянистых угодий получают возможность расширять свои области.

Я собираюсь уходить, когда ко мне подъезжает монгол—охотник за тарбаганами. Слезает с коня, здоровается, протягивает табакерку с нюхательным табаком. Из вежливости я подношу к носу ее крышечку с лопаточкой, на которой лежит порция буроватого зелья, и возвращаю табакерку хозяину. Теперь по этикету



я должен угостить его из своей, но у меня ее нет. Зато имеется монпансье, и я делю его поровну. Мы сидим над обрывом, свесив ноги в ущелье одного из величайших центральноазиатских хребтов, и грызем сладости, приехавшие издалека. Новенький маузер и двустволка с крупновскими стволами лежат рядом с монгольской кремневкой, длинноствольной, ржавой, с самодельным ложем и кривыми сошками, олицетворяя историю оружия на протяжении нескольких сотен лет. Впереди и в глубине под нами — обрвавшиеся книзу луга, скалы и камни, повисшие над ними, чудом остановившие свой бег; дальше — размытые, изрезанные, пересеченные тысячами теневых морщин покатоности, сбегаящие в Долину Озер. Серая полыннная степь долины — вся как на ладони, а за ней — дали, сколько хватает глаз, — розоватые, голубые, золотистые и перламутровые, тающие просторы хребтов и пустынь, равные которым вряд ли найдутся в ином месте мира. Орог-Нур лежит рядом и виден от светлых восточных песков до западных болот; его зеленоватая поверхность холодна и спокойна. Можно подумать, что это лед; но налетает ветер — по ней бегут синие пятна зыби или трепетные отражения облаков.

«Урус байна?» — спрашивает монгол и показывает один палец. Я отсчитываю четыре, приговаривая «раз урус, два урус» и так далее. Потом тем же способом он справляется о количестве бурят

и монголов, палаток, верблюдов и лошадей. Я отсчитываю шесть «мори», на что следует вращательное движение пальцами с приговариванием: «туру-туру-туру» — явное изображение езды на колесах. Я отрицательно качаю головой и пальцами изображаю всадника, скачущего верхом. Так мы узнаем друг от друга обо всем, что нас интересует. Потом он уезжает за сурками, я сползаю стеречь птиц и зверей на уступ.

Холодный вечер в ущелье тревожен и ал. Свежий, резкий ветер завывает в щелях камней; кажется, это он поднял со дна муть сумерек, и она ползет кверху по склонам, кутая их темной тенью. А вдали — еще вечер; розовеют гребни Бага-Богдо, и оранжевые полосы света мягко стелются по Долине Озер. Орог-Нур сияет теплыми переливами перламутра; к западу на изрезанной сухими руслами равнине высыпали мелкие точки стад. По два, по три, по пяти и по восьми, склоняясь к траве, спокойно, не поднимая головы, пасутся джейраны, аргали и куланы, отбрасывая малахитовую тень. Днем не было видно ни одного; все они лежали под кустами и по рытвинам, а сейчас их так много, что, считая стада в бинокль, я легко сбиваюсь.

Коршун в последний раз очерчивает полукруг у гребня и скрывается на ночлег. Сложив крылья, с шумом падают сверху клушицы. Голоса их сдавлены и слабы: вечер делает эхо глухим. Птицы слетают к подножию моего уступа, и я слышу, как в глубине под мною, в черноте щелей, они ссорятся из-за мест и шумят глухими подземными голосами. Часть клушиц осталась снаружи у входов в трещины; они хохлятся, вздрагивают, полураспускают крылья. Мне тоже холодно — ветер пронизывает до костей.

Вот шорох осыпающихся камней доносится с дальнего склона — от скал отделяются два выступа и начинают спускаться на луг. Это горная коза и козленок; первая идет и прислушивается, второй медленно следует сзади; оба на темном лугу кажутся мне что-то слишком рыжими и хорошо заметными.

Скоро ночь. Бага-Богдо угасла и еле синее за Орог-Нуром низкой шапкой; над озером слоится туман. Козодой скольльзящим, бесшумным полетом стелется вдоль косогора; голос горной завирушки в последний раз звенит зябким, дрожащим звуком. Я смотрю на индеек: уже смолкли дневные звуки и, кажется, пора бы выводку лететь на ночлег. Всю зарю переключаясь полнозвучным громким посвистом, то похожим на крик желны, то на «кукушкин перелет» соловьиной песни, то на заливиный свист крошшепа, они кормились, рассыпавшись по склону и медленно поднимаясь к гребню. Им отвечали соседние семьи, и свист переливался через горы к другим ущельям и склонам. Потом улары замолкли, собравшиеся в кучки семьи, нахохлившись, сели на скалах. Десять молодых и две старые индейки, обернувшись грудью к ветру, расположились на гребне надо мной; их белые брюшки издали — как светлые бусы.

Совсем темнеет. Вот старый улар вытягивает шею и смотрит вниз. «Клить-кли-кли», — раздается сигнал к полету, и стая на

неподвижно раскрытых крыльях скользит над склоном к моему утесу. Я слышу, что опустившиеся птицы переговариваются, ходят и роняют камешки; к ним с шумом приносятся еще два выводка. Я жду, дрожа от холода и нетерпения. Потом над зубчатой стеной утеса показывается заглядывающая вниз голова, темная грудь и белое брюшко одной индейки, второй, третьей, четвертой... Теперь весь гребень занят по краю заглядывающими книзу уларами. Я медленно поднимаю ружье и выцеливаю самую крупную. Огонь и грохот так резко взрывают темноту ущелья, гул выстрела отзывается в скалах таким раскатом, что ошеломленный я едва успеваю послать в догонку стае еще один, долго не умолкающий удар. Может быть, час карабкаюсь я вверх по утесу, ползаю по щелям, ощупываю белеющие кварцем камни, осыпаю в ущелье целые потоки щебня — под руку попадает только холодное и твердое вместо теплого, покрытого перьями.

Утро вечера мудренее — нужно идти к палатке. В темноте я едва нахожу маузер и шапку, долго съезжаю на спине по осыпям и лугам, потом добираюсь до дна ущелья. Отсюда нужно на правый склон, потом с километр по косогору, где, перейдя пять лошадиных шагов, влево и вниз к палатке. Но выходит луна, тени меняют очертания гор и отдельных уступов — я не нахожу ни одного знакомого места; час и второй взад и вперед лазаю по рытвинам, сухим руслам и склонам. Дожидаюсь, когда затихнет ветер, поднимаю на луну ружье и посылаю ей два языка пламени. Крошечный огонек появляется в ответ на выстрелы высоко, в глубокой тени под хребтом; огонек мигает вправо, влево и манит к себе. Через полчаса я рассказываю в палатке об уларах и свищу, изображая взлетающую стаю.

Утром я снова под утесом, и первое, что бросается в глаза, это раненый улар, нахохлившийся и пышный, сидящий в одной из щелей. Над утесом я нахожу второго, но этот успевает сорваться вниз; на неподвижно раскрытых крыльях уносится в глубину ущелья, следуя всем неровностям склона, потом скрывается за поворот. На обратном пути четыре горных барана, пасущихся рядом с нашими верблюдами, заставляют меня схватиться за винтовку. Через день я близко подхожу к куланам, спокойно щиплющим траву всего в километре от наших лошадей. Признаюсь, я мало рассчитывал, что увижу этого крупного дикого осла, одного из немногих представителей однокопытных, уцелевших до наших дней. Помню, торопливо доставая бинокль, я оторвал пуговку у кобуры, хотя спешить было некуда; и крупный, гладкий жеребец, и обе кобылы, и оба жеребенка, уже близкие по росту к старым, завидев меня, не изменили медленного хода. Подбегая к куланам, я привел в движение животных, оставшихся до того скрытыми: джейраны понеслись в долину, тут и там поднялись с лежек аргали. Помню, один из баранов нес такие огромные рога, что отставал от других членов стада и копытами поднимал более густые клубы пыли.



## В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

«Есть страны с такой пустынной далью, с таким вымершим небом, где даже как-то неловко торопиться».

(Л. Рейснер. «Афганистан»\*)

От Барун-Богдо-Ула к Улясутаю существуют две дороги: уже знакомая нам вдоль реки Туйн-Гол, повертывающая потом к западу, и другая, прямо на северо-запад. Вернее, это не дороги, а направления, которыми можно пройти, хотя относительно второго Дорджи и уверяет в противном. Он говорит, что летом там мало воды, и монголы проходят здесь только зимой, когда можно пользоваться скудным снегом. Кто его знает, действительно ли он был осведомлен о трудностях этого направления или просто хитрил и хотел пройти ближе к дому. Веря карте больше, чем проводнику, мы стояли за новый, более короткий и интересный путь. К тому же с гор было видно озеро на расстоянии одного перехода, да и дальше как будто что-то поблескивало и голубело.

Мы вышли рано утром в обычном порядке. Дорджи, несколько недовольный и сердитый, вел отдохнувших верблюдов, начавших понемногу обрастать шерстью; сзади присматривал за караваном Миша; остальные ехали впереди. Как нарочно, к этому дню передняя нога моей лошади опухла вокруг раны от пут; животное шло хромая, и я с усилием ташил его за повод. Перспектива, быть может, не один день вышагивать по песку и щебню в разбитых ботинках, подвязанных веревками, казалась далеко не радостной. Помню, меня раздражало и солнце, припекавшее более чем всегда, и медленная поступь лошади, и камни, сплошь завалившие всю покатошь от самого подножия горы до Долины Озер. Идти приходилось, все время лавируя и намечая издали места, усыпанные более мелким щебнем. Сухие песчаные русла ручьев могли бы послужить нам хорошей дорогой, но они шли к северу и северо-востоку, сильно уклоняясь от нужного нам направления. Ими пользовались только джейраны, несчетные следы которых сливались в утопанные тропинки. Лежки, овальные, очищенные от камней площадки для отдыха, были раскиданы у кустов и за камнями, показывая, что антилоп здесь было множество. Однако мы не встретили тут ни одной: среди камней и кустов они умеют быть незаметными. Несколько дальше, где щебни сменились песками и кустники стали редки, у каждого из них можно было найти следы недавно отдыхавшего джейрана. По форме песчаных бугорков близ кустиков и по расположению лежек легко определить, что в это время года преобладающие ветры здесь — западные.

Несколько километров по камням, несколько километров по пескам — и мы выходим в Долину Озер, на дно той длинной впадины, которая, растянувшись у северного подножия Гобийского



Алтая, как аквамарины на нитку, собрала вереницу водоемов. В ней лежат Орог-Нур, Цаган-Нур, Улан-Нур и несколько более мелких озер. Теряясь на востоке и западе, протянулись вдоль долины торные звериные тропы; ими ходят к воде джигетай—куланы, аргали и джейраны.

Стада их временами показывались вдаль и скрывались, подняв легкие облачка пыли; потом не стало и их. Теперь уже ничто не отвлекало внимания; приходилось придумывать развлечения. С камня, на котором грелась, соскочит круглоголовка и, задрав кверху пятнистый хвост, помчится извилистым ходом, сверкая красноватыми пятнами подмышек. Потом при-

ляжет и мгновенно пропадет из глаз. Снова не на чем остановиться взору. Тогда далеко впереди вымотришь ослепительно белое пятнышко, полчаса и час томишься, ждешь и гадаешь, что бы это могло быть. Пятнышко медленно растет, принимает определенные формы; становится ясно, что это кости... «Верблюжий? Нет, не верблюжий; ну, значит, куланы...» Кости оказываются джейраньими. Череп, позвонки и лопатки выбелены солнцем, как блестящий кварц; они кажутся издали гораздо большими, чем есть на самом деле. Рубчатые изогнутые рога нагреты, и, когда я берусь за них, теплота их кажется живой, но глазницы и коробка черепа, где был мозг, плотно набиты песком. Он высыпается оттуда с мертвым шелестом, увлекая шкурки кожеедов. Рассматриваю белые, с потрескавшейся эмалью зубы, считаю рубчики на рогах, на правом и на левом по отдельности, вычищаю песок, понемножку обламываю лишние кости. За этим проходит полчаса. Впереди по-прежнему ничего примечательного, и лишь далеко темнеет крошечный обтрепанный кустик. Он сух, колюч, полузанесен песком, как все одинокие пустынные кустики,



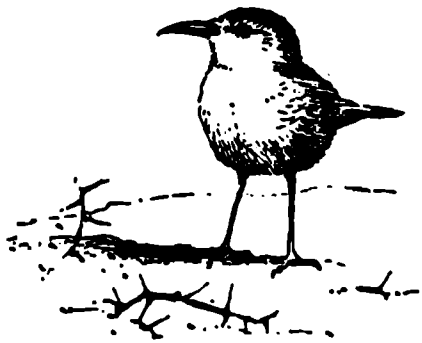
но и ему рады. Я вижу, как посмотреть на эту диковинку подъезжает Викторыч, потом А. П. и А. Я.\*; Дорджи с верблюдами тоже невольно направляется к этому ничего не значащему маяку.

За кустиком такая голая равнина, что направление приходится держать на стеклянно мерцающую, дрожащую полоску озера, которая становится то шире, то уже, пока медленно из обманчивого большого водоема не превращается в широкую впадину с глинистой почвой, покрытой седыми и белыми выцветами соли. Низина окружена буграми с замученными ветром кривыми и судорожно перевивающимися кустами тамариска; берега ее плоски и илисты; пересыхающее озеро больно сверкает под солнцем. Кто-то нехотя идет пробовать воду, будучи уверенным в ее непригодности. Красные утки, пеганки и шилоклювки поднимаются ему навстречу и снова садятся на те же места, как будто зная, что человеку здесь нечего делать. Он нагибается над водой, черпает горстью, потом выплескивает воду, смущенно обтирая потный лоб. Кони нюхают ее, недоверчиво касаются губами, оставляя мелкую рябь от дыхания, верблюды высоко держат головы, даже не желая нагибаться. Все мы, привычно терпевшие до вечера, разом чувствуем, что хочется пить. Может быть, в другом месте вода лучше?.. Я иду к озеру, проваливаясь через мягкую, словно пуховую корку. Вода тепла и липка, соль и горечь обжигают мне рот. Нет, должно быть, придется оставить ее джейранам, тропами которых изрезаны все берега.

Дорджи решительно вскакивает в седло и так сердито дергает переднего верблюда, словно именно он сделал воду негодной. Качаются вьюки, поскрипывают седла. Повернув на север, мы продолжаем путь. Багровое солнце опускается в горы, покрывая розовой не утоляющей росой щебни, польни, потрескавшиеся, изъеденные скалы, готовые рассыпаться при первом толчке. Начинается медленный подъем, чаще встречаются камни, редуют и без того уже жидкие травы, гравий сухо и звонко скрипит под ногами. В сумерках мы ставим палатки на каком-то затерянном холме, стреноживаем коней, к вьюкам привязываем верблюдов. По привычке, пока не стемнело, я иду с ружьем искать тушканчиков и, по привычке же, захватываю караганы на топливо. Все смотрят на меня удивленно: воды нет, ужин готовить не на чем. Мы получаем по половинке лепешки и по одному глотку воды из бутылки, предусмотрительно захваченной Викторычем. Все засыпают, не раздеваясь: на завтра в дорогу чуть свет.



Череп джейрана



Монгольская пустынная сойка

Утром снова по глотку воды. Владелец бутылки тщательно отправляет в рот оставшиеся в ней капли. Все молчаливы, Дорджи мрачен. Моя лошадь опять хромает, я иду теперь позади. Широкий проход воронкой уводит к северу между скалами хребта Нарын-Хара, серыми, как могильные плиты. На них громко кричат клушицы, им откликается сухое, сердитое эхо. Пустынная сойка стрекочет в карагане; ей — ничего, она может без воды...

Поднимается солнце, утренняя прохлада сменяется слабым теплым ветерком, потом неподвижным полуденным зноем. Тихо, мертво — живое попряталось. Изредка вылетит с треском темно-серая кобылка—бриодема, расправит нижние траурно-красные крылья, сделает несколько пируэтов в воздухе и, вдруг умолкнув, опустится на раскаленный гравий. Уложит крылья, сдвинет лапки — серый острый камешек и ничего больше. Опять тишина. Верблюды дышат со свистом, тянут друг друга за поводья, темным тоскливым глазом косятся на соблазнительные колючки. В дороге их не полагается кормить; за ночь они пережевывали всю жвачку и теперь большие зубы, созданные для непрерывной работы, но лишенные материала, издают жалобный скрип, так как челюсти продолжают автоматически двигаться.

Так идем мы несколько часов, не зная, что ждет впереди. Хрустит гравий, скрипит седло, скрипят жалобно голодные верблюжьи зубы. Неподвижен воздух, не шелохнутся ветви и листья караганы, сухие и жесткие, как цветы металлических венков, молчат норы тушканчиков, сусликов, песчанок, скрывшихся от безжалостного солнца. Время остановилось, времени нет; кажется, вечно будет литься с неба этот полуденный слепящий огонь.

Желтая черточка песков начинает мерцать впереди, чуть правее нашего пути. Мы уже вышли на вьючную тропинку, запустелую и забытую, как белые верблюжьи кости, рассеянные на ней неведомыми караванами. Где-нибудь впереди должен быть колодец; может быть, он у этих песков? Я смотрю на Дорджи, он пристально вглядывается вдаль, делая руку козырьком, потом запеваает песню, погоняет коня и кричит на верблюдов. Проходит не менее получаса, прежде чем я отыскиваю на серой зелени в стороне от песков тонкую, бледную, как потерянный конский волос, линию овечьего стада. «Хони байна, монгол байна, усу байна...» (Овцы есть, монголы есть, вода есть), — на все лады

повторяет Дорджи и кричит что-то Мише, с которым до того не хотел разговаривать.

Колодец оказывается на твердой площадке посреди бугристых песков. Он глубок и с краев обложен большими плитами; один островерхий камень поставлен в стороне: в пустыне один знак и для мертвого и для источника жизни. Здесь же мертвое приключилось к живому: облезлый мохноногий тушканчик, заскочивший в колодец во время ночных игр, плавает на поверхности; следом за нашим брезентовым ведром выплывает со дна другой — тушканчик-скакун, размякший до неузнаваемости. Вода с тухлым и сернистым запахом, который все же никого не смущает. Не без удовольствия мы умываемся, а позднее с наслаждением пьем чай, слегка сдобрив его клюквенным экстрактом. Дорджи скачет к юртам и, возвратившись с молоком и бараном, говорит, что колодцы по пути будут чередоваться с большими безводными переходами, но все же дорога проходима, если брать с собой суточный запас воды. Мы используем для этой цели один свободный бидон, брезентовое ведро и бутылку.

Вечерний переход все начинают веселее, чем утренний. Переходим небольшую низменность с зарослями долинных трав. Здесь уже зазолотились тонкие метелки дэрэсу, порыжели, заржавели кончики листьев ириса, свернулись увядшие листья солодки.

26 августа... Степь спит давно, в долинах тоже начинается осень, и недаром сегодня во время обеда протянулись к югу большим клином журавли-красавки. Несколько меньших треугольников летело за первым, и вся партия молча, без курлыканья, скрылась по направлению к Барун-Богдо-Ула, такой же синей и недалекой, словно прошел час с тех пор, как мы вышли.

За низиной подъем на дресвяную сухую пустыню, на которой впереди то и дело мелькают цепочки джейраньих стад. Пара куланов, помахивая хвостами и трясая головой, доверчиво приближается к дороге, чтобы взглянуть на караван. Их едят комары, которых тут гораздо больше, чем у воды в долинах. Насекомые мешают зверям стоять спокойно; куланы поворачиваются, убегая спокойной рысцой. Вечернее солнце ярко блестит на покрытых светлой шерстью пятнах крупа. Я вспоминаю, что такие «зеркала» есть у обеих монгольских антилоп, у аргали, у многих стадных копытных других степных и пустынных стран. Несомненно, особенность эта развилась в связи со стадной жизнью на равнинах, где каждое светлое пятно сверкает издали и легко может выполнить свое назначение, для нас еще недостаточно ясно.

Незадолго до заката мы становимся лагерем. Палатка завладевает клочком пустыни с щебнем, норами и травой; на него кладется брезент, в изголовье — седла, сбоку — ружья, сверху — одеяла и бурки. Клочок каменистой земли превратился в жилище.

Потом все отправляются за аргалом. Наши верблюды тоже оставляют здесь след, которым воспользуются будущие странники: в пустыне скудные запасы топлива не переведутся никогда. Кто-то



Большая песчанка

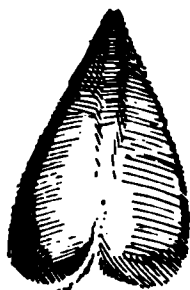
в шутку кричит, что искать аргал интересней, чем грузди. Я попутно замечаю тушканчиковые норы и, вернувшись, уже в полной темноте, ощупью ставлю капканы. Наутро в них оказывается лишь один скакун, двумя другими воспользовалась болотная сова. Я вижу, как в розовых сумерках она улетает к излюбленному месту дневки.

До полудня мы идем все тою же щебнистой дорогой. Потом растительность начинает

редеть; если прежде десять или двадцать сантиметров отделяет одно растение от другого, то теперь между ними метр и больше оголенного пространства. Исчез лук, излюбленный тушканчиками, перестали встречаться их норы. Серо-стальные и красноватые солянки, низкие, редкие, тщетно пытаются прикрыть оголенную, потрескавшуюся почву. В дождь здесь стояли лужи, был мягкий и вязкий ил, на котором копыта джейранов оставили острые сердцевидные следы. Следы тверды теперь, как каменные.

По этой низине мы спускаемся к озеру. День серый, набегают облака; поверхность озера тоже сера, но есть в ней что-то странно неподвижное, мертвое. Подходим ближе — пространство, казавшееся водой, превращается в сухое и твердое дно. Тоши и смяты камыши, жидкой каемкой окружившие котловину, зато зелены и пышны кусты хармыка и тамариска, завладевшие вершинами бугров. Здесь, в песчаной и рыхлой почве, расположена большая колония — городок толстых песчанок. Галереи, камеры, отнорки так густо пронизали почву, что нога глубоко проваливается на каждом шагу и ступать нужно с большой осторожностью.

Черноглазые любопытные песчанки всюду выглядывают из нор, порывисто выскочив, хватают солянки и тащат в подземные камеры. Ближние, вставши на задние лапки, посвистывают сипловато и низко: «пюй, пюй, пюй, пюй, пюй...», покачиваясь при этом, как китайский болванчик на пружинке. Голос большой песчанки слаб и глух; кажется, что слышится он из-под земли; трудно судить по нему, где находится подглядывающий зверек. Канюки подстерегают грызунов, сидя на ближайших холмиках, у подножий которых — лисьи норы. По следам ясно, что и лисы поселились здесь тоже из-за этой легкой добычи, в добавление к которой они собирают ягоды хармыка.



След джейрана

Сухое озеро называется Бон-Цаган-Нур. Около него мы находим такой же колодец в серой гранитной оправе, как и вчера. Здесь — обед и отдых. Набирается новый запас воды, и опять до позднего вечера четыре верблюда и шесть лошадей медленным шагом меряют километры равнины, кажущейся совершенно безмерной. Ночуем близ луга, у речки, впадающей в озеро Джаргалант. Кажется, слово это означает «счастливый». Место, действительно, привольное, и до поздней ночи мы слышим песни, крики пастухов, ржание коней, гоготанье гусей и сильные крики цапель, летящих к озеру, хорошо видимому с высоты.

На другой день, едва скрылось из глаз место ночевки, мы встречаем торговый караван,двигающийся в город Хух-Хото (Синий город, по-монгольски), — первый караван, идущий издалека и далеко. Двадцать верблюдов, высоких и сильных, как один, идут легкой и мерной поступью. На переднем вожатый — весь в синем, с повязкой на голове; на следующих большие бутылки для воды; дальше связанные в стопы овечьи и козьи шкуры, небольшие, но, видимо, тяжелые тюки, и, наконец, на заднем — длинные шести для арканов, такие длинные, что волочатся концами по земле, оставляя волнистый след на всем пути каравана. На последнем верблюде висит и колокол — тяжелая бронзовая коробка, гулко звякающая под ровный шаг животного. Веревка, продетая в ноздри верблюда, прихлестывается к вьюку животного, идущего впереди, с таким расчетом, чтобы она отвязалась, если верблюд споткнется или упадет, иначе он разорвет себе нос. Поэтому караван нередко разбивается на части, и вожатый сразу узнает о происшедшем по смолкающему звяканью колокола.

Следом за верблюдами ехало несколько всадников и бежала пара собак; верстами пятью дальше двое пеших гнали огромное стадо овец. Мы вспомнили, что утром проходили мимо нас табуны лошадей. По двенадцать — восемнадцать километров в день проходит такой караван. Окончится лето, пройдет осень, начнется зима, мы уже будем в Москве, когда караван доберется до цели. Пятнадцать километров в день, а до Хух-Хото их полторы тысячи.

И мы и животные уже втянулись в переходы. Сегодня сделали километров тридцать. Третий день в пути, а равнины не видно конца. Вблизи мелкая россыпь караганы, галька со стеклянным блеском, вдали — все те же хребты, что еще третьего дня голубели на горизонте и словно плавали в воздухе, отделенные лентой марева, дрожащей и вьющейся, как от ветра. Мы увидим их завтра, еще будем видеть целую неделю, а может быть, и две. Барун-Богдо-Ула по-прежнему высится голубой стеной, но никто уже не оглядывается и не любит ее белыми снегами.

Я пробую петь песни, еду с закрытыми глазами и пытаюсь спать по-монгольски, в седле, — ничто не может наполнить однообразия этих часов. Джейраны уже перестали развлекать; они появляются всегда одинаково: из-за кустиков караганы покажется



Сулхир — солончаковое растение, семена которого монголы собирают взамен хлеба

золотистая пылинка, смотришь — их уже несколько (повскакали с лежек), столпились, построились шеренгой и волнистой цепочкой унеслись за черту горизонта... Сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня. И мало помалу умирает нетерпеливость, азиатское степное спокойствие вытесняет остатки европейской порывистости. Вскоре все мы охвачены великим покоем равнин, солнечной ленью неба. Покорно, как Дорджи, качаемся в седлах, не гоним коней, лениво

развьючиваем верблюдов, лениво убираем палатку. Иногда, проснувшись утром, не находим коней, которые, мучимые жаждой, ушли за водой; тогда отправляемся на поиски в шесть разных сторон, и никто не ропщет на потерю времени.

С утра тени неясны и длинны; они уходят влево от всадников; в полдень становятся короче и четко рисуются под ногами, вечером лиловыми лентами растягиваются вправо и двигаются, как ползущий частокол. Когда частокол потускнеет — время ставить палатку. На пятый день мы разбиваем ее у реки Байдраг-Гол. Сотни полторы километров отделяют нас от Барун-Богдо-Ула; здесь долгожданная дневка. Кони пасутся по зеленым лужайкам, верблюды пропали в высоком дэрэсу, люди моются и чистятся у реки.

Самое замечательное на Байдраг-Гол, это — засеянное поле. Только тот, кто провел месяцы в стране невозделанных трав, может понять, как радостно услышать среди гобей знакомый шелест нивы, увидеть гнущиеся к земле колосья. Посеян был ячмень на крошечном орошенном участке; он был недоспевший, усатый, розовый под вечерним солнцем. В первый момент я остолбенел и не поверил глазам, а потом был готов слезть с коня, чтобы, забравшись руками в чашу стеблей, пригнать и гладить шуршащие колосья. Это было первое поле, встреченное в Монголии; только в Улясутае увидели мы посевы еще раз.

\* \*  
\*

Байдраг-Гол быстр и глубок. Понадобились услуги местного монгола, чтобы найти брод. Он повел нас там, где река разбилась на два рукава. Переправа была здесь исстари — недаром желтые развалины древней крепости все еще грозились на реку



с холма. С острова они казались обломками зуба, прочно завязшего в красной старой челюсти горы.

Вода оказалась по брюхо коням. Из осторожности верблюдов переводили по одному, и они, бултыхая ногами, окатывали нас крупными брызгами. Потом их опять связали вместе. Саджи залетали над нами стаями, и дорога повела нас дальше по древнему караванному пути. Местность стала более неровной, чем прежде, чаще попадались останцы, впереди и справа рисовались небольшие горы.

У первого колодца, где остановились обедать, оказалась небольшая колония светлохвостых сусликов. Этот зверек, чрезвычайно редкий в коллекциях, в наших сборах еще не был представлен. Забравши ведра, я принялся таскать воду и заливать ею норы. Большинство оказывалось необитаемыми; жужелицы, чернотелые жуки, большие горные тараканы и другие насекомые, обитатели нор и щелей, всплывали вместе с пеной и мелким сором, но знакомого фырканья зверька не было слышно. Только из последней норы, залив которую, я решил окончить бесплодную работу над «орошением пустыни», вдруг показался большеглазый и светлый зверек, перепачканный глиной, с комично облепившей его мокрой шерстью. Вскоре я поймал второго и, ободренный неожиданным успехом, объявил дневку. (У нас было условлено, что каждый из участников один раз за время путешествия может потребовать остановку на сутки в любом месте, где ему понадобится, лишь бы около была вода и корм для животных.) Мое заявление не встретило возражений; все получили неожиданный отдых, а я — возможность таскать воду до позднего вечера. Мне думается, что за это время было перенесено около сотни ведер, но усы — из нор лезли одни жуки. Я не поймал больше ни одного суслика.

На другой день показались крупные холмы, все чаще и чаще встречались отдельные скалы, останцы и гребни, а к вечеру мы достигли плоских вершин с болотистыми низменностями, в которых была свежая зелень, виднелись озера и бежали ручейки.

Близ кумирни Тайджин-Хурэ, где Миша достал у торговцев печенья, муки и сахару, очень кстати пополнивших наши оскудевшие запасы, с одного из озер поднялись индийские гуси и, видимо, привлекаемые любопытством, полетели над самым караваном. Прозвучали три выстрела, и три птицы упали на землю, прежде чем стая успела проникнуться страхом к людям, держащим в руках ружья. Этот некрупный гусь, живущий на горных озерах и речках высокой Центральной Азии, доверчив более, чем какой-либо из его собратьев. Голубовато-серый сверху, с белым брюшком, шеей и головой, с двумя черными подковообразными пятнами на затылке, с клювом и лапами апельсинового цвета, индийский гусь — одна из красивейших птиц гусиного рода. Голос его слабее, чем у других гусей, и тихое носовое гоготанье звучит особенно растерянно, когда стая недоуменно кружится над упавшим товарищем.

Через день, когда мы остановились в болотистой и засоленной котловине близ озера Уйдультэ-Нур, индийские гуси постоянно пролетали близ нашего лагеря. Мелкое грязное озеро было средоточием богатой птичьей жизни. Как черный плот, плавал у дальнего берега большой табун крикв; около него держались чирки; кулики-песочники и трясогузки бегали по грязи: это были странники, как мы, остановившиеся здесь на время. Сюда же прилетали на водопой местные, туземные пернатые. Черный, тяжелый орлан-длиннохвост, по-куриному поднимая клюв кверху, наполняет водою зоб, напившись, долго сидит у берега и чистит перья, широкий, пышный, словно надувшийся индюк. Около полудня наступает время появления саджей. Над озером сперва проносятся одиночные птицы, описывают быстрый круг и скрываются, не решаясь садиться без стан. Эти первые — словно разведчики огромной армии, которая не замедлит появиться. С шумом бури налетает ее первый отряд и, сомкнувшись в густое облако, разом садится на землю. Поверхность, бывшая за мгновение до того зеленой, теперь становится подвижной и глинисто-желтой. Сотни птиц подбегают к берегу и на миг припадают к воде, затем — дружный треск крыльев, и стая широким развернутым фронтом, то растягивающимся, то сжимающимся, уносится за волнистые склоны.

Вдали появляется другое облако, больше первого, мгновенно вырастает в тучу птиц, оглушает шумом острых сильных крыльев, тысячами коротких криков «нэк-тро, нэк-троо». Оно рушится все над тем же пологим участком берега, застилая его серо-желтой сплошной пеленой, словно рассыпавшийся песчаный смерч. Стая за стаяй со всех сторон спешат на водопой к урочному часу, потом время его проходит, и у воды остаются одни водяные и прибрежные птицы.

От колодца к ручью, от ручья к озеру и снова к колодцу день за днем выполняет урочные переходы наш небольшой караван. Дни жаркие, дни ветреные, облачные и ясные так похожи один на другой, что сейчас, вспоминая их, видишь одну непрерывную полосу времени, наполненную шорохами передвижения. Иногда, при жаре, рои мух начинают досажать коням, и они, не погоняемые всадниками, пускаются скорой рысью. Тогда картины начинают меняться быстрее, и часы не кажутся такими бесконечными. Но случаются дни, когда дует свежий встречный ветер и ничто не может вывести животных из сонного, ленивого состояния. Они идут, понуриив головы, дремлют на ходу, близко держась друг за другом. Нагайка бессильна оживить их на сколько-нибудь длительный срок, да это и не имеет смысла: верблюды идут размеренным шагом автоматов, всадникам приходится считаться с их скоростью.

Вспоминаю небо, огромное, светлое, под которым безграничная страна — всего только узкий клочок. Белые гурты облаков, лохматых вверху, прозрачных и мелких у горизонта, гонит ветер-пастух к водопою за горами у Китайского моря. Голубые тени, как

большие мелководные озера, плывут и меняют очертания, скользят, не оставляя следа, словно утекают со степи, золотистой и ровной. Степь сухая, сентябрьская; все говорит в ней об осени. Антилопы, собравшиеся в табуны, убегают теперь вереницами по пятьдесят и по сто голов. Воздух стал еще чище, хоть и не верилось, что возможно было сделать его более прозрачным, чем он был летом. Осень чувствуется в нежных криках потерявшихся жаворонков, в золотистом шорохе уснувших злаков, в настороженной темноте вечеров. Из них мне вспоминается один — хмурый и ветренный. Долина, озеро с белым соленым берегом, грязь, истоптанная копытами у лужицы пресной воды. Неуютное, ничемное место, но ставится палатка и майхан — оно делается похожим на жилое. Верблюды покорно сгибаются, ложась у выюков, кони stanовятся шеренгой задом к ветру. Он рвет и треплет их хвосты, силится повалить с ног. Всю ночь раздувает, гнет и ломает палатку, того и гляди унесет. Неспokoйно спится в такую тревожную пору. Темь, безлюдье, в небе тоскливо гогочет заплутавшийся гусь, прилетевшие за ночь зуйки и песочники жмутся наутро по ямкам в грязи. Кони пропали, словно ветер сделал свое дело — унес их по степи, как легкие шары перекаати-поля. Дорджи каким-то особым чутьем находит их далеко от лагеря, забившимися в затишье между скал.

Вспоминается, что с этой ночи осенний ветер, колючий, удушающий, упорно бьет нам навстречу изо дня в день. Наступает время, когда монголы подпирают юрты кольями или перекидывают через них веревки из конского волоса, к которым привязаны тяжелые камни. Они крепят якоря, как корабли перед штормом.

Четвертого сентября мы проходили по местности, обильно усыпанной останцами. Множество сеноставок Прайса жило в пустотах и щелях скал; везде под плитами и в пещерах лежали большие запасы прекрасно засушенного сена. В нем были астрагалы, полыни, злаки, астры и много других, срезанных острыми резаками зверьков и засохших с цветами и колосьями. Я привез это сено в Москву, чтобы ботаники определили растения, используемые грызунами. Работа эта была выполнена, а сено лежит до сих пор у меня. В его запахе, свежем, горьковатом и сладком, ароматы цветов слились и сплелись в одно целое с томительной сухостью ветра и неувядающим светом солнца. В нем — клубок воспоминаний о кочевках по просторной земле, о ружье, укрытом от дичи качающимися перед глазами травинками. Многого то, чего даже и не ждешь, воскресает в памяти, едва вдохнешь воздух степи и пустыни, так чудесно сохранившийся в сухих лепестках и свертке китайской бумаги.

Сеноставки этой местности не только сушили сено. Они грелись на солнце, подновляли к зиме норы, глубже уводя их под скалы, и делали еще одно дело, за которое, будь я монгол, я счел бы их ламаистками. Куски щебня, верблюжий аргал, кости и обломки ветвей караганы они складывали близ нор в конические кучи до четверти метра высотой, чрезвычайно напоминающие мини-



аторные обо. Местами эти кучи кольцом окружали подножия скал, местами были рассеяны отдельными группами. Это не были просто камни, выброшенные при рытье нор, — нет, сеноставки их специально собирали и сносили в кучки, так что участки вокруг нор оказывались очищенными от щебня. Я пробовал разрывать эти «обо» — под ними ничего не оказывалось. Мне думается, они служат для защиты нор от воды или ветра.

Пятого сентября был первый ночной мороз. Наутро палатки, брезенты и вьюки оказались седыми от инея. Но взошло солнце, обогрело, степь ожила, даже бриоидемы затрещали.

Любопытно, что этот пустынный вид кобылки чрезвычайно изменчив по окраске. За долгие дни пути нетрудно было заметить, что на серых щебнях насекомые были серыми, среди темных базальтовых пород они, как и ящерицы, казались совсем черными, на древесной — рыжеватой, розовой, желтоватой — их спина, надкрылья и лапки опять-таки были близки по цвету к перечисленным оттенкам. Для саранчи из рода *Trinchnus* и *Truxalis pasuta* это явление уже давно подметил известный путешественник Зарудный\*, при исследованиях в пустыне на северо-востоке Ирана.

На другое утро было  $-3^{\circ}$ . Когда снимали палатку, пустельга бросилась за малым пустынным жаворонком; он в испуге забрался под мою бурку, лежавшую на земле. Я поднял ее; птичка не делала попытки улететь и дала вязать себя в руки. Через некоторое время, когда сокол скрылся из глаз, я выпустил жаворонка, и он, громко крикнув, присоединился к своей стае.

В этот день мы пришли к реке Дзавхан, синей и такой прозрачной, что все камни дна были видны от берега до берега. Здесь встали на два дня близ густых ивовых зарослей, вместе с



зелеными лужайками уходивших вверх по реке к высоким бесплодным горам.

\* \*  
\*

В кустарниках стрекочут сороки, чирикают полевые воробьи, кочуют ремезы, покинув всяческие пушистые гнезда; пролетные пички и горихвостки скликаются в стаи своим нежным «уинь-уинь». Над рекой носятся утки, высоко тянут гуси-сухоносы, и черный глянцевиный баклан сушит раскрытые крылья, подставив их действию ветра. Он только что кончил нырять за рыбой и сейчас отдыхает на излюбленном камне. Сюда прилетают на водопой саджи, степные кашюки и орлы; спускаются с гор птицы, гнездящиеся среди скал. Речная долина — как караван-сарай: здесь кроме хозяев всегда есть и путники.

За день до выступления погода резко меняется: густые тучи приходят с запада, ветер срывает с ив первые пожелтевшие листья, клонит к земле листья ириса. Начинается дождь, мелкий, осенний. Потемнели юрты, около них не видно людей. Оседланные кони повернулись спиной к ветру; пышными обмокшими хвостами обратились к дождю яки; бело-черное стадо овец подставило ему широ-



Гнездо ремеза

кие, жирные курдюки. Мальчишка, накрывшись сверху драным войлоком, как щитом, гонит из рощи коз; они медленно идут навстречу дыму, прижатому к мокрой земле. Ветер расщипывает дым на клочки, смешивает запах аргала с запахом опадающих листьев. Осень пришла и на Дзабхан: даурские сеноставки кончают «покосы» — с каждым днем близ их нор выше и выше становятся стожки листьев ириса. Они собирают запасы, которые никто, кроме них самих, не употребляет в пищу. Ведь листьями ириса, а не сеном, монголы набивают мешки верблюжьих седел, чтобы голодные животные не растащили их на стоянках. А известно, какой у верблюда вкус. Таким образом, собирая ирис, сеноставки обеспечивают стога от покушений монгольских стад и антилоп. Конечно, здесь дело не в предусмотрительности грызунов, а в том, что природа различно распределила склонности и вкусы травоядных: одни любят ядовитые и острые растения,

другие — сухую зелень злаков, третьи — рыхлые листья болотных растений, четвертые — корни и клубни.

Ночью дождь затихает, к утру начинается мороз. Синий майхан на рассвете белеет, как наша палатка, и когда разжигают огонь, быстро темнеет его верхушка. Птиц у реки стало больше. Испуганный краснозобый горный дрозд прилетает к самой палатке, проносятся скворцы, над рекой там и тут косяки уток и крохалей. В птичьем мире — беспокойство и тревога. Они находят объяснение, когда погода меняется быстро, резко, у нас на глазах. Теплый ветер вдруг переходит в порывистый и жгуче-холодный, резкий настолько, что кони отказываются идти. Налетает темная туча, льет дождь; вторая — как огромный белый лебедь; из нее летит крупа, потом густо сыплется снег. Сзади нас горы Буянту-Ула стали совершенно белыми.

Стынем, мерзнем (все теплые вещи остались во вьюках) и, сражаясь с ветром, со снегом, незаметно проходим мимо поворота к монастырю Нарванчи-гэгэна. Это тот самый Нарванчи, о котором монголы говорят, что творит он восемьдесят восемь чудес и питается только водкой. Чудеса нам мало интересны; нам нужно бы муки да сахару немножко, которые должны бы быть у торговцев; теперь же, повернувши вправо, мы беремся за последнюю сотню километров до Улясутая.

Дорога идет к перевалу (мы уже подходим к границам северной гористой Монголии); ночуем высоко в узкой горной щели, посреди колоний сенокосов. Остановившись здесь, мы, должно быть, мешаем лисице охотиться на ее излюбленных угожьях: дважды приходит она на бугор и тьякает. За ней гонится монгольский пес, по собственному желанию взявший на себя труд охраны нашего каравана. Цыган, так его прозвали за черную окраску, появился на одной из остановок, когда происходил обмен захромавшей лошади на здоровую. Быть может, на всем пространстве пустыни среди щебня был единственный потерянный кем-то гвоздь, и именно здесь нужно было очутиться ноге лошади. Ржавое острие вонзилось в мякоть копыта; его никто не заметил, а когда вытащили, то было уже поздно — лошадь продолжала хромать. Монголы дали в обмен старую вороную кобылу с отвисшей нижней губой, с боками, раздутыми, как бочка, меланхоличную и ленивую. Торг продолжался долго, и уже во время него можно было видеть, как черный пес, обьявивши нас своими хозяевами, усердно троняет от палатки собак, собравшихся со всего аила. Когда мы тронулись, он выбежал вперед на дорогу, сел, оглянулся на оставшиеся в ложине юрты, внимательно осмотрел и нас и верблюдов, проходивших мимо, снова выбежал вперед, еще раз проводил всех глазами и оглянулся назад. Его никто не гнал, но и не звал с собой, но он, словно приняв окончательное решение, весело побежал, опережая всех и гоняясь за рогатыми жаворонками.

Теперь у нас был сторож. По утрам он угонял в скалы красноклювых клушиц, прилетающих к палатке, днем преследовал коршунов, ночью лаял залиvisto и долго в ответ на вой волков, так

долго, что приходилось стрелять в воздух, чтобы напугать его, а к стати и хищников. Он был независим, внимателен и осторожен, слегка вороват и вовсе не нуждался в ласке. Его первым подвигом было необычайно ловкое похищение лепешки почти из рук отдавшего; позднее тем же способом он унес череп моего сурка, шкурой которого впоследствии также не преминул воспользоваться, невзирая на соль и квасцы, обильно ее наполнявшие. От зверя мне остались одни этикетки, и я, видя такую аккуратную работу, благодарил судьбу, что Цыган наш к полевым, сусликам и сеноставкам не проявлял ни малейшего интереса. Однажды, и совсем неожиданно, он обнаружил охотничьи склонности и таланты.

Мы уже вышли тогда из пустынной полосы и двигались к северу, снова встречаясь с сурками, джумбуранами и дзеренами. Монгольские антилопы собрались теперь в большие стада и в зимнем, светло-песчаном меху издали казались совсем белыми, мало отличаясь от табунов овец. Монголы недаром зовут этого зверя цаган-дзерен — белый дзерен. Даже большие табуны подпускали на дальний винтовочный выстрел, и, хотя патронов у нас было мало, все же однажды поднялась стрельба, и дзерены посккали, подгоняемые воем пуль, близко взметавших легкие облачка пыли. Цыган бросился в погоню. От лохматой пастушеской собаки трудно было ожидать той резвости, с которой понесся за вереницей антилоп этот приземистый, невзрачный пес. Вот он уже настигает стадо, разбивает его на две части и, выбрав себе одну жертву, скрывается следом за ней.

Караван, через полчаса вышедший из-за холма, видит такую картину: на степной и ровной площадке лежит мертвый дзерен, около, злобно ошетилившись, сидит черный пес и бросается время от времени то вправо, то влево на бурых грифов, окруживших его сердитым кольцом. С неба, казавшегося совсем пустым, продолжают падать новые хищники; крылья их сложены и, свистя, пересекают воздух. Дзерен, раненный навывлет в нижнюю часть груди, конечно ушел бы, если б не Цыган, взявшийся за дело. Грифам оставили внутренности. Закаркал ворон, захлопали крыльями хищники, но начавшийся пир снова был прерван собакой: Цыган вернулся и, будучи сытым, потащил в зубах большой кусок про запас.

Начинаются высокие подъемы и длинные спуски на перевалах через хребты, отделяющие одну большую равнину от другой, еще более огромной. Должно быть, на пятый день пути вьючная тропа превращается в колесную дорогу со следами проезжавших подвод. В ущельях появляются лиственничные роши, а еще через день мы выходим к уртону Тумурту на почтовом тракте Улясутай—Улан-Батор.

Уртон — это станция, где монголы постоянно держат оседланных коней для людей, проезжающих по служебным обязанностям. Прискакавший всадник сдает утомленную лошадь, садится на новую и мчится километров за двадцать пять или сорок до следую-

шей группы юрт, где повторяется то же самое. Выносливый и опытный человек при этой скачке делает более ста километров в день.

Почтовый тракт был широкий и разъезженный. Дорджи хитро посмотрел на следы автомобилей и, мастерски изобразив гудок, знаками показал, как поскачут при появлении машины верблюды, как посыпятся с них выюки. Прежде, глядя с машины, мы посмеивались над переполохом караванов, теперь же такая встреча казалась нам маложелательной. Отчасти поэтому, отчасти для сокращения пути мы свернули с большой дороги и через последний перевал начали спускаться в долину, где расположен город. Улясутай уже должен был быть виден, но тщетно искали бинокли что-либо напоминавшее город: у речки виднелось лишь одинокое белое здание, стояло несколько юрт и зеленели огороды. Города, с которым связывалось столько надежд и вождедений, не оказалось, картина, рисовавшаяся издали, была менее внушительной, чем любой из виденных нами ламайских монастырей.

Только подойдя совсем близко, мы различили кучку глиняных построек с плоскими крышами, издали терявшихся на фоне гор. Разочарование было преждевременно: на единственной узкой улочке нашлось все, что нам было нужно: консульство, лавки, столовая, почта и даже телеграф, самый замечательный, какой мне случалось видеть. В крошечной комнате стояли и постукивали два аппарата, а рядом поблескивала мясорубка, на которой готовился фарш для котлет. Это был «кухонный телеграф», но работал он отлично, и через день я имел ответ с родины. Помню, мы все расселись на коллекционных ящиках и читали письма над рекой у палатки. Странно было держать в руках эти листки, прилетевшие за шесть или семь тысяч километров, читать о знакомом и далеком, слушая рокот холодного Богдоин-Гола.

В Улясутае мы пробыли неделю, запаковали ящики, продали коней и верблюдов, потом простились с Хун Ю-ченом и Дорджи. Они поскакали на уртонских за тысячу степных километров — один в Улан-Батор, другой к юрте где-то в верховьях Туйн-Гола.

## ОТ УЛЯСУТАЯ НА СЕВЕР К РУССКОЙ ГРАНИЦЕ

За горами, за десятком перевалов, среди лиственничных золотых лесов плещется лазоревая синь Хубсугула. Там на южном берегу последний крупный монгольский поселок — Хатгал, а на северном, на болотистом, мокром бугре — пограничный, порубленный столб. За столбом — те же горы, тот же лес, те же белые снега по хребтам, но уже видится в них свое, родное, знакомое: это наши русские края — Тункинские белки, Китайские гольцы и верховья реки Иркут. От Улясутая до Хатгала по карге километров четьреста с лишком, но дороги совсем не мерены, и



машина, новенький сильный «бьюик», забирает увеличенный запас горючего. Рыжий, веснушчатый, румяный шофер тоже «запасается». Уж третий или четвертый раз хозяйка столовой наполняет тарелку бараниной, уже много раз доливался осушенный стаканчик, а шофер лишь становится румяней, разговорчивей и все просит «прибавочки». Он рассказывает нам, подмигивая и размахивая стаканчиком, о работе «монголеров», о зимней стуже и буранах, о крутизне чудовищных горных спусков, где за машиной на веревках волочат сучковатое дерево в помощь бессильным тормозам. Однажды он сжег свою гимнастерку, окунув ее в смазочное масло, чтобы разогреть мотор после долго свирепствовавшего бурана; в другой раз, оставшись без бензина, несколько дней ожидал на дороге, прежде чем появилась выручившая его машина. О многом, столь же примечательном, мы узнаем за обедом, а потом, провожаемые добрыми напутствиями русских (их в Улясутае немного, и мы со всеми успели познакомиться), трогаемся к окраине города.

Опять запекает мотор, а легкий запах бензина, пыли и степи уже слегка опьяняет волнующими путевыми предчувствиями. Мимо серых стен разрушенной древней крепости, мимо кустарников по долине, где над мертвым яком столпились грифы, мы мчимся в горы по широкому торговому тракту. Встреченные обозы яков, везущих в город дрова на зиму, быстро исчезают из глаз, вслед затем безлюдные склоны, каменные ущелья — знакомые картины нетронутой горной страны — обступают нас со всех сторон. Шофер и владелец машины решают ехать кратчайшей дорогой через Дзагыстай-Дабан, которая уходит в мокрую балку со множеством скал и горами валунов. Автомобиль гнет на них, кидает из стороны в сторону, перегибает, трясет, словно в судорогах. Больно смотреть на него, до краев загруженного багажом, терпеливо взбирающегося все выше и выше через скользкие камни и плиты, через грязь, топкие лужайки и воду. Кажется, должны бы лопнуть рессоры, порваться покрывки камер, темную резину которых яростно гложут острые зубья камней. Но нет — автомобиль выходит из ущелья невредимым и весело рокошет, выбравшись на подъем к перевалу.

Подъем высок и тянется влажными лугами, перебегая с косогора на косогор. Луга покрыты снегом; темными полями раскинулись по нему чащи низкорослых ивков, еле видны округлые осоковые кочки. Правее, у гребня, к багрово рдеющему закатному небу тянутся искривленные, изогнутые тела и черные ветви лиственниц, заломленные, как горестные руки. Хвоя уже осыпалась, и уродливые очертания стволов, поломанных, истерзанных холодными ветрами, скосившихся на одну сторону, местами бессильно припавших к земле, рисуются на тусклой сини снега и тлеющем багрянце неба во всей своей неприглядной наготе. Безжизненно и тихо.

Одинокая пустельга, круто свесив голову и трепеща крыльями, остановилась в воздухе, высматривая среди кочек полевку

Брандта; черные вороны молча летят на ночевку. Снег, запорошивший и сгладивший все неровности, лишь кое-где отмечен следами. Днем кормились здесь зверсманновы суслики (они поздно ложатся в спячку), и следы их, так похожие на белчихи, тянутся от норы к норе. Даурские сенокосы крупными пугливыми прыжками перебегают дорогу; они и сейчас попискивают где-то, испуганные гудком машины: шофер вызывает на помощь пассажиров, успешных уйти вперед. Черная, жирная, незамерзшая еще почва легко продавливается, машина скользит на косогорах; ее «заносит», колеса буксуют на снегу. Мы пробуем помочь делу, подталкивая автомобиль сзади, подкладываем камни под рабочие колеса, расчищаем впереди снег, срываем верхний неплотный слой земли — все мало улучшает положение. Подъем приходится брать шаг за шагом, до конца напрягая силы машины и людей. Комья снега, желтого от примеси грязи и сока увядших трав, летят нам в лицо, мотор взывает, беснуется, гудит, дюйм за дюймом отвоевая пространство.

Однако самое трудное место впереди — небольшой и крутой взлобок. Здесь шофер предлагает разостлать вдоль дороги брезенты и промасленные клеенки, которыми был укрыт багаж. Ткани, вмятые в снег и в грязь, дымятся под натиском колес, машина вздрагивает, стонет, но упрямо ползет вперед. Лязганье лопаты о камни, гул мотора, дружные крики людей сливаются в один звук напряжения и усилий. Он совсем одинок среди тишины и покоя хмуро темнеющих гор. Низкие зимние облака стали уже сумрачно синими, и полоска заката слабым желтым лучом догорела за гребнями, а мы только что выбрались к пологой части подъема. Вскоре вовсе стемнело; мы зажигаем свет: яркая, нежно-оранжевая дорога бежит и скачет по склонам впереди машины. Следы яков, все ямки и рытвины загорают на ней светлым розовым жемчугом, из сумрака выплывают глыбы камня, похожие на спящих медведей. Косо вверх по изрезанному скату, мягко прыгая на податливых кочках, ближе и ближе к перевалу несет острый луч света. На камнях черного незамерзшего ручейка мы спугиваем рогатого жаворонка, и он кружится в огне фонарей, растерянный и сонный, чтобы через мгновение затеряться в окружающей полумгле.

Вскоре за ручейком дорога раздваивается. Мы сворачиваем влево и тотчас основательно увязаем в болоте. Здесь приходится ночевать. Расчищается снег, ставится палатка, ярко пылает костер из только что найденного обрубка лиственницы. Вскоре лагерь спит, как окрестные склоны.

\* \*  
\*

Наутро мороз градусов восемь; одеяла и бурки в инее, сапоги замерзли, как каменные. Небо ясное, чистое, прозрачно-зеленое на востоке. Ярко искрятся снега, легкий ветер стелет поземку на

гребне. На камнях близ палатки сидит пара коршунов. Я впервые вижу их среди снежного пейзажа; они нахохлены и пышны, как совы. Тишина — снежная, искристая. Кажется, здесь, в высокогорьях, уже наступила зима, а ведь всего только 23 сентября, по нашим местам — бабье лето.

Таскаем обледенелые камни, работаем домкратами, наконец, выводим машину на дорогу. Вскоре она уже у высшей точки перевала, рядом с большим обо. Отсюда на все стороны видны снежные волны гор, целое горное море. Мы на одной из точек великого водораздела. Те лощины и русла, которые из-под наших ног спускаются по северному склону, уносят воду к бассейну Енисея и Ледовитому океану, тогда как идущие на юг собирают влагу для рек, теряющихся в дальних соленых озерах Центральной Монголии. Мы бросаем последний взгляд назад, на страну, которая многим из нас успела полюбиться, и через минуту ее сказочные дали скрываются из пределов видимости. Кто знает, придется ли еще раз их увидеть; все мы, кажется, чувствуем, что перелистывается законченная страница.

Спуск с дабана ведет в глубокую бесснежную долину. По ущельям справа и слева от нас видны рощицы лиственниц, которые не только не осыпались, но даже и не пожелтели. Их нетронутая осенью хвоя, их стволы, прямые и стройные, правильно развитая крона — все показатели того, что здесь уголок со своим особенным, мягким климатом, одним из разнообразных климатов, какими обладают в разных своих частях одни и те же горы.

Притихший на спуске автомобиль перебегает с одного склона на другой почти без дороги, прямо по зелени и мелкому щебню. Плиты и камни кое-где стесняют путь; в одном таком месте раздается резкий крякающий звук: острый выступ скалы срезал угол коллекционного ящика, стоявшего на подножке. Вскоре дорога становится еще трудней, так как выходит к речке, где появляются болотистые участки, и, наконец, приводит нас к тупику. Слева — крутой склон горы, справа — река, а проход между ними загорожен нависшей скалой. Решаем переправляться через реку; делаем насыпи из камней для спуска в воду и подъема, дважды застреваем в грязи, и едва из нее вылезаем, как снова нужно переезжать через поток. Опять камни, домкраты, песок, брезенты — наконец, пройдено и это препятствие: впереди — широкий простор степных долин, к которому машина рвется с победным гулом, дальше и дальше от памятного перевала, на котором она была первой и, вероятно, последней. Потом вдалеке при слиянии двух долин показываются юрты большого аила. Пожилой монгол в новом праздничном костюме скачет нам навстречу, кричит, что узнал о наших затруднениях и спешил нам на помощь. Это Сэвэтэт, богатый хозяин, заведующий местной кооперативной палаткой. Мы едем вместе с его начальником и получаем приглашение на обед.

Аил имеет праздничный вид. Нарядные монголы окружают автомобиль, другие ловят сорвавшихся с привязи коней. В боль-

шой белой юрте трое морщинистых сухих лам, сидя налево от божницы, заваленной яствами, подносимыми богам, совершают какую-то службу. Четвертый, сидя в стороне, по-видимому, управляет их действиями. Они смотрят в растрепанные листки с письмами, лежащие на коленях у среднего, который бьет в медные тарелки; крайний правый изогнутой рукояткой ударяет в подвешенный бубен, левый потрясает колокольчиком. Их бормотание и фальшивое гнусавое пение время от времени сменяются звоном и гулом этой музыки. Мы успеваем пообедать и тронуться в путь, а торжественная служба еще не окончена.

Вдоль сверкающих излучин реки Идэра до позднего вечера машина несет нас на северо-восток, пока плотная почва степи не сменяется песками. Здесь, повернув для ночлега к мелькнувшему вдали озерку, автомобиль вдруг увязает в глубоком сухом песке. Приходится снимать груз, расстилать брезенты и снова нагружать машину, выведенную на плотный грунт. Уже в полной темноте мы собираем аргал для костра. Я иду за водой, и освещенная палатка, служащая мне маяком, кажется издали прозрачной и легкой, как светлый клуб дыма. Потом она гаснет, полы ее запахиваются, потухает свет автомобильных фонарей, словно утомленная машина сонно закрывает глаза. Пассажиры тоже засыпают, не думая о том, что вчера они ночевали на снегу, сегодня на теплом песке, не задаваясь мыслью, где придется приклонить голову завтра.

\* \* \*

Вчера у палатки были коршуны, сегодня нашего пробуждения — вернее, окончания нашего завтрака — дожидается стая черных ворон. Среди них я вижу одну с сероватым брюшком и спиной. Это помесь между нашей серой вороной и сибирской черной. Там, где два вида ворон соприкасаются в своем распространении, помеси (гибриды) между ними — явление весьма обычное. Любопытно, что при этом серый вид поглощается черным, так как признаки последнего у смешанного потомства преобладают.

Утро холодное, серое. Мглистые дали затянуты косыми завесами дождя; к ним на северо-восток уходит речная долина и лежит наш путь, отмеченный нитью следов недавно прошедшего автомобиля. После вчерашних неудачных поисков лучшей дороги мы строго держимся теперь этих двух светлых полосок и, потеряв их где-нибудь в зарослях, долго кружимся на одном месте, как охотник, запутавшийся среди заячьих петель. По уснувшим желтым степям стелется за автомобилем длинный пыльный шлейф; на щебнистых площадках в нем кружатся стаи рогатых жаворонков. Они спустились в долины на зимовку и кочуют по щетинистым пастбищам рядом с полевыми жаворонками и одиночными коньками Ричарда. Гуси волнистой вереницей тянут с севера; на озерах, прозрачных и синих по-осеннему, темнеют утиные табуны.

Все тронулись к югу, а мы держим на север, навстречу снеговым облакам.

Идэр становится извилистей, просторней и шире; он уже принял немало притоков. Среди тусклых, омертвелых степей его четкие излучины блестят, как подковы, лежащие в дорожной пыли. Дальние горы, как толпы дымных юрт, как синие шатры и майханы, обступают обширные пастбища в целый добрый русский уезд. На пастбищах — песчинки юрт и овечьи стада, белые, мелкие, как мучнистый налет на желтой степной скатерти. Мелькают стада яков, испуганные кони клубят пыль и моют ветром нечесанные гривы, а машина гудит и поет спокойно, довольно и ровно, как пчела, уносящая богатый взятки. Да и чем не пчела? На подножках, как на лапках, вместо золотой цветочной пыльцы — желтые ящики коллекций, собранных по лугам, степям и долинам. Все они будут в большом улье — в Зоологическом музее Академии наук. Пчела летит и мерным пением крыльев тревожит стада все новых и новых пастбищ. Наконец приходит время расстаться с долиной Идэра: река поворачивает к востоку; мы начинаем подъем к перевалу через новый водораздел.

Здесь по склону летом были, должно быть, чудесные травы, но, не зная косы и косилки, выросли, перезрели и высохли. Желты теперь пряди злаков, рыжеватыми гривами клонится полынь. Не люди, а одни только звери заготовили здесь сено: как на волжских лугах в сенокос, тут и там перед норами даурских пищух темнеют небольшие стожки и копенки. Сухая полынь и злаки сложены в плотные кучки до полуметра шириной у основания...

Где-то здесь на подъеме мы теряем автомобильный след, затоптанный проходившими стадами, и когда, после долгих поисков, попадаем на правильный путь, из-за перевала сползает туча, и снежная крупа начинает лететь с сухим шелестом. Сразу темнеет; острые снежинки, холодный ветер резко бьют нам в лицо. Еле видные склоны седеют, сиротливо гнутся по ветру головы засохших былинки. Дорога извилиста и неровна; в белой мгле и мути снегопада нас кидает и подбрасывает во все стороны; мы едва не налетаем на обо, с которого, подхваченные порывом ветра, вкось уносятся два канюка. Снег становится гуще; он уже запылил машину; утомленная непосильной борьбой щеточка автомата



Даурская сеноставка на стожке сена

все слабей и медленней скользит по стеклу, еле расчищая на нем поле перед глазами шофера. Ветер бросает колючками, осыпает морозными стрелами; стынут ноги, немеет щека, некуда спрятать лицо и ружье, от которого иззябли руки. В белом, слепящем, крутящемся, несущемся время от времени справа или слева сумраке показываются смутные тени покосившихся голых листовенниц, высокие сизые скалы, и опять пропадают, едва налетит новый вихрь, новая белая стая. Машина идет тяжело, снег глубок, а под ним луговая предательская почва. В довершение бед дорога раздваивается, и мы не можем решить, по какой же ехать.

Тут из мути и мглы вдруг выныривает что-то небольшое и черное. Это лохматый монгольский пес; он, робея, идет нам навстречу, останавливается и, слегка взвыв, пускается вскачь обратно. Нам еле видно дорогу; собака же знает ее хорошо. Утопая в снегу, замирая от ужаса, пес ведет нас по верному пути. Машина смелеет и прибавляет ход, а собака устала; она еле скачет, ее ноги заплетаются, и следы стали запутанными. Наконец она бросается в сторону и валится в снег. В то же мгновение перед нами показывается смутный контур юрты. Пес привел нас к своим хозяевам.

Войлочная пола двери откидывается, и растрепанная голова смотрит на машину, жмуря глаза от густо лепящего снега. Потом она исчезает, и навстречу выскакивает монгол, на ходу надевая полусубок. На жирные черные пряди волос густо липнут снежинки, непокрытая голова разом от них седеет, а он кричит нам радостно и приветливо: «Сайн, сайн байна». Здоровается с каждым подходящим, а с меня так усердно сбивает снег, что гайтан с иконкой и кожаным талисманом подпрыгивает от его голой груди до поеденного оспой носа и губ, растянутых в радушной улыбке. Кажется, не прошло еще и минуты, а хозяйка уже приносит дров, и дым начинает валить столбом в верхний широкий продух, над которым густо мелькают снежинки. В юрте темно; ее войлочные стены, термэ — нижний решетчатый остов, стрелы, идущие к верхнему обручу, — харачи — все черно от дыма и копоти. Против дверей, как везде, божница, грубовато раскрашенный, потертый при перекочевках ящик; на нем статуэтки бурханов и иконы, писанные красками на дабе; перед ними медные чашечки — цокто — с приношениями: водой, маслом, сыром и творогом. Правее божницы — войлочные тюфяки постели без одеял; у постели в ногах этажерка с деревянной посудой — низкими китайскими чашечками, кувшинами-домбами, широким плоским блюдом и корытом для мяса, ковшом с длинной ручкой, прутяным



черпаком, метелочкой для вытирания котла и дощатой крышкой для него же; все это старое, темное, лоснящееся. Влево от двери на высокой деревянной подставке — кожаные мешки с маслом и другими молочными продуктами, какие-то ремни и веревки. Кое-где, вдоль по стенам расставлены высокие, узкие ящики с домашним скарбом. Наконец посредине самое главное — очаг: железный таган и на нем черный чугунный котел, который лижет пламя, разогревая для нас старый чай. Красные отсветы пляшут по стенам: то заиграют на рисунке тологой-полты, серебряной шапочки, шубным клеем приклеенной к волосам нашей хозяйки, то выхватят из темноты лица двух ребятишек с косичками, жмущихся к матери, или осветят третьего, грекущегося на полу под шубой, накинутой на голое тело.

Мы попали к бедняку: не видно камней и кораллов на подвесках и головном уборе хозяйки, скудно угощение, которое она нам может предложить. Тогда из машины появляется ящик с нашими припасами, где китайское печенье лежит рядом с «урюмом» — сладкими, поджаренными в виде блина сливками, и японский сахар по соседству с русским белым хлебом и бутылкой влаги монгольского винного завода в Алтан-Булаке. Первую чашку водки подносят хозяину. Он глотает с отчаянной решимостью, крикает, жмурится, трясет головой и размазывает по щекам слезы. Потом чашка переходит к его жене. Та со счастливым видом окунает в нее губы и передает ребятишкам, остатки ставятся на хозяйственную этажерку справа.

Вскоре в юрту приходит вся запорошенная снегом старуха, за которой, должно быть, посылали. Трудно сказать, чего больше — морщин на ее лице или дыр и грязи на ее халате, окраски совершенно не определимой. Но она, видимо, помнит лучшие времена, держится непринужденно и весело, как и вся семья нашего хозяина. Чашка с этажерки переходит в ее руки. Монголка пьет большими глотками, кашляя, смеясь и жмурясь, отчего морщины пестрят на лице, как ветряные бороздки на желтом песке дюн. Вскоре (мне думается, из вежливости) она делает вид, что пьянеет, и начинает петь. Голос чистый и свежий, странно сохранившийся у такого дряхлого на вид человека. Она импровизирует: споет куплет, задумается, покачает головой, хлебнет водки, рассмеется и снова запоет. Спутник наш немедленно переводит на русский; мы все слушаем, одобрительно кивая головой.

Жили мы на маленькой речке,  
когда к нам приехали добрые люди.  
Раньше жили мы вместе со стариком,  
а теперь его больше нет.  
Но приехали хорошие люди и для знакомства  
угощают белым хлебом.  
Конь плохой, дорога плохая —  
трудно доехать до мест, где есть девушки.

Последнее относится ко мне, самому младшему: старуха кивает на меня пустой чашкой, хозяин хлопает по плечу, все заливаются добродушнейшим смехом. Мне кажется, что надо мной смеются даже золотистые глаза черномордого пса, наполовину залезшего в юрту, того самого, которого мы напугали. Белые звездочки снега пестреют на густом меху его широкого лба. В дверную щель, оставленную собакой, я вижу, что подъезжают какие-то всадники. К греющемуся у очага собираю присоединяются еще два вновь прибывших монгола. Они закуривают трубки, и среди их разговора с хозяином я слышу то и дело мелькающее «хулугоно, хулугоно», что значит *мышь* — слово, одинаково для меня привлекательное, на каком бы языке оно ни звучало. Оказывается, монголы возвращаются с промысла, на котором добывали «мыхэр» (или «мякыр», по другому произношению) — корни, собранные про запас в магазинах экономной полевки Брандта. Стуча палкой, монгол легко находит по звуку те пустоты, где на небольшой глубине сложены под землей мелкие куски корней *Polygonum viviparum* — «живородящий гречиш». В каждой норе бывает около трех шапок (килограммов до десяти) мыхэра, аккуратно рассортированного по пещерообразным камерам. Запасы, отобранные у полевок, долго варят, чтобы размягчить волосовидные корешки, которыми усажен толстый корень, потом моют в холодной воде, протирают и готовят в молоке. Как говорит Потанин\*, это кушанье похоже на кукурузу и горошек (другие сравнивают его с каштанами и картофелем). К мясному супу мыхэр употребляется как кислая приправа. С половины сентября в северной части страны редкая монгольская семья не занимается этим промыслом, заготавливая в сушеном виде до двадцати пяти — тридцати килограммов корней.

Три больших кожаных мешка свежего мыхэра оказались и у приютившего нас монгола. Сырые корешки имели вкус лесного ореха и слабый запах роз.

Тем временем клочок неба в дымовом отверстии посветлел, реже стали мелькать снежинки, ветер притих. Мы собрались продолжать путь. Не было ничего, кроме снежной шелково шелестящей мглы, когда мы подъезжали к юрте; теперь же, выйдя на волю, стоило окинуть взглядом чудесно открывшуюся картину. Разорванные облака толпились над еле отмеченным синеватой чертой горизонтом, под ними, окруженная белыми хребтами, легла ослепительная снежная равнина с темными группами дымящихся юрт, со стадами яков, опутавших голубой сетью следов мягкие округлые сугробы. Гурты овец казались на зимнем ковре весенними грязно-желтыми проталинами; лиственничные рощи по сиверам — янтарными и тускло-золотыми с чернью.

Впереди нас скачет во весь опор провожатый; его волосы, не заплетенные в косу, свободно вьются по ветру, и, когда он оборачивается, чтобы указать нагайкой дорогу, орлиный нос, тяжелый подбородок и бронзовый цвет лица живо напоминают мне портреты североамериканских краснокожих вождей. Недостает



только орлиных перьев в головном уборе, иначе монгол стал бы ожившим всадником романов Майн Рида. Да и в самом деле, сходство это не только внешнее: Центральная Азия была родиной многих племен и народов; предки индейцев Северной Америки также вышли когда-то отсюда.

Мы не успеваем проехать и трех-четырёх миль, как уже снова начинают лететь снежинки, поднимается ветер, над равниной несется поземка; солнце, тусклое и оранжевое, опускается в голубую, быстро растущую тучу. Нужно искать место для ночлега. Машина поворачивает к ближайшему аилу. Стада яков и кони гонятся за ней, вздымая облака искристой морозной пыли. Мы въезжаем в узкое пространство между юртой и стадом овец, загнанных в тесную загородку. Овцы жмутся одна к другой, крайние стараются забраться в середину: им холодно, а мороз крепчает, ветер мчит над белым полем искристые снежные струи.



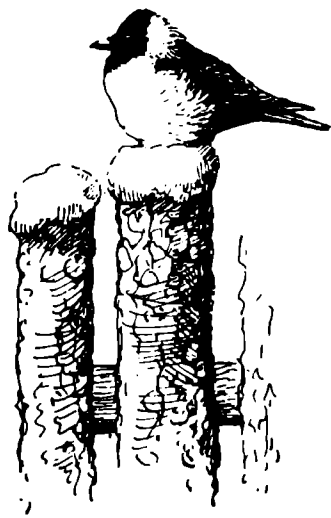
\* \*  
\*

Четвертый день обещает быть более трудным, чем предшествующие: даже в юрте под утро стало холодно настолько, что все мы один за другим просыпаемся. За ее войлочной стеной был мороз более восемнадцати градусов.

На ясное, прозрачное небо выходит солнце в морозном сиянии; равнина розовеет и искрится, сверкает ожерельями бесчисленных следов. Над столпившимися, неподвижными, ярко освещенными стадами густо клубится пар, розовые пряди дыма тянутся прямо вверх, высоко, в ледяную синеву неба. Юрты бело запушены снегом, и румяные монголки в шубах с пуфами на плечах и в высоких зимних шапках очищают его длинными скребками. Скрипя гутулами и перекликаясь, бегут ребятишки с водой от ближайшего ручья.

Все кутаются кто во что может. Я до самого подбородка залезаю в спальный мешок. Морозная пыль дымится за нами, а два глубоких синих с белой оторочкой следа бегут к перевалу Цоготый-даба, вьются по равнине, огибают листовничные рощи, наконец, спускаются к реке Тес. Она еще не замерзла; над ней стынет белый тяжелый пар. На темной, неприветливой воде плавают красные утки, у берега бегают запоздалый песочник Темминка и белая трясогузка. Птицы нахохлились, но ищут корм оживленно и бодро: в осенних странствованиях им приходится встречать и худшие беды.

Монголы указывают место переправы. Вспенивая воду, отбрасывая широкий вал, автомобиль переносится на противоположный берег, потом через перевал к пологому спуску, где уже мельче снег



Даурская галка

и виднеется хорошая дорога. Далеко внизу и правее показывается свинцовая поверхность круглого угрюмого озера Тунимыл-Нур, зажатого в мертвенно белые стены берегов. Никто не жалеет, что оно останется в стороне.

Через полчаса мы пересекаем дно обсохшего плоского озера; через час, взяв несколько подъемов и спусков, подъезжаем к монастырю Джанханцы-Хурэ и, наскоро пообедав, трогаемся дальше. Опять перевалы, луга и степные долины, теперь уже бесснежные и теплые: клубящаяся пыль, взлетающие жаворонки и медные отсветы заката на безжизненных склонах гор.

Незадолго до сумерек — мы у последнего, самого трудного перевала Куку-тыль. Подъем легок, но

зато спуск необычайно крут и дает сложный изгиб над ущельем. Шофер подходит к обрыву и, вытянув шею, как-то по-птичьи заглядывает вниз на торчащие ржавые ребра камней и острые вершины лиственниц, угрожающе настороживших рогатины сучьев. Он говорит «брррр» и отказывается спускаться на машине, если с нее не будет снят груз.

Опять перекладываем несколько десятков пудов багажа и до глубокой ночи спускаем их по мелким партиям на лошадях случайно повстречавшихся монголов. Автомобиль сползает вниз, как говорит шофер, «на четвереньках», поддерживаемый сзади за веревки, потом отправляется в темноту долины за водой для ужина. Бледный палец прожектора долго бродит по всем направлениям, ощупывая незнакомые склоны. Он находит там только скалы и рытвины и поворачивает обратно к яркому костру из лиственничного хвороста. Это, кажется, первый не скупой и жаркий костер, который мы жжем в Монголии. Здесь уже не нужно собирать аргала: дров много, большие леса сплошь одевают северные покатости гор. Они отвоевали их у степи; ее царству приходит конец. Еще сотню километров к северу — и сплошная тайга зашумит над нами вершинами.

\* \* \*

Еще вчера вечером река Мурин-Гол несколько раз блеснула в глубокой тени долины, заполненной прозрачным дымом испарений. Утром мы спускаемся к берегу и долго следуем вдоль реки, бегущей, как в аллее из высоких тополей, старых ив и вязов. Горы

спускаются сюда уступами; местами над водой висят серые источенные скалы, в трещинах которых ползут корни повисших деревьев, изогнутые и пятнистые, как тела удавов, греющихся на робком солнце.

В долине тепло, листва еще не осыпалась, не дощели цветы, и веселые птички стаи кочуют по солнечной стороне опушек. Леса уже не из одной только лиственницы: зарумянившиеся осинники встречают знакомым шорохом листьев, на поляне мелькает что-то белое, вроде березовых стволов.

Через пологий перевал, в ворота между двумя лесными массивами сбегает в низкую долину, где из-за холма вдруг показывается небольшой монастырек — Зукзуйский дугун; потом просторной ковыльной степью снова подходим к реке и, проплывав в поисках брода, находим под вечер проводника, на этот раз русского из сибиряков-переселенцев. Переправа через широкий, полноводный Мурын-Гол — последнее препятствие на этом перегоне. В сумерки, уже преодолев его и выйдя на степь, машина дает самую большую скорость. Режет встречный ночной ветер, в свете прожектора вспыхивают на мгновение камни, пучки смятых бурьянов; белое знамя тушканчика мелькает впереди, как огонек, пока зверек не скрывается в придорожные заросли. Все уже дремлет, уставши за день, и поднимают головы, только заслышав впереди лай собак.

Мы в широких воротах большой заимки, где монгольское ветеринарное управление организует образцовую ферму. Русские плотники строят дома и службы, на дворе всюду щепы, стружки, сладко пахнущие свежим лесом, крепкой лесной домовитостью.

Нам отводят новенький, только что отстроенный домик, и впервые за истекшие месяцы деревянная кровля и бревенчатые стены отделяют нас от привычной, низко склоняющейся ночи. Мы просыпаемся с чувством, что сегодня наш последний «автомобильный день». Утром в соседней комнате хозяйка месила хлеба на дорогу уходящим плотникам; там же слышался тихий говор, и, должно быть, от русской речи, от потрескивания дров в широкой печи спалось сладко и подниматься было нелегко.

В последний раз начинает мотор свою быль о бензинном дыме в сладкой смеси с воздухом уснувших степей, о дорожных вереницах миль и ландшафтах, мелькающих быстрее страниц географического атласа. Дорога широка и ровна. С нами едет проводник, у машины вырастают крылья. Степь, пригорки, леса, по долинам — как костры, пылающие купы ирисов, взлеты жаворонков и трясогузок, изумленные крики джумбуранов... И опять степь, бурый контур орла на обломке телеграфного столба, ветряная звенящая музыка... Котловина с белокурой степью, с озером Эрхиль-Нур посредине. В сером шелке вод неподвижно повисли синие отражения ближних гор; табуны нырков и уток разбросаны здесь как буддийские четки, по сто одиннадцати штук; за ними серебряные нитки зыби, а все это в белой раме первого прибрежного льда. И нет уже озера, и выбежали на гребни леса, заняли

склоны пади, начинается таежная страна. За лесами на северо-западе холодно сверкнули снегами острые вершины Восточных Саян, и вот уже в долине между деревьями показалось лазоревое и синее, лазоревей, синей и чище, чем старинные мусульманские изразцы. Узкий залив цвета южного моря врезался между парчовыми склонами северных гор, у подножия которых рассыпались домики и виднеется фактория Сибгосторга — целый городок со складами, лабазами и пристанью. Пароходик стоит около берега, в белых шляпках возвращаются из школы ребяташки.

## ДО РУССКОЙ ГРАНИЦЫ И ПО ТУНКИНСКОМУ ТРАКТУ

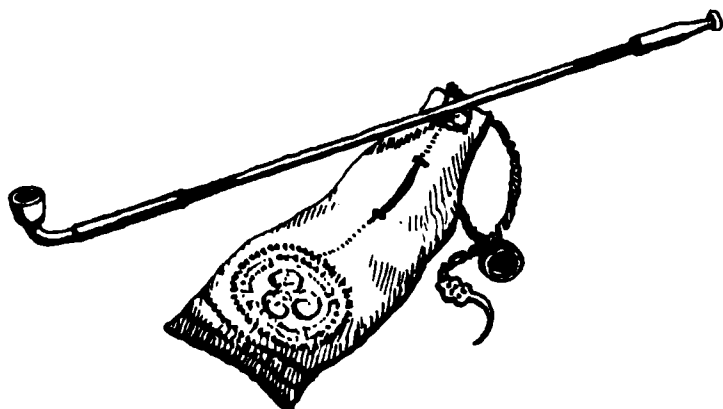
Рассказать остается немного.

Слабосильный, по частям привезенный из-за гор пароходик через ветреный синий Хубсугул доставляет нас от южного берега до пристани Ханга на северном. Дальше на тройках мы переходим границу, а потом от Монд, первого русского поселка, спускаемся вниз по ущелью над зеленым пенным Иркутом. По сторонам над нами хмурые хребты, ошетилившиеся таежными чащами, болотистые склоны и кручи, по которым, цепляясь за камни, путаясь в грудах бурелома, падая и поднимаясь, опираясь одно на другое, лезут к небу, к холодным гольцам обомшелые и темные деревья.

Второй день прыгают по корням и камням обледенелые колеса двуколок, тарыхтит обоз, фыркают кони, перекликаются возчики. Под вечер валит снег, и встречные запорошенные люди кажутся тоже лесными, обомшелыми. Вот рыжий бородатый заимщик, вросший в высокое седло, ищет жеребенка, которого угнали волки; вот едет учительница в дальнее село, хребтами и снегами отрезываемое на зиму от мира. Она тоже верхом, тоже с ружьем за плечами, и клетчатая городская ее кепка, надетая поверх платка, среди иссиня-темных кедровников светлеет необычным пятном. Встречается почтовая пара, потом промышленники с заводными конями, с припасом и собаками, отправившиеся за пушниной на белковые.

На третий день тайга редет; березовые перелески, листвяжники, большие гари заменяют глухую стену лесов; тут и там раздвигают ее клинья желтых полей. В Шимках за плетнями зеленеет капуста, по заиндевелой отаве бродят жеребята с телками, над гумнами стучат цепи, и от мелькающей лопаты плывет по ветру золотой, редущий дым половы. В Тунке мы садимся на тройки, в пыли и звоне колокольчиков уносимся за околицу.

Около первой деревни ящик круто останавливает лошадей и из сумки с харчами, волоком по жнивью привезенной двумя ребяташками, достает бутылку и немедля ее опустошает. «На, Варька, купишь себе карандаш», — говорит он младшей, отдавая порожнюю посудину. Выпивши, становится разговорчивей, рассказывает про лес, про бандитов, про землю и о том, как давно по



Тупкинскому краю «прокультурился» плуг. Поля здесь все по косо-горам, а сохой пахать можно только вверх и вниз, что тяжело для коней, с плугом же ходи, как хочешь. И от нового слова «прокультурился», оттого, что изумрудны озими, что дорога усыпана колосьями, высоки воза сена, снопов, конопли — оттого, что в Шимки едут на смену цепам и лопатам вереницы веялок и части молотилок, судьба русской Азии начинает рисоваться мне в розовом свете.

Колокольчики поют и заливаются, как шесть звонких синичьих горлышек, пристяжные веселей перебирают ногами, пыль клубится, и вот между гор, голубых, как весеннее небо, засинела равнина Байкала. Поезд стальной иглой прошивает вдали по тоннелям каменные складки гор и протягивает за собой белую нитку пара. Через полчаса от станции Култук он уносит нас к западу.

Теперь зима, снег идет густыми и мягкими хлопьями. За окном над Пречистенкой<sup>1</sup> второй день, опускаясь, кружатся их легкие стаи. Крикуны автобусы и такси, притихшие трамваи бегут с белыми засыпанными крышами, у прохожих белы шапки и воротники. В светлую примолкшую Москву я недавно вернулся из Ленинграда, где над шкурками, черепами и картами написал работу о монгольских зверях. Она получилась довольно объемистая, с сухим заголовком: «Млекопитающие Монголии по сборам экспедиции 1926 года». Латинские названия в перечнях форм, цитаты, столбцы цифр — это ведь далеко не все, что хотелось сказать про широкую, привольную страну. Я принимаюсь тогда за книжку о самой Монголии и о наших скитаниях. Кое-что извлекаю из книг, кое-что нахожу в дневниках — в толстом клеенчатом, вынимавшемся только на стоянках, и в маленьком зеленом, путе-

<sup>1</sup> Ныне улица Кропоткинская. (Прим. ред.).

шествовавшем в кармане. В них закладки — тушканчиковый хвост, перья индеек и полынные веточки из стожков сеноставок. Но трудно среди отрывистых карандашных строк отыскать и прочесть все то, что хотелось бы. До Монголии теперь — тысячи километров, и снова я вижу ее лишь на картах.

Привезенные шкурки птиц и зверей чинно лежат в лакированных сундуках и шкафах музея. По родам и видам расположены они в отдельных коробках на вате, посыпанной нафталином. И когда, уезжая, я бросаю на них последний взгляд, мне уже трудно верится, что где-то на далеких плоскогорьях живут и дышат их родичи. Сеноставки добывают из кладовок пересохшие клочья ароматного сена, греются на солнце по утрам и поют по-птичьи; пасутся куланы, горные полевки молча роют голубые подснежные ходы. И уже трудно представить, как толпятся по долинам яки и гурты овец, как вьется над ними стынувший морозный пар, как рядом в юрте близ очага Дорджи от нечего делать закуривает сорок шестую трубку.



# От Мурманана до Каспия



(из черновиков  
ко II части  
„Записок  
натуралиста“)

## 1. В ДАГЕСТАНЕ

Кондуктор разбудил нас ночью. Рассвет еле брезжил, когда из душного прокуренного вагона мы соскочили на хрустящую насыпь полотна у маленькой станции Билиджи. Свежий ночной воздух «ударил в голову», как вино, разом выветрив вялую вагонную сонливость. Тревожное и сладкое предчувствие новых приключений и интересных встреч начинающегося путешествия наполнило бодростью и, быть может, не совсем основательной уверенностью в себе. Я жадно вдыхал чистые запахи южного леса, могучей, разнообразной растительности, одевшей побережье Каспия и всю низменность дельты реки Самур до сожженных солнцем предгорий. Огромные дубы, ясени, ивы, опутанные лианами и ломоносом, густые росистые тростники, все зеленые, свежие чащи спали по сторонам полотна, как темные груды. Летучие мыши цыкали над вершинами: одна из них долго ловила бабочку, кружась в освещенном салоне вокзала, откуда через раскрытые двери доносилось ровное похрапывание прикорнувшего здесь человека. Медленно угасала луна. За лесами и теплым Каспием нарождалась утренняя заря. Заспанный, желтый от лихорадки лезгин протаялся с лестницей. Фонари гасли один за другим там, где появлялась его сутулая фигура. Затихли ночные голоса совок-плюшек и летучих мышей, громче защелкали десятки соловьев. Солнце, как оранжевый абрикос, выкатилось над зелеными круглыми куполами дубов, и роса на кустах засверкала тысячею искр. Голубая сизоворонка вылетела из дупла и села на провода над дорогой; защелкали ласточки. С лязгом, дымом и грохотом промчался почтовый поезд из Баку — и снова птичий щебет, влажный шелест леса окружили заброшенную станцию Билиджи.

И вот огромный фургон с четверкой лошадей забирает нас вместе с другими пассажирами. Мы отправляемся на запад по

большой дороге, уходящей по долине Самура далеко в глубину гор и Самурского округа Дагестана. Лиановые леса, пересеченные полянами и тропами кабанов, быстро редеют после переезда каменной мелководной речки Гюльгерычай. Потоптанные кабанами участки кукурузы и пшеницы, арыки, на берегах которых черепахи лежат так густо, как булыжники на мостовой, густые заросли колючего держидерева — притоны шакалов, фазанов и диких кошек — все это остается позади. Скрипит и покряхтывает на камнях наша колымага, весело тараторят и смеются лезгины, тесно набившиеся в фургон. Сквозь шумы передвижения я слышу то песни черноголовых овсянок, то громкие крики зеленых дятлов. Потом голоса леса сменяются безмолвием сухих каменных склонов предгорий. Три часа назад все было зелено, ярко, богато, цветисто. Здесь — серая глина и щебень, едва прикрыты жалкими высохшими травами, низкими колючими кустарниками с бедной запыленной листвой. Это — горная полупустыня. В ауле Куруш, куда мы приехали из Билиджи, я провел за сбором коллекций несколько дней. Потом вместе с препаратором мы двинулись дальше — в высокогорье. В руках у нас была записка: «Дорогой брат Джуморт! Первым долгом шлю поклон. Во-вторых, дорогой брат Джуморт, этим товарищам, что нужно — дай, а также поезжай с ними на охоту. И обратно дай им лошадей до селения Куруш. Секретарь Давид Эфендиев».

Мы направлялись к кутанам — летним стойбищам пастухов, чтобы оттуда пробраться к ущельям, где, как говорили, было много туров. Туда нас доставят лошади попутчиков, вернуться обратно поможет Джуморт, пасущий свои стада на склонах Шахдага.

Лошадей привели в пять утра. Они были без седел, просто с попонками, рваными паласами и парами переметных сум-хуржунов, кое-как подтянутых вязаными шерстяными подпругами. Ездить без седла и поводьев мне никогда не приходилось. Но делать нечего — нужно испытать и этот способ передвижения. Моя

коняка испуганно метнулась, когда я накладывал свою бурку, и каждый раз тревожно прыдала ушами, стоило мне махнуть рукой или шевельнуть ружьем. Все это обещало мало удобств в пути, и, действительно, на крутых склонах приходилось туго. Без седла и стремян первое время я съезжал коню на холку и должен был цепляться за попонку сзади, чтобы не свалиться через голову к его ногам.

Мы тронулись по узким закоулкам аула, между высоких каменных стен, по щебнистым





тропам и бежавшим по ним грязным ручейкам. Знакомые чумазые ребяташки, стайками собравшись на плоских крышах, встретили меня разноголосым криком: «Цимил-кьиф-абас». Это мое новое прозвище. Я получил его в Куруше, собирая горных зверьков. В переводе на русский это звучит довольно громоздко: «водяная крыса — двугривенный». Я давал ребяташкам по серебряной монете за каждого принесенного зверька, но особенно жадно скупал горных водяных крыс, которые, как мне казалось, имели свои особенности и были местным, еще не описанным подвигом\*. «Цимил-кьиф-абас, цимил-кьиф-абас», — заливаясь смехом, кричали черноглазые девчонки, присев на корточках и свесив над улицей длинные косы, увешанные монетками. «Цимил-кьиф-абас», — еле выговаривает, вторя старшим, маленький карапуз в огромной бараньей шапке, спустившейся чуть не до подбородка, в коротенькой рубашонке, прикрывающей живот как раз до пупка. «Вот я вас, — кричу я, подъезжая поближе к крыше, — дайте-ка мне этого голопузого!..» И я протягиваю руки к владельцу отцовской папахи. Он визжит и, сверкая голым задом, убегает вместе со всеми подальше от опасного края крыши. Кто его знает, этого «Цимил-кьиф-абаса», может он и в самом деле поймает, выпотрошит и набьет ватой, как водяную крысу?



Я очень дорожил своими знакомствами среди детей. Десятки острых глаз и проворных рук помогали мне, собирая то, что я часто не мог найти сам. Ребята приносили землероек и серых хомячков, завернув их в мягкие зеленые лопухи, чтобы не пачкать рук об «нечистых животных», молодых горных жаворонков, а однажды доставили живьем даже ласку. Как-то утром загорелый, быстроногий пастушонок вытряхнул из окровавленной кожаной сумки старого тяжелого барсука. Грудь его была наискось рассечена широким лезгинским кинжалом. Пастушонок долго и восторженно рассказывал мне что-то, махал рукой вверх к голубым снегам Шалбуздага. Но я понял только, что зверя задержали собаки, а старший брат пастуха пустил в ход оружие, которым так ловко владеют все горцы. В аварских, лезгинских, даргинских, кумыкских аулах ребята часто относились к нам лучше, чем взрослые. Я помню, как старые аварки, сморщенные до черноты, долго плевали в сторону, проходя мимо меня, занятого сниманием шкур с мышей и птичек в тени у сагли, и сердито отворачивались. Помню и аварских детишек, которые, увидев, как аккуратно я складываю маленькие ободранные тушки птичек и зверьков (чтобы вскрыть их потом и определить пол), решили, что приезжий «урус» страдает от недостатка мяса. Они появились вдруг с длинным куском вяленой баранины и бережно положили ее в дорожную пыль у моих ног.

Крутой тропой спустились к реке, проехали мимо маленькой мельницы и перебрались вброд через другую речонку. На пологом подъеме нас догнала целая кавалькада лезгинских ребятишек. Они едут по два и по три на одной лошади. Сидят и спиной вперед, и боком, свеся ноги в остроносых чувяках на одну сторону. С гиканьем и визгом головорезы пускают лошадей в карьер...

В высокогорье мы спешили. Чем дальше, тем круче подъем; я и мой спутник препаратор Федулов\* понемногу начали сдавать. А проводник шагает впереди вьючной лошади привычной неутомимой походкой человека, рожденного в горах, и даже не оглядывается на нас. Каждый шаг дается нам с трудом — в ногах словно свинцовые гири. В висках и темени тупая боль, сердце бьется учащенно, дышать тяжело — воздуха не хватает.

А дорога все вверх и вверх. По зеленому лугу крутого склона тонкой желтоватой полоской пишет она свои узоры, то теряясь среди скал и камней, то снова выбегая на травянистые откосы. Там и сям, вверху над нами и далеко внизу — за ущельем и речкой — рассыпаны на лужайках стада, как мелкая белая крупа. Крошечные фигурки пастухов ползают по кручам или, сидя на камнях, следят за медленным движением коз и овец. Густая синева горного воздуха заполняет глубокий провал между гор, смягчая все краски, а там, на темном дне, катится к морю пенная лента Самура. Вершины, гребни, крутые скаты, прозрачные волны дальних гор — рельеф беспокойной поверхности Дагестана — лежат под нами, как голубой персидский ковер. Все, что осталось внизу, уже кажется глубокой тенью; солнце освещает только вершины, вскоре и наш склон начинают окутывать сумерки.

\* \* \*



Просыпаюсь поздно и долго не могу понять, где я. В потолке над головой круглое отверстие. Через него видны край плоского камня, отодвинутого, чтобы осветить саклю, синее небо и близкая гряда быстро проносящихся облаков. Яркий столб света упирается в глиняный пол, укрытый потертыми паласами. В дверную шель тоже пробивается свет, но уже не столбом, а тонкой золотистой ниткой. Кто-то бежит вверх, потолок дрожит, с него сыплются кусочки глины и стучат по моему полушубку. Глаза постепенно привыкают к полумраку, и я начинаю

различать толстый самовар в темном углу и кучку нашего багажа, наспех брошенного вчера вечером. И вдруг взрыв красок и света: Федулов с улицы открывает дверь — за ней возникают ущелье, налитое прозрачной синевой, лиловая острая вершина Базардага со сверкающими пятнами и полосами снега.

Часть вещей оставили в кутане и тронулись на охоту. Прямо под нами высились ржавые и желтые скалистые зубцы: старые, острые позвонки «согбенного» хребта Шахдаг. Они рассечены тропинками, изрыты бороздами и пещерами, сочатся ручейками и водопадами. Вверху во впадинах среди зубцов белеет снег, ниже все склоны усыпаны «стадами» крупных и мелких скал. Под этими осыпями начинаются лужайки, сбегающие вниз к кутану зеленым бархатистым ковром. Где-то там, на гребне Шахдага, по словам приютившей нас старухи, много туров и есть горные индейки. Но это склон южный, а я из опыта знаю, что летом на северной теневой стороне фауна бывает богаче. Высматриваем в бинокль узкую тропинку, спускающуюся по сланцевой северной осыпи одного из отрогов Базардага, и направляемся к ней, считая, что ее проложили туры. Переходим речку Арычакаш и поворачиваем вправо — в ущелье ручья Ятухдере.

На карте это место обозначено как урочище Шахдюзи. Оказалось, что оно изобилует кутанами, а тропинка, замеченная нами издали, проложена домашними стадами. Луга в долине слишком выбиты, и стада забираются высоко, к самым горным снегам. С крутого склона овцы спускались сейчас вниз, на ночевку у кутанов. Пастухи покрикивали над склонами, вторя голосам клушиц и стуку камней под копытами животных. Двое подбежали к нам. Один, низенький, рыжеусый, с веселыми глазами, все ахал и хлопал себя по бокам, восторгаясь биноклем, который делал большими далекие склоны и удивительно приближал кутан. Другой — высокий лезгин с круглым добродушным лицом — на мой вопрос, есть ли туры («хырч бар?»), молча начал осматривать дальние склоны. Он ткнул загорелым пальцем в сторону гребня — голого черного горба, врезавшегося в бледную синеву вечернего неба. Над гребнем быстро бежали мягкие клочки облаков, под ними на самом обресе горы копошились какие-то мелкие точки. «Хырч бар, чох бар», — приговаривал пастух, считая животных. Я навел бинокль. Верно! Высоко-высоко у облаков кормилось целое стадо. Миниатюрные темные фигурки большерогих козлов — каждый весом со среднюю телку — и милых козлят тихо брели навстречу ветру, старательно пощипывая траву. Стадо овец, погоняемых пастухом, спускалось всего в полукилометре от места, куда подходили туры. Горные козлы, загнанные овцеводами в недоступные части хребта, сменяя домашние стада, выходили на пастбища, освободившиеся до утра. Добраться туда за вечер до темноты — затея явно невозможная.

Следом за пастухами мы прошли дальше по ущелью Ятухдере. Снова высокий лезгин указал на склон, высившийся слева,

темный, пятнистый от скал, покрытых лишаями. Нижняя часть склона была завалена осыпями, несколько выше по впадинам и щелям лежали вековые пласты снега. «Хырч, ики хырч» (два тура), — твердил проводник, не понимая, как это я даже в бинокль не могу найти животных, которых давно заметил привычный взгляд пастуха. Наконец отыскал туров и я. На синевато-сером траурном широком скате еле виднелась узкая тропинка. Как пятна плесени, серели узоры лишайников, кое-где зеленели маленькие угнездившиеся в щелях клочки травы. Тур-самка с козленком — рыжевато-желтые на фоне темных скал — были единственными живыми существами среди мертвого хаоса ущелья. Коза шла позади, подгоняя козленка, останавливалась, оглядывалась на нас и снова пускалась в путь. До них было около километра, но ветер дул от людей, и чуткие звери спешили уйти в горы.

Мы высмотрели несколько турьих троп и, распрошавшись с пастухами, залегли у скал в засаде. Солнце уже давно скрылось за горами. Неясный рассеянный свет проникал в ущелье только сверху. Было сыро и холодно. Ледяная вода реки глухо гремела валунами. Дул резкий леденящий ветер; стремительно неслись облака, разрываясь на белые полотнища о черные уступы гор. Вечер сулил нам тревожную ночь. Густые тяжелые пласты тумана доползали до гребня, перегибались на нем пополам и медленно стекали в ущелье, скрывая уступ за уступом. Встречный поток воздуха из долины подхватывал лохматые подвижные клубы, разрывал на мелкие лоскутья и, крутя над ущельем, уносил вверх. Но облака напирали, спускались в ущелье со всех сторон, как бы кипя, сплетаясь в клубы, и становились еще плотнее. Казалось, все ущелье дымится от грандиозной канонады. Брызнул первый мелкий дождь. Мы спешно спустились на дно, заваленное обломками скал, и скрылись от ветра под защиту большого камня. Из-под него навстречу нам, покинув небольшую нору, вылетела ржаво-черная краснобрюхая горихвостка. В то же мгновение рванул ветер, захлестал сильный дождь и белые горошины града зашелкали по камням и траве. Стало еще темнее от нависшей тучи. Она проходила не над нами, а около нас, прямо по ущелью, обливая его склоны. Град падал минут пятнадцать, потом посветлело, облака расползлись, показались склоны гор, серые от покрывшего их снега. На бурке град лежал целой кучей. Ветер завыл; как сотня поездов, грохотала река. Каждую секунду над ущельем вспыхивали фиолетовые зарницы. Мелькнула мысль спуститься на ночлег к кутанам, но в это мгновение нас окружил выводок горихвосток, место ночлега которых мы заняли. Так вот где гнездится эта таинственная птичка! В холодном, как погреб, сыром ущелье, почти без зелени, с мутной рекой на каменистом ложе, черными сланцевыми осыпями и толстым пластом снега сверху, внизу, справа и слева. Здесь были уже темные сумерки, а вдали над долиной Арычкаш еще скользили блики заходящего солнца.

Я забыл про град и дождь, застрелил молодую горихвостку и в поисках других птичек из рассыпавшегося выводка наткнулся



Снежный выюрок

на удобную пещеру. Она образовалась под двумя огромными плитами сланца, слегка прикрывающими одну другую. В пещере места хватило бы даже на троих, было сухо и не проникал ветер. Перенесли сюда мешки и бурку, зажгли огарок свечки. От реки из темноты наше убежище казалось уютной обжитой сторожкой. Расстелили одеяла, накрылись буркой, выругали погоду и начали засыпать. Стемнело совсем, черные облака наполнили ущелье, и грянул крепкий горный ливень. Непрерывные удары грома потрясали горы, заглушая рев реки и бешеный рокот дождя. Силуэты гор, мокрые скалы,

потоки воды, льющейся по склонам, показывались на мгновение то в голубых, то в розовых или синих вспышках молний. Струи воды хлестали по черным мокрым ребрам ущелья, по пластикам векового снега. Мы были в самом центре грозы, на уровне грозовых туч. Полосы дождя сменялись градом и снегом. Через наши плиты ручьем бежала вода. Три тонкие струйки прорбились откуда-то на пол, подмочили одеяла. Но бурка — мудрое изобретение горцев — выручила и тут. Вода легко стекала по ее руну — длинным прядям шерсти, даже не доходя до плотного войлока. Мы спали, изредка просыпаясь оттого, что дуло в голову или зябли ноги.

Утром я проснулся рано, едва серело. Федулов уже бегал по ущелью, чтобы согреться. Тучи шли выше, чем вечером, местность имела менее мрачный вид. Когда ветер разогнал хмурую пелену облаков, в разрывах между ними появились вершины, белые от свежего снега, как в серебре. Вот он, конец июня на высоте более четырех тысяч метров!

В ущелье оказалось много горихвосток и красных кавказских чечевичников. Птицы перелетали, кричали и пели — для обитателей гор июньский холод и снег были обычным явлением. Я быстро работал ружьем и наполнил птичками, завернутыми в бумагу, оба кармана своего рюкзака. Вскоре на звуки выстрелов появились лезгины из кутанов. Маленький суровый старик с морщинистым, поеденным оспой лицом, выступил вперед и очень серьезно, почти сердито, прочитал нам выговор. «Зачем гора ночевал... Ночь — яман, чох яман (ночь плоха, очень плоха). Одна ночь гора ночевал — пропадать можно. Зачем кутан ночевать не

ходил. Ты пропадешь — нам за тебя отвечать надо...» и так далее.

Мы пошли с ним вниз — на луга. Кибитка старика стояла в низине среди луга, усталного обломками скал, каждый с хорошим дом. Большие, свирепого вида овчарки волчьего окраса бросились нам навстречу. Старик остановил их криком. Старая хозяйка радушно пригласила нас войти в темный полумрак кибитки. У здешних кибиток на легком переплете из жердей растянута плотные кошмы. Они закреплены шерстяными лентами и веревками. Вдоль стен стояли связанные из тростин легкие циновки. Днем они заменяют кошму. Звеня монистами и бесшумно скользя по кошмам темными загорелыми ногами, хозяйка принесла тяжелый поднос, маленький тазик и кумган с водой. Сам старик подал нам умыться. Потом из-за пестрого паласа, отгораживающего переднюю женскую часть кибитки от задней — хозяйственной, снова проскользнула молчаливая хозяйка, на этот раз с пачкой теплых чурек и тремя чашками. В одной каймак — сладкие топленые сливки овечьего молока, в другой сыр, в третьей бекмес — виноградный «мед» или джем. Самовар выдвигается из левого переднего угла и налаживается к чаю. Мы закусываем, а тем временем хозяйка ведет свою обычную работу. Молча переливает из казана в казан кипяченое молоко, приготавливая сыр, покрикивает на собак, мимоходом следит за нами внимательным взглядом. Старуха прядет на прялке — «чахра», древней, как ковровое искусство Востока. Правая рука без усталости крутит рукоятку колеса, левая — тянет бесконечную шерстяную нить. В зимние дни и месяцы искусные руки молодой превратят пряжу в тяжелый ковер чудесной расцветки, который проживет века.

В кибитке приятный полумрак; пахнет сладким кизячным дымом, овчинами и кислым молоком. Сияние снегов, густая синева неба, сочная зелень лугов смотрят сюда через войлочную дверь. Не умолкая шумит ручей, как вековой припев к бляению стад, лаю собак и древней флейте пастухов. Как-то разом, вдруг, я неотразимо проникся прелестью суровой пастушеской жизни с ее чарующей простотой, с ее убожеством и древностью уклада, пережившего необозримые тысячелетия.

Под осень по узким тропинкам над пропастями стада откочуют в Азербайджан, на широкие равнины предгорий, где мало снега и пастбища слишком сухи для летовок. Бураны, голодный вой волков... Потом ранняя весна Закавказья, медленный подъем в горы к чудесным альпийским лугам, где нет оводов и молоко вкусней, чем где бы то ни было. А тут отвесные скалы, разбившиеся на кручах ишаки и погибшие овцы. На них красноклювые клушицы, бурые беркуты и огромные ягнятники-бородачи. А ночами опять вой волков, кочующих по горам следом за овцеводами...

Старик-лезгин был разговорчив и неплохо объяснялся по-русски. Он знал всех горных птиц, и мне оставалось только

записывать местные названия. Горного жаворонка, «птицу с рожками», он называл «хут-хут», горную куропатку — «квэд», краснобрюхую горихвостку — «нютц», чечевичника — «кэк» (должно быть, за его характерный крик) или «хоруз», по-тюркски. По его словам, хоруз стайками держится зимой на склонах гор близ Куруша и кормится мелкой травой и семечками на оголенных от снега местах. Курушцы нередко держат его «в ящиках» (старик не знал слова клетка). «Птица очень хороша; если из ящика вылетал, сам домой возвращался».

Старый пастух помнил каждый ручей, каждую кручу в горах; повадки туров, лисиц и волков, даже мелких пичужек были ему хорошо известны. Горных индеек, многим ученым-орнитологам знакомых только по музейным чучелам, он ловил живьем в ящичные западни с приманкой из кукурузы. Он ставил на горных куропаток свои особые капканы, в которых птица, схваченная за шею, долго оставалась живой, и охотник мог сам убить ее и выпустить кровь, согласно мусульманскому обычаю. Старик рассказывал, чем вреден «цимиль-кьиф» для лугов. Он помнил много снежных зим, когда гибли овцы и разорялись кочевники. Уже давно прошла его восьмидесятая весна; старший пастух на яйлаге Шахдага был живой летописью этих мест, целой сокровищницей пастушеского опыта. Я быстро записал кое-что из его рассказов.

В Куруше и его окрестностях мы пробыли две недели — несколько больше, чем предполагалось по плану. Я поджидал, как было условлено, другую зоологическую партию. Она, сделав большой маршрут через Аварский округ Дагестана, должна была присоединиться к нам около 20 июня. Прошло восемь дней после условленного срока, а зоологи все не появлялись. Запасы продовольствия и деньги были у нас на исходе, оставаться мы не могли. Нужно было торопиться еще и потому, что в горах прошли большие дожди, они вызвали сильные разливы речек. Переправа через Гюльгерычай могла испортиться и надолго отрезать нас от железной дороги.

На вьючных лошадях без седла утром 29 июня мы сползали по мокрому, набухшему от дождей тропинкам. Темно-синее горное небо Куруша было ясно, ярко сверкало солнце, ниже лежал слой облаков — полупрозрачная пелена теплого тумана, напитанная запахами цветущих субальпийских лугов, буйной свежей зелени в полном расцвете ее сил. Мы спускались через облачный слой по росистым лугам, пестрым от цветов розовой ромашки, желтых горных лилий, рыцарских шпор, крупных белых зонтичных и колокольчиков без счета и числа — синих, лиловых, сиреневых, голубых, собранных в колоски, в большие пучки и колышавшихся поодиночке. Ниже цвел шиповник, и волны его аромата сменили запахи лугов. Алые чечевичники пели на лугах, а у границы леса куковали кукушки. Потом трава лугов стала желтоватой и выбитой, кое-где на склонах появились полосы пшеницы. В долине зазеленели абрикосовые сады, мелькнули глинистые постройки аула Паркент. В полдень мы уже достигли большой дороги, далеко

под облаками, в глубокой долине Самура. Сухие сожженные склоны здесь голы, щебнисты и пыльны. Тусклые грязно-желтые краски говорили о том, что свежесть весны и цветущее альпийское лето остались вверху за облаками. Впереди лежал путь через сухие жаркие предгорья, где все отцвело, давно созрело и успело завянуть.

Большие ящерицы-агамы грелись, лежа на раскаленных камнях, и боком заползали в щели при виде опасности. Чекан-плетанка — птица полупустыни — перелетала у дороги. Альпийские галки и вьюрки, горные индейки, снежные полевки, туры — все это позади на высотах. За пять часов пути мы прошли четыре горных пояса, с особой, свойственной каждому флорой и фауной, с особым режимом температуры, освещения и осадков. Мы жили в нижней части альпийского пояса, прошли через субальпийский, пересекли узкий лесной, слабо выраженный в этой части Дагестана, и спустились в пределы степного. Сухой, скучный термин «вертикальная зональность» от одной такой поездки получает живое конкретное содержание. Я видел отличия природы поясов и в списках их фаун, и в быте населения, я чувствовал разницу легкими, которые легче дышали во влажном и свежем воздухе высот, чем в жарком и пыльном равнинном.

На большой дороге в ауле Усуччай нам пришлось сидеть почти целый день. Почтовый фургон прошел утром и в ближайшие дни его не будет — близится конец большого мусульманского праздника курбан-байрам. Только к вечеру мы подкараулили две арбы, перевозившие в горные аулы дрова и теперь возвращавшиеся порожняком. Черные с почти голой кожей буйволы плелись не торопясь, без усталости пуская изо рта длинные нити слюны на пыльную дорогу. Грубые, из толстых кусков дерева, колеса скрипели так, что их слышно было за два километра. Возчики подгоняли буйволов гортанными окриками, размахисто хлестали их по грязным равнодушным спинам. Не добившись убыстрения хода, они дремали, свесив черные ноги под передок. Я лежал, вытянувшись на голых, тряских досках арбы. Запах полыни и пыли, невидимой в темноте, скрип колес, звезды над головой — знакомые спутники перекочевков. Хотелось мурлыкать тягучую степную песню, слушать гул Самура и не спеша перебирать в памяти впечатления от жизни в горах. Тревожила только мысль о переправе; ночью разразился ливень, он еще подбавил воды в реках.

Когда мерный шаг буйволов вывел нас из терпения, наутро в ауле Кирик мы потребовали верховых лошадей. Отсюда поскакали без остановки, надеясь добраться до железной дороги к вечеру. Провожатый, юноша-лезгин лет пятнадцати, должен был вернуть лошадей, когда в них минует надобность. Парень был горд своим поручением. Он болтал без умолку, то и дело пускал коня в карьер, хвастаясь джигитовкой. Мы держали драгоценные ящики с коллекциями на передней луке седла и на перегруженных конях, конечно, не могли за ним угнаться. «Трепло,



балаболка», — сердито ворчал себе под нос мой спутник, недавний боец Конной армии Федулов. К вечеру провожатый уgomился, замолк и плелся сзади, в почтительном отдалении. Мы пересекли лесистую местность, где в те времена сильно «пошаливали» бандиты, каждую ночь кто-нибудь оказывался ограбленным. Наши ружья были наготове. В оба ствола своего дробовика я заложил большие, специально приготовленные заряды картечи. В сумерках какой-то одинокий всадник шарахнулся от нас при встрече. Мы едва остановили его окриками. Это был агроном, пробиравшийся в ближайший аул. «Вы на Билиджи? Не пройдет — Гюльгерычай разлился. Ревет так, что отсюда и то слышно. Вот попробуйте рубашку... — и он приложил мою руку к груди, мокрой до самых плеч. — Коня чуть не утопил и сам еле выбрался. Лучше переночуйте в ауле...»

В темноте мы долго искали ночлег, а на рассвете были уже у переправы. Вода несколько убыла, но река все еще шумела, пенилась и вздымала желтые гривы над скрытыми большими валунами. Наш молодой джигит едва только глянул на бешеный мутный поток шириной в добрые 80 метров, как забормотал что-то невнятное и соскочил на землю. Он наотрез отказался переправляться, хотя сегодня утром из-за реки приехало несколько всадников. Грешный человек, признаюсь, я прикрикнул на него довольно свирепо и даже ружейным прикладом погрозил. Но парень заплакал навзрыд и остался сидеть на камне, словно пригвожденный страхом. Мы спустились в реку, еще не подумав, как дальше быть с конями. Вода доходила до стремян, клокоча у брюха лошадей. Сквозь рев потока было слышно только глухое постукивание катавшихся на дне валунов. Бывалые горные кони шли медленно и осторожно, нащупывая дно. Преодолев переправу, мы крупной рысью проскакали последние километры до железнодорожной станции. Поезд на север должен был подойти через двадцать минут, я встал у кассы, Федулов карьером помчался сдавать лошадей в милицию соседнего селения. Вернулся он всего за несколько минут до поезда, и мы вздохнули с облегчением, почувствовав, что все тревоги позади.

Разместили вещи и сели у окон, за которыми неслись наперегонки кудрявые леса, поляны и кустарники Самурской дельты. Но приключения еще не кончились. В тревоге переездов и посадки я в первый раз в жизни забыл разрядить ружье. На остановке в Дербенте вышел купить винограду, а Федулов глазел в окно. Тут юркий мальчишка подсел к ружью, взвел курок, и через мгновение весь вагон вздрогнул от громового удара. Мальчишка упал со страху на четвереньки. Картечь пробила насквозь обе полки, ободрала трубу под потолком и рассыпалась вниз смятыми свинцовыми пилюльками. Пахучий пороховой дым волной валил из окон вагона. На счастье, полки были свободны от пассажиров и пострадал только вагон. Меня повели в комнату железнодорожной охраны, но, выяснив обстоятельства дела, оштрафовали очень милостиво — всего на 15 рублей. Я же почернел от одной мысли

о том, что могло бы случиться, если бы парнишка направил ружье вдоль прохода, где стояли люди. Ужасная, непростительная оплошность!

Потрясенный, онемевший, я неподвижно смотрел на синий сверкающий Каспий, на белую полосу пены под черными скалами и ленивых чаек, медленно плывших над горячим песком. Голые солонцы, серые полосы польни и верблюжьей колючки, полыхающие зноем и сухими горьковатыми запахами, тянулись на север, сменяя зеленые самурские леса. Горы отступали на юго-запад. В далекой синей мгле уже чуть виднелись силуэты предгорий, над ними лежала легкая слоистая вуаль облаков, а еще дальше вздымались контуры Шахдага и Шалбуздага. Вековые снега их горели мягким розоватым светом. Вершины словно плыли над голой полупустыней побережья. По-прежнему в них было таинственное манящее очарование, словно не там были уже исписаны мои дневники и собраны шкурки красных чечевичников. Поезд вздымал облака едкой пыли, горячие испарения струились над равниной. В этой дымке медленно таяли обе далекие вершины. Вот они стали прозрачными, еле видимыми, вот совершенно пропали, как облако, растаявшее при восходе солнца. Прощайте горы!

## 2. НА НИЖНЕМ АМУРЕ

Дальний Восток — заманчивая страна синих сопок с непролазной маньчжурской тайгой, плодородных равнин, бурных речек, летних проливных дождей и холодной малоснежной зимы.



Я был здесь давно — в 1928 году, но никогда не забуду эти огромные тенистые деревья, буйные кустарники, цепкие лианы и могучие травы, на которых неделями висит, не просыхая, роса или дождевые капли. Утренний туман, наполненный запахами ландышей, лиственниц и кедров, памятен мне, как и чудесный птичий хор с тысячью голосов. Их слушаешь на рассвете, словно сладкую музыку во сне, и боишься, проснувшись, оборвать. Мошки, комары и слепни десятка пород ели нас —

Наша палатка

меня и орнитолога Шульпина — в несколько смен, круглые сутки. Ни дым костра, ни комариные сетки не помогали против этих живых облаков, и мы мазались дегтем каждые десять минут, от утренней зари до заката солнца. Укладываясь спать на влажные постели в нашей тесной палатке под пихтами, мы выдергивали из кожи ежедневную порцию клещей и аккуратно топили их в расплавленном стеарине свечки. Часто свечка делалась сверху совсем черной: за день в каждого впивалось десять—пятнадцать клещей. Но что такое мошки, клещи и неизменный деготь для зоолога, если, выйдя утром из палатки, он видит, как примятые ландыши расправляются на свежем следу черного гималайского медведя, слышит нежные строфы кобальтовой синей мухоловки, щебет черноватых с золотисто-желтой грудкой и надхвостьем желтоспинных мухоловок, а высоко над своей головой замечает траурно-синих широкоротов (один из видов сизоворонок).

Уссурийский край и Приморье замечательны тем, что здесь далеко на север заходит маньчжурская флора, а вместе с ней проникают к нам многие виды животных Южной Азии, от самых Гималаев, Индо-Китая и даже Малайского архипелага. Только в дальневосточном уголке СССР мы встретим красивого пятнистого оленя, которого на востоке зовут «хва-лу» — олень-цветок, горную антилопу-горала, енотовидную собаку, крупную темно-бурую с ярко-желтой грудью непальскую куницу, известную у нас под именем харза. Харза охотится за кабаргой и даже за соболем; за дикими свиньями, кочующими по кедровникам и дубнякам в поисках орехов и желудей. Неутомимо ходят самые крупные из встречающихся на свете полосатых кошек — уссурийский и амурский тигры. Светло-желтый в бурых яблоках леопард перескакивает через изгороди колхозных оленьих питомников и хватает прирученных пятнистых оленей.

Уссурийский крот — более крупный и серый, чем наш европейский, — роется в тучном лесном перегное и сырых опавших листьях. Маньчжурский заяц таятся в хворосте. Крупные фазаны кричат по зорям в кустах леспедецы и часто выбегают кормиться на грядки огородов (я видел маньчжурских фазанов даже из поезда, севернее Амура, куда они проникли недавно, после вырубания тайги). Немало здесь и сибирских животных: есть лось и олень, изюбр, косуля, кабарга, колонок, соболь, обыкновенный волк и медведь, лисица, рысь, крупная темная белка, рыжеватый бурундук и летяга. Перечислить их всех нет возможности. «Северяне» и «южане» часто живут бок о бок: тетерев рядом с фазаном, тигр — с северным оленем, соболь — с харзой и т. д. Эта смешанная пестрая фауна так густо и обильно населяет леса Уссурийского края, что издавна стремились сюда охотники — промысловики Сибири, не боясь один на один повстречаться с тигром или леопардом.

Сто лет назад там, где стоит сейчас Владивосток, ежегодно погибало от тигров несколько десятков человек. Я еще застал стариков-охотников, которым на своем веку посчастливилось убить

по десяти — пятнадцати тигров и помногу десятков медведей. Но уже редким стал теперь тигр, и трудно увидеть даже его следы. Жадные охотники едва не уничтожили редкую антилопу-горала, пятнистого оленя и дорогого соболя. Лишь организация Сихотэ-Алинского заповедника спасла их и других животных. Под надежной охраной начал размножаться соболь и спокойно пасутся пятнистые олени.

Наша экспедиция побывала на реке Раздольной под Владивостоком, добралась морем до Дальнегорска и перевалила на западный склон Сихотэ-Алиня к верховьям Большой Уссурки, работала под Благовещенском и в других местах. Но особенно запомнилось мне путешествие по Нижнему Амуру от села Софийского к Татарскому проливу. В Софийском пристани не было. Пароход спустил шлюпку, двое матросов доставили нас к берегу и помогли выгрузить багаж. Как сейчас помню золотистую широкую реку, кучку вещей на каменистом пустом берегу и пароход, большой, скрывающийся вдаль. В селе домов двадцать, улицы широки, поросли зеленой травкой. Сейчас же за огородами — зеленые вершины, сливающиеся с тайгой, густо одевшей ближайшие сопки.

Остановиться решили в школе. Старуха-сторожиха сначала немножко нас испугалась, но потом решила приютить. В селе пусто — все на сенокосе в широких амурских лугах. Нам долго не удавалось найти подводу для перевозки багажа. Ходим из дома в дом, стучим в окна, не можем ничего добиться. Вдруг вижу на одном дворе стоит лошадь. «Скорей, — говорю Шульпину, — сейчас запряжем». Но тут же узнаем, что на лошадь вчера напал медведь. Она понуро стоит у сарая, и нам легко осмотреть ее

раны. Огромные когти провели прямые и узкие борозды по ее спине и бокам. Некоторые из царапин в пол-аршина длиной и сантиметра три глубиной. Из них сочится гной, падая на рыжие, вздрагивающие бока лошади.

Багаж перетаскали на себе, а на следующий день убедились, что место, действительно, медвежье. В полукилометре за деревней, среди лесистых сопки начались пробитые зверями тропы. У речки высокий сочный дудник, которым охотно питается медведь, весь был примят и оборван. В лесу кое-где рыжели широко раскинутые гнилушки старых колод — мед-



Пихта со свежей меткой медведя

веди разбивали их в поисках муравьев и личинок. Следы когтей были на грязи, на упавших мертвых стволах и на серой гладкой коре живых пихт. Звери драли ее лапами, встав во весь рост. Оборванная кора висела свежими, красноватыми снизу лоскутами; по ним медленно скатывались прозрачные капли смолы. «Автографы», оставленные на стволе пихт местным «хозяином», были точь-в-точь такими, как на рисунке в одной из книг Сетона-Томпсона. В переводе на русский язык медвежья «запись» значит примерно вот что: «Это место мое! Незаконно вторгающиеся, полюбуйтесь, какие у меня когти!»

Во время работы в тайге приходилось все время помнить об опасном соседстве. В одном стволе ружья лежала разрывная пуля, а два других патрона хранились особо в наружном кармашке так, чтобы их можно было достать моментально. Тайга здесь адски глухая, дикая и трудная. Солнце страшно печет. Ведь это широта Ниццы! В душном, полном испарений лесу просто дышать нечем.

Я ставил ловушки на мышей и землероек тут же у пней на медвежьих тропах. Комары осыпали меня словно серым пеплом, дымным облаком клубились среди кустов. Они так обжигали руки при установке мышеловок, что нельзя было удержаться от дрожи. Получались толчки, и мышеловки захлопывались. Совсем туго пришлось мне при рытье канавок для установки ловчих банок. В комариной сетке работать было душно, я снял ее и остался с открытым лицом. Навстречу от канавки, над которой я гнул спину, с жадным стоном крыльев понеслась густая мгла комаров и мошек. Они лезли в глаза, уши и ноздри, жгли лоб и губы, облепляли шею и плечи, заползали за воротник. От них можно было дойти до бешенства или сойти с ума. Фыркая, я давил их грязными от земли руками, смешивая землю, кровь и комариное месиво с потом, который катился по лбу. Я отплевывался и чихал, непрерывно мотал головой и ругался и все копал эту проклятую канаву. Она была полна толстыми камнями и корнями. Выворотить их было нелегко. Я клял таежный гнус, идиотов, что летом ездят на Дальний Восток за зверюшками, точно мышей нельзя найти осенью, клял чертову амурскую тайгу и корни, мешающие копать, жаркую погоду, дьявола, занесшего меня сюда, и опять принимался за комаров и мошек.

Мой спутник — Шульпин, как потом оказалось, осторожно подошел в это время на голос и, прячась за деревьями, полностью записал мой трагический монолог. Я так и не узнал бы об этом, если бы вечером, в школе, он не прочитал мне свою «стенотграмму». Признаюсь, я обмер, когда прослушал с начала до конца это ужасающее произведение! Хорошо, что такую запись он никогда не сможет напечатать.

Дня через два, собирая утром зверьков из ловушек, я услышал на тропе легкие, осторожные шаги. «Опять Леонид лезет, хочет еще монолог записать... Нет, теперь ты меня не проведешь, — подумал я и громко крикнул: — Лентя!» На тропе испуганно рывкнул

большой зверь, затрещали кусты, и все стихло. Я напугал медведя, пробиравшегося вдоль речки.

Ловля зверьков у Софийского не дала каких-либо новых находок по сравнению с ранее изученными районами. В давилки попадались все те же рыжие и красно-серые полевки, в банки сыпались обычные землеройки. Только лесных мышей было заметно меньше, чем в богатой древесными породами маньчжурской тайге. Осматривая ловушки, подновляя канавки, я случайно подкараулил и застрелил несколько птиц. Это были крупный серый с желтоватыми крапинами пестрый земляной дрозд, очень маленький ястребок и две кукушки. Леня им очень обрадовался. Экскурсируя гораздо больше меня, он не встретил этих видов. Мое подкарауливание было, очевидно, более выгодным способом добычания скрытных и осторожных птиц, чем быстрое хождение по лесу.

Из Софийского в Мариинское, не дожидаясь парохода, мы отправились вниз по Амуру на лодке, принадлежащей семье ульчей. Хозяина лодки звали Чукго, а его жену, как ни странно, — Санька — она из насильно крещенных миссионерами. Чукго — пожилой человек в синей рубашке, черных штанах, туземных сапогах. На голове повязка, из-под нее свисает на спину косичка и выбиваются на уши пряди выгоревших волос. Санька очень молода, ей, пожалуй, около двадцати. Она маленького роста. Лицо совершенно круглое и такое скуластое, что диву даешься. Нос очень маленький, прямой, глаза — как черточки. Нижняя губа слегка выпячена вперед, наверное, от привычки держать во рту неразлучную трубку, вроде монгольской, только покороче. «Наш постоянно куры, ваш — кури нету», — говорит она. У нее огромные черные кося с отливом красной меди и очаровательная улыбка, от которой глаза совершенно исчезают, и на бронзовой тарелке лица сверкают под трубкой только зубы. Одета она в новый синий халат-рубашку с красными краями и черно-белыми до локтя рукавами. В ушах — серебряные кольца, на голове — широкая берестяная шляпа, на руках — браслеты, на ногах — небольшие остроносые шегольские торбаса и какие-то обмотки. Гребет она рядом с мужем, я правлю рулем, а Шульпин занят своим делом — обдирает пичужек.

Одновременно с нами из Софийского выехал свадебный кортеж: две лодки с палаткой на одной из них. На палатке снаружи развешаны новые одежды, вычурные плетеные корзинки и другие вещи, должно быть, приданое. Внутри лежит невеста — девочка лет пятнадцати — семнадцати в ярком синем халате с красным кантом по низу и множеством медных побрякушек. Среди провожающих — старуха-шаманка в красном платке.

Берега Амура здесь низки. Река делится на десятки проток. Между ними песчаные острова с тальничками. Птицы мало. Стреляем влёт ласточек, удивляя ульчей меткостью. Санька подбывает стреляные гильзы — наверное, сделает из их медных головок бляшки на подол халата, хотя этого добра на нем и так

хватает. Видели пару орланов да один чертовски осторожный табун уток. Ехать было бы скучно, если бы не знакомое подрагивание лодки, бульканье весел и милый речной говор-плеск.

В Мариинском нас встретили знакомые Чукго и Саньки. Как и в Софийском, русское население на сенокосе. Отправились в поселок ульчей Хованда. Перебрались через болото с клюквой, выкупались в Амуре и, наконец, увидели поселок с амбарами на столбах, похожими на свайные постройки каменного века. Всюду множество развешанных сетей, собачьих нарт и самих собак, ползарывшихся в прохладный песок.

Мы зашли в несколько низких с плоскими крышами изб. Видели в них истуканчиков из дерева, младенцев, прибинтованных к лодкообразным вертикально висящим люлькам. Часть люльки сделана корытцем, а под ним привязана берестяная коробочка. При нас одна мать отвязала эту коробочку и выплеснула оттуда натекшее прямо на земляной пол. Грязно, дымно. Висят сети, ружья, пачки выделанных рыбьих кож — из них шьют целые костюмы. Пахнет юколой и тухлой рыбой, словно в гнезде зимородка.

В этом поселке мы нашли проводника, хорошо знающего намеченный нами маршрут: по Амuru через озеро Большие Кизи в речку Тобу и дальше посуху к Татарскому проливу. Проводника зовут Одино Дечурл. Есть у него и христианское имя — Владимир. Ему семьдесят четыре года. Это спокойный, тихий и бывалый старик. Трубка, кажется, приросла к его языку — он ее совсем не вынимает. У него длинная, но жидкая борода и волосы до плеч. Таким я представляю себе восточного святого.

Мы выехали 28 июля в низкой гиляцкой лодке. Проводник сидел у очага, пил прощальный чай и курил трубку. Тем временем женщины разместили в лодке его скудное снаряжение: три свернутых в трубку полотнища для палатки, сшитых из бересты, какую-то рваную одежку, деревянную чашку, топор, пилу и две ставные сетки. Сетки были настолько коротки, что собранные в комок свободно уместились бы в горшке среднего размера. Я усомнился, можно ли рассчитывать на рыбу как основной источник питания (что было намечено у нас по плану), если не брать с собой других снастей, кроме этих. Но Одино медлительно, спокойно ответил: «Будет рыба, много рыба...», — и мне стало стыдно за свои сомнения в искусстве старика-рыболова, принадлежащего к племени, в течение веков жившему именно рыболовством.

Мы отплыли при светлой ясной погоде, когда на воде нестерпимо сверкали солнечные зайчики и свежий ветерок приятно охлаждал нам спины, быстро намокшие от гребли. Проток, соединяющий Амур и Кизи, становился все шире и незаметно перешел в само озеро. Берега низкие и скучные. Вскоре ветер переменился, стал встречным. К полудню мелкие упорные волны стали бить и поплескивать в низкий тупой нос нашей лодки, грести стало тяжелее. Солнце сильно жгло сверху, а лучи, отраженные от воды, оказывались совершенно излишним добавлением к этому. Я вскоре

почувствовал, что уши мои обожжены, а шея горит, как от припарки. Интенсивность солнечного света на Нижнем Амуре очень высока. Не этим ли нужно объяснить, почему рыболовы Дальнего Востока носят очень широкие шляпы, хорошо защищающие голову и от прямых солнечных лучей, и от отраженных. Под берестяной шляпой-зонтиком не только голова и шея, но и все плечи Одино были в тени. Он греб медленно, левым и правым веслом поочередно, по способу, излюбленному у нанайцев. На длинной и узкой лодке, которая мало виляет от таких переменных гребков, работа этим способом легче, чем обычным. Все же старик уставал. Мелкие капельки пота стекали из-под шляпы по его косе и темной морщинистой шее. Мы часто сменяли его, сажая на отдых к рулевому веслу.

На обед остановились у низкой каменной косы; разложили костер, навесили котелки и полезли купаться. Я разделся у берега, по привычке расположившись на месте, куда не могли попасть искры, и не заметил, что Шульпин оставил свою одежду подле костра. Через четверть часа, когда Леня решил одеться, он нашел только два рукава, воротник и четвертинку передней стороны гимнастерки, на которой счастливо уцелел кармашек с большой пачкой червонцев, составлявших весь денежный фонд орнитолога. Края пакета, где лежали деньги, уже обуглились. Еще две-три минуты, и капиталы моего уважаемого спутника могли бы превратиться в дым. Вот что делают мелкие искры при жаркой погоде и сильном ветре. Это неожиданное приключение заставило Леню побледнеть и призадуматься, но поучительный урок был усвоен довольно слабо. Всего через две недели у нас случились три пожара один за другим.

Двинулись дальше. Солнце спустилось за сопки, и на утихшее озеро легли отсветы заката. Крупные рыбы всплывали у берега, пуская широкие светлые круги, а неутомимая скопа падала в воду, пытаясь схватить проворного, быстрого верхогляда. Эти частые всплески и множество зеленых колбасок — экскрементов амура, тысячами пригнанных ветром в тихие заливы, были верными признаками обилия рыбы в восточной половине озера Кизи. Но обитатели вод скоро дали знать о себе более наглядным способом. Когда лодка наша пересекала заросли нимфейника с его круглыми, как у кувшинки, лопухами, из воды выпрыгнула крупная рыба, похожая на язя, называемая толстолобик, и шлепнулась на палатку, прикрывавшую наш запас сухарей. Не успели мы бросить весла, как рыба прыгнула снова и упала в воду. Минуты через две снова послышался всплеск, и мускулистое тело рыбы с размаху ударило меня в правое ухо. На фуражке, виске и шее толстолобик оставил клейкую слизь, а в ухе — гудение и звон, как от доброго тумака. Следующая рыба выпрыгнула прямо из-под борта и с такой силой стукнула в кормовое весло, что я едва его не выронил. Еще три или четыре заскочили в лодку, но успели выпрыгнуть прежде, чем мы кинулись их хватать. Вес этих рыбин был фунтов пять — восемь. «Толстолобик, — негромко и спокойно



проговорил Одно. — Солнце садись — его всегда мало-мало балуй».

Позднее я убедился, что толстолобик действительно прыгает только на заре, когда широкая тень от лодки падает на лопухи, под которыми он стоит. Днем можно проезжать через нимфейник спокойно, не опасаясь получить затрещину. Навсегда мне запомнился тихий вечер над широким озером и ошеломительный удар скользким боком сильного тела. Обидно, что в перегруженной лодке мы не сумели схватить ни одного из «баловников», чтобы торжественно сварить его в котелке с надлежащим количеством лука и перца. Один нанаец, возивший в то лето через Кизи почту для изыскательской партии, работавшей у залива Де-Кастри, нередко вместе с письмами доставлял порядочную кучу толстолобиков, заскакивавших в лодку и чуть ли не в котелок, которым при переезде почтальон отчерпывал воду, а на берегу варил уху. Вот какие славные рыбы водятся в нашем обширном и чудесном отечестве!

На ночь остановились у мыса Кирпичного. За ним озеро достигает в ширину верст пятнадцать. Волна на нем уже такая, что заливает через борт лодки. Следующие дни двигались все время против сильнейшего ветра, сменяясь на веслах. Тайга подошла к берегам, темная, северная, комариная. Белоголовые орланы сидели на гигантских сухих лиственницах, вдали гоготали гуси, кричали гагары. Потом пошли болота с клюквой, низкой угнетенной лиственницей, голубикой и морошкой.

30 июля добрались до дальнего конца озера и вошли в устье реки Тобы. Все здесь покрыто высокими кочками с гигантскими злаками, мокро и болотисто. Долго не могли найти место для палатки. Потом вырубили топорами кочки, сгрузили все из лодки и поехали за дровами. Мы рубили жерди, рогульки, палки для пологов и постелей. Одно спилил огромную сухую лиственницу. Налетела гроза и мигом простегала нас до нитки. Пока ехали, налетела вторая, когда ставили палатку — расплескалась третья. Все мокро — кочки, гигантская трава, палатка, мы сами. С трудом разводим костер, пытаемся сушиться. Налетает новый дождь. Ложимся спать в сырости. Из-за дождя вода в озере непрерывно поднималась, метр за метром оттесняя нас от берега. Переставляли палатку четыре раза. Наш лагерь стоял на краю тайги, среди густых кустов смородины и молодых лиственниц. Ветра почти не было, влажный, теплый, застойный воздух был особенно приятен для гнуса. Мошки и комары не оставляли нас ни днем ни ночью. Обдирать шкурки, писать дневники и отдыхать можно было только под пологом. Мы с Шульпиным при каждом удобном случае прятались под спасительную сень легких марлевых стенок. Но дедушке нашему приходилось туго. Полога были рассчитаны только на двух человек, а сверх того у нас не было ни одного метра марли. Целыми днями старик сидел в своем берестяном вигваме, поддерживая маленький дымокур. Он передвигал широкие полотнища шатра то вправо, то влево, поворачивал его узкий вход

к северу, западу или востоку, всегда находя тягу, достаточную для поддержания небольшого костерка. Но от дыма у него разбаливались глаза. Когда усталость и дремота одолевали старика и костер угасал, гнус наполнял шатер и облеплял каждый участок кожи, непокрытый одеждой. Не раз по утру он выходил из шалаша с лицом, опухшим от сотен укусов и, грустно покачивая головой над потухшим костром, говорил одну и ту же фразу: «Ой, моска, моска, сто его делай!» («ой, мошка, мошка, что она делает»). Старик не произносил ни «ч», ни «ш», ни «щ»). Да и нам каждую минуту, проведенную вне полога, доставалось вдоволь. С утра одолевали комары, чуть позднее — до полудня — два вида мошки и немного комары, потом те и другие начинали сбывать, но к полудню появлялось множество оводов и слепней, затем снова мошка, а с вечерней зари и до утра опять комары. Работали только в сетке, но в ней душно, жарко, обливаешься потом, терпения нет.

На следующий день погода налаживается. Идем в тайгу. Минуем осоковое болото, сухое, ровное, почти без кочек. За ним редкий залитый водой лес, зеленеют мхи, торчат гнилые пни и стволы лиственниц. Ближе к берегу широкой полосой рыжеет увядшая и высохшая осока. Под ней тонкий слой сухого осокового торфа, а дальше — на глубине пятнадцати сантиметров — вечная мерзлота. В нее удобно закапывать свежую рыбу и мышей из ловушек, чтобы они не испортились до препарирования. Из-за этой вечной мерзлоты так холодна вода в реке и озере. Вскоре по лесу рассыпается вереница моих 150 ловушек, гремят выстрелы Шульпина, дед уезжает на озеро ставить сети.

Все это время обязанности Одино ограничивались наблюдением за лагерем во время наших экскурсий и добыванием рыбы. Последнее — слава Амуру и Кизи — не отнимало у старика много времени. На вечерней заре Одино садился в лодку и ставил сети на ночь у входа в какой-нибудь залив, где было много следов амуров. Рано утром, еще до завтрака, он выбирал сети и, подтянув лодку к берегу, неспешно выбрасывал рыбу. «Ну как, Одино, поймал ли?» — спрашивал я. «Как не поймать, поймал, однако, — отвечал он, по сибирскому обычаю не к делу вставляя «однако». — Верховгляд поймал (при этих словах почти метровый верховгляд летел на берег, брошенный сильной рукой старика), амур поймал (три толстых амура, жирные, как поросята, летели на берег следом за верховглядом), сазан поймал (и красноперый золотистый сазан шлепался в осоку рядом с амурами). Рыба есть, рыба в озере много». Ячей у сетей была крупная, та, что у нас на Волге называется ладонник, и рыба попадалась отборная, фунтов 15 каждая. Любого улова могло бы хватить нам на три-четыре дня. Мы варили только часть этой рыбы. Из оставшейся Одино топил жир и собирал в пустые бутылки и консервные банки. Он любил обмакивать белые сухари в эту золотистую и довольно духовитую жидкость. Это блюдо заменяло ему холодный завтрак, состоявший у нас из сухарей и консервов. В дневные часы два серых полотнища собранных сетей сушились на вершине большого

шеста. В ветреные дни они развевались над лагерем как знамена славного племени рыболовов.

Я ел с дедом сазана по-гиляцки — сырого с луком, перцем и солью. Он кормил нас захваченной из дома юколой из сига. Могу засвидетельствовать, что все это отличнейшие вещи. Я чаще Шульпина бывал в лагере и сдружился со стариком. Он рассказывал мне про рыб, про то, как в старину «зверя тайга сибко много был. Само лусий соболь сина пять рублей. Само лусий белка — сина пять копеек». Приходили тогда с севера тунгусы на оленях и гольды с верховьев Амура, а сам дед на лодчонке на одного — оморочке — ходил на Сахалин и морем к югу от него до залива Ольги. Били нерпу в устье Тобы и таскали лодки по снегу той тропой, которой и мы вскоре пойдем к морю.

Вот, наконец, и эта тропа. Еле заметная идет она по болотам вдоль реки по тайге и бурелому. Одино ведет нас медленно, высматривая полузаросшие зарубки и затески на стволах деревьев, с трудом выбирая подлинную тропу среди множества «медведь-дорога» и «олень-дорога». Страшно жарко. Мешки оттягивают плечи. Ноги вязнут в пышных шелковых мхах.

Часа три понадобилось нам, чтобы добраться до того места, откуда с реки лодки ташат волоком до моря. Здесь уже не тропа, а целый «проспект». Не один век выбивалась эта дорога ногами гиляков, обутых в торбаса из нерпичьей и рыбьей кожи, ногами гольдов в обуви из лосины. Глядя на заросшие зарубки, я думаю, что делали их топорами, которые выменивали еще за соболей по числу шкурок, пролезавших через просвет для топорщица. Тут дед поворачивает обратно, держа наготове топор для медведей, наши палатки остались на озере без присмотра. Мы же волоком быстро спускаемся к морю.

Вечер проводим на берегу Татарского пролива. Берега его отвесны, обрывисты, все в лесной прохладной чаще. Над бухтой стоят лиственницы удивительной флаговидной формы — так изменил их ветер, вечно дующий с моря. А под утесами белый прибой катит пену и рычит камнями, перемалывая в кусочки ленты ламинарий. Черные уточки-каменушки с белым пятнышком позади глаза качаются на волнах вверх и вниз. Коралловолапый очковый чистик несет рыбку в трещину к птенцу. Смеются, завывают и стонут чайки, проносясь вровень с тайгой. Море уносит у меня двух красноногих чистиков, удачно сбитых одним выстрелом. Всюду в тайге вдоль берега медвежьей тропы. С вершины утесов от этих троп далеко видно волнистое вымершее море, легкий, но вечный туман. То сплетаясь в потоки, то разрываясь на клочки, то сливаясь в тучи, он тянется к нам, к берегу. Видно, как туман, словно что-то живое, переползает горы, как сминается при этом белый пухлый живот у облака...

### 3. У СТУДЕНОГО МОРЯ

Всю ночь бесновался, звенел океан.  
И шуны рвались на причальных буях,  
И плыл из Норвегии теплый туман,  
Напомнивший мне о далеких краях...

\*  
\*

А за поселком тундровые дали,  
Олений мох на солнце серебрится.  
Там на озерах гуси задремали  
И мошкара над кочками клубится...

(А. Пестюхин\*)

Мы выехали из Москвы 23 мая 1929 года, я и юный натуралист Шура М., который отправлялся со мной в качестве помощника-добровольца\*. Ехал я по поручению Наркомзема изучать северных животных и выяснить, пригодны ли Мурманские острова для разведения голубых песцов. За два года перед тем я обследовал остров Кильдин, где вскоре же было организовано песцовое хозяйство, и уже имел некоторый опыт такой работы.

Заблаговременно изучил я карты побережья, прочел «Лоцию Мурманского берега» — наилучший источник сведений о южной части Баренцева моря — и нашел единственную группу островов, которая могла представлять интерес для зверьков. Острова вытянулись цепочкой на расстоянии полутора — пяти километров от берега и были достаточно изолированы.

Южная часть Баренцева моря, как известно, не замерзает, поэтому песцы могли бы уйти с островов только вплавь. Но для этого у них вряд ли будут достаточные причины, так как в хозяйствах их хорошо снабжают кормом. Нужно было выяснить, не приносит ли к этим островам льды из горла Белого моря, описать поверхность островов, их растительность и животный мир. Все это поможет оценить пригодность места для целей полувольного звероводства.

В Подмоскovie уже было лето. Березовые роши давно оделись густой зеленью, распустился дуб, вылетели майские жуки. Зеленые косы ветвей плавно качались от порывов теплого ветерка. Телята нежились на изумрудных лужайках, усыпанных золотым ковром одуванчиков. Задрав штаны, деревенские ребятишки бродили по лужам и старой корзиной, служившей им тралом, промышляли головастика. Знакомое чувство освобождения от множества городских дел охватывает при первом же стуке колес. Высунув голову из окна, я жадно ловлю запахи полей, песни птиц и, сам не замечая, тоже что-то пою...

Мурман! Серо-голубой и прозрачный Мурман, я снова тебя увижу! Жадный вой чаек и грохот прибора. Тихие вздохи дельфинов над застывшей гладью заливов. Серые группы оленей среди тундры и скал. Стойбища и маяки, ёлы и карбасы, крепкие бородастые люди в зюйдвестках, запах трески и водорослей... Странное

чувство. Я прожил там всего одно лето, а возвращаюсь, как на милую родину. Есть что-то притягательное в воздухе и красках Севера. Они не обжигают, как на юге, от них не кружится голова. Но тот, кто побывал здесь хоть раз, снова захочет увидеть светлые или прозрачные краски незаходящего солнца, услышать величавую тишину Заполярья.

Мурманский поезд по расписанию почти целый день стоял в Ленинграде. Я воспользовался этим, чтобы достать в Гидрологическом управлении хорошие карты побережья. Ночью мы пересекли границу Карелии, а наутро, в Петрозавдске, заметили, что догоняем весну. Здесь на березах были только первые золотистые листочки, лес едва одевался легкой зеленоватой дымкой. Еще цвели на глинистых обрывах мать-и-мачеха и ранние ивы, свежая трава показалась только кое-где на солнцепеках. Чем дальше к северу, тем меньше чувствуется весна. У Кандалакши почки берез едва только начали набухать, зацветали первые ивы. Правда, снега уже не было, но и трава еще не появилась, и темный ковер лишайников едва прикрывал холодные ребра камней.

Озера, сосновые леса, усыпанные валунами, низкие горы Карелии, шумные реки мелькали за окном вагона. Камни и лес, лес и камни, неразлучные в этой стране Калевалы. Я видел сосны, поваленные бурей. Они поднимали на воздух и крепко сжимали в узорных сплетениях корней круглые тяжелые валуны. Я видел березы, прилепившиеся в щелях гранитных уступов, и молодые сосенки, сидевшие на больших плосковершинных валунах.

Утром 27 мая пересекаем Полярный круг. На Хибинах белеют большие пятна снега. Огромное озеро Имандра скрыто подо льдом; не видно никакой зелени, почки на березах плотны и тверды; как зимой. Так 27 мая в центре Кольского полуострова мы застigli ту фазу весны, которая у нас под Москвой бывает на целый месяц раньше.

У Имандры нам нужно было сделать остановку, произвести некоторые наблюдения и дожидаться более теплого времени для выезда на Мурман. Мы остановились на Хибинском опытном поле у Иогана Гансовича Эйхфельда — руководителя работ по продвижению земледелия на север\*. Живой собеседник и радушный хозяин, опытный агроном, он и тогда уже был хорошо известен в Карелии и на Мурмане. Теперь же академик, орденоносец И. Г. Эйхфельд известен всему Союзу.

Часть опытных участков Эйхфельда была расположена близ железной дороги, между берегом озера и подножием горы. Новый участок год назад был выбран на обширном торфяном болоте за белой губой озера Имандра. В лесу была построена небольшая изба, в ней жили двое рабочих и хранился запас семян и удобрений. Лучшего места для нашей кратковременной работы в этом районе нечего было и желать.

Иоган Гансович повел нас напрямик через ноздреватый, изрядно потрескавшийся лед Имандры. Вправо тянулась огромная равнина озера с мелкими островками, обозначенными черными

группками елей. Впереди дальний берег Белой губы четко рисовался зубчатой стеной леса. Сырой порывистый ветер мчался над озером, разбрасывая соловую воду луж. Лед глухо потрескивал и крякал. Озеро вздыхало, медленно пробуждаясь от зимнего сна. Длинные трещины и широкие забережья, в прозрачной глубине которых сверкало чистое песчаное дно, заставили нас сделать большой обход. Вдоль берега, под первыми рядами деревьев, лежали большие сугробы снега, принесенные ветром с озера. По следам зайцев, обглодавших ветви на высоте трех метров, видно было, что снег уже сильно осел.

Преодолев сугробы, мы вышли на проталины, зеленевшие мягким густым ковром мхов, зарослями багульника и подбела. Избушка пахла свежей сосновой смолой и мохом, торчавшим из всех пазов. Я лег на мешки с суперфосфатом, а Шура — на посевном овсе. Рыжие лесные полевки грызли зерно у него под головой; нам не пришлось далеко ходить, чтобы расставить свои ловушки.

Спать не хотелось — мы собирались на глухариный ток. Полярная майская ночь была прозрачна и тиха, как московский осенний полдень. Какой-то мягкий неуловимый свет лился с бледного палево-желтого неба, освещая все одинаково ровно, без резких бликов и теней. У полевок началось брачное время. С шорохом и писком два рыжих самца гонялись за маленькой самкой. Три быстрых комочка то катились к норке под упавшей елью, то порскали по доскам, брошенным у избы, или начинали игру в прятки у мешков суперфосфата.

Ночная жизнь леса была вся на виду, в ней не оставалось никакой таинственности. Тоненькая ласка бесшумно, как тень, выпрыгнула из-под кочки, прошлепала через лужу и скрылась у самых моих ног в нору полевки-экономки. Спина ласки была в рыжем меху — зимний белый наряд она сменила сравнительно рано. Гораздо раньше, чем заяц беляк, который медленно ковылял мне навстречу через талый снег и сырые проталины. Встав столбиком на задние лапы, чтобы прислушаться, он сделался как две капли воды похожим на снежного зайчика, вылепленного ребятами. Я стоял тихо, и большие заячьи уши ничего не услышали. Беляк приблизился ко мне, нагнулся, понюхал мох и землю, прыгнул еще несколько раз и пошел, пережевывая ягоды брусники. Он жевал их, забавно двигая вправо и влево раздвоенной верхней губой, уставившись прямо на меня и ничего не видя. «Вот длинноухий тетеря! Ты ведь и впрямь косой», — прошептал я про себя. Беляк был так близко, что я мог бы достать до него стволом ружья. А он все сидел и задумчиво жевал кислые ягоды. Левая нога моя онемела от неудобного положения; я чуточку качнулся вправо. В одно мгновение, прижав уши, собравшись в комок, заяц сделал трехметровый скачок, перемахнул через поляну и часто зашлепал белыми валенками лап над лужами, зелеными мхами и рыжими подушками вороницы. Я понял, что неподвижного человека он принял просто за ствол дерева. Малейшее движение незнакомого предмета заставило его пуститься наутек.

Ночной птичий хор мало отличался от дневного хора, хотя было всего час-два ночи. Рыжегрудые черноголовые вьюрки однообразно тянули свое хрипловатое «вжимм», звенели гаички и горихвостки. Белобровый дрозд медленно, словно старую сказку, повторял строфы несложной песни. Малиново-красные и серые шуры перелетали в елях. Они были еще более смиренные, чем у нас на зимовке. Лес ронял последние капли вчерашнего дождя. Темные ели с жидкими вершинами были пышнее одеты ветвями внизу, чем сверху. У некоторых густые лапы спускались к самой земле, скрывая подножие, подобно зеленой юбке. У других макушки сухи, а сучья увешаны длинными лохмами лишайников. Бросилось в глаза, что климат здесь мало благоприятен для ели; до северной границы этой породы осталось уже недалеко. У Имандры она угнетена, растет медленно и редко дает урожай шишек. В лесу масса ягод, особенно брусники, перезимовавшей и очень вкусной.

Тока мы так и не нашли, но за неделю, проведенную у Имандры, насмотрелись на белых куропаток, гагар и собрали неплохую коллекцию зверушек. Из-за Имандры ушли уже не по льду — его сильно поломало, а в обход — лесами и топями. Отмахали верст двадцать и 3 июня добрались до железной дороги. Со станции Имандра мы доехали до Мурманска, а оттуда до города Александровска с известной биологической станцией. Здесь было удобно дожидаться рейсового парохода и время не пропадало зря, так как в окрестностях станции можно было наблюдать за птицами. На легкой шлюпке мы ездили несколько раз в ближнюю Пала-губу, хорошо мне знакомую еще с 1927 года.

Старое поморское слово «губа» означает то же, что и норвежское слово фиорд, но если я скажу вам: мы едем в Пала-губу, — это прозвучит, пожалуй, и менее выразительно, и более скромно, чем Пала-фиорд. Впрочем, неважно; это окруженное горами покойное и затихшее, как лесное озеро, пространство вод вряд ли нуждается в особо звучных наименованиях. Там самая лучшая литораль из всех имеющихся близ Мурманской биологической станции — самая богатая обнажающаяся при отливе прибрежная полоса, на которой под камнями и в скользких водорослях прячутся морские звезды и крабы, быстрые, тонкие, как змейки, литоральные рыбки-маслюки, тысячи бокоплавов, мелкие актинии, целые грозди мидий и другие моллюски, то в виде крышечек, то в виде тарелок — вся та живность, какую смотрят, ловят, разводят и изучают студенты, приезжающие сюда со всех концов страны.

А какая морошка по берегам, как густо растет темно-синяя черника и сизая голубика среди мелких пахучих кочек, перемежающихся со скалами, пестрыми от лишайников, и болотцами, снежно-белыми от хохолков пушицы! Всякий отправляющийся в Пала-губу на литораль возвращается не только с банками, переполненными медленно копошащейся живой добычей, но и с губами синими от ягодного сока. Но не за морошкой, не за водной живностью приплыл я в Пала-губу. Меня интересовали здешние

птицы — чистики, гаги, крачки, поморники. Их тут очень много. На одном мысу я насчитал двенадцать гагачьих гнезд. Я убил несколько чистиков и пытался сделать кое-какие зарисовки, хотя при наступившем холоде это не так легко. Со дня моего приезда на станцию погода испортилась — дует норд-ост, идут туманы, дождь, два дня был сильный снег и вся тундра стала белой.

Наконец, 12 июня приходит пароход, и мы отправляемся вдоль южного берега Баренцева моря в становище Харловку, лежащее напротив выбранного мною для работы острова. Едем три дня. При выходе из Кольского залива нас встречает крепкий шторм и здоровая волна. Плывущие мимо местные суденышки — ёлы — по временам пропадают между волн до самых парусов. У парохода пеной и брызгами заливают нос. Проплываем мимо острова Кильдина. Он весь в снегу. У берегов большие табуны пролетной птицы. На стоянке у мыса Териберского ужу с парохода на мясо чистиков, убитых еще в Пала-губе. Оказалось, что это очень глубокое место — до 18 метров. Попадают только бычки. Мелких выпускаю, а из крупных варю уху.

К вечеру шторм стал стихать. На следующее утро уже совсем ясно, ни малейшей волны. Берега низкие — все голый серый или красноватый камень. Даже тундровая растительность сюда не выходит. Губы неглубоки, окружены обычно островками. Становища так прячутся в щелях, что серые домики с трудом отыскиваешь в бинокль. Вода темно-синяя, а небо очень светлое, с жидкими белыми облаками.

И вот Харловка. Пароход загудел сиплым, словно простуженным голосом. Затихла машина, громыхнула якорная цепь, стало меньше покачивать. Мы быстро выбросили на палубу ящики, палатку и мешки, готовясь к поезду на берег. До него совсем недалеко. Серые гранитные лбы обрываются над узкой песчаной полоской пляжа, а на них старинные кресты. Вдоль песка белая линия прибоя, пенная и бурная против устья речки. В щели между скал горсточка домиков, стая карбасов и ёл, дальше широкий волнистый скат тундры, медленно поднимающейся к югу. А над всем этим холодное прозрачное небо и тишина. Тишина такая, что слышно за версту, как гремит, выбегая к морю, речка, как кричат заунывно вдали гагары и поскрипывают уключины выходящих к пароходу карбасов.

С нежностью и волнением смотрю я на берег, на этот сероголубой Мурман, на прозрачную воду студеного моря, полуночное светлое небо и коренастых поморов, размеренно и крепко работающих веслами. Серьезные бородатые рулевые словно приросли к своим скамейкам. Широкие ладные спины гребцов опускаются в спокойном темпе, таком же широком, как у могучих вздохов прибоя. И мне по первой поездке на Север знакомы эта волна бодрости, такой прилив сил, что сутками лазишь по скалам, не замечая усталости. Откуда они берутся? А светлые ночи, когда не заходит солнце, когда круглые сутки можно ползать за птицами с биноклем, отыскивать гнезда. Странные сутки, которые в дневни-



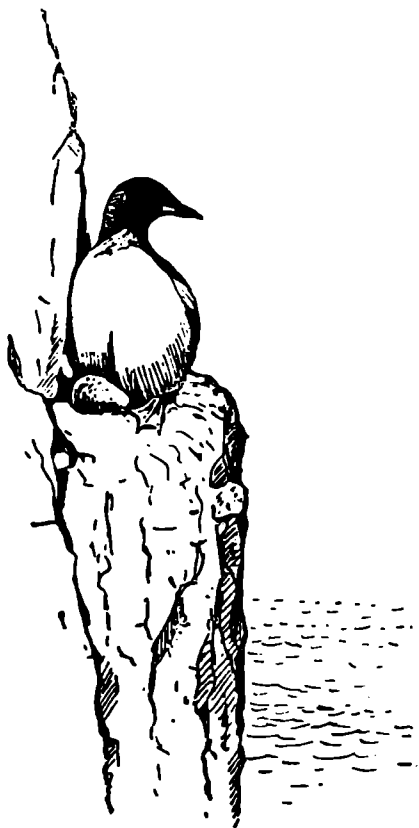
ках превращаются в недели. Север, что может сравниться с ним?

Обычно при остановках пассажиры собираются на борту, обращенном к берегу. На этот раз толпа была на противоположной стороне парохода. Оказывается, с правого борта тоже был спущен трап. Около него уже стоял карбас, до краев нагруженный пестрыми зеленоватыми яйцами чаек. Двое людей едва успевали наполнять яйцами шапки, корзинки и кастрюльки, которые наперебой протягивали им пассажиры. На палубе везде валялась тонкая, голубая изнутри, мятая скорлупа яиц; каждый купивший спешил сварить их, пользуясь кипятком из куба.

Первая мысль — прекратить торговлю, составить протокол о нарушении закона об охоте (разорение гнезд птиц, за исключением вредных, запрещается; надзор же за соблюдением закона часто бывает слишком слаб). Потом мелькнули другие соображения. Яйца из гнезд двух видов крупных чаек — серебристой и морской. Недаром каждое яйцо в два раза тяжелее среднего куриного. На севере эти чайки не приносят заметной пользы, а скорее вредны. Они истребляют рыбу, часто нападают на гнезда и птенцов уток. И нет особых оснований слишком бережно относиться к гнездам этих прожорливых хищников. Если правильно хозяйствовать на гнездовых колониях чаек, собирая яйца только весной, и оставляя птицам возможность восстанавливать кладку, то можно получать из года в год некоторую пользу от этих птиц, в других отношениях совсем не ценных. На Севере в весеннее время, когда кончились прошлогодние запасы, а рыба к берегам еще не подошла, яйца диких птиц — хорошее подспорье. Словом, не стоило затевать ссору. Разузнаю хорошенько, как производится сбор яиц, не приводит ли он к уничтожению колоний, а тогда уж начну действовать.

С этими мыслями я спустился по трапу и спросил, сколько привезли товара, где собирали, чей карбас. Оказалось, яйца собраны служащими маяка на тех островах, которые нам предстояло обследовать. Всего привезли сотен пять, часть продали, но почти задаром, часть — раздали ребятам бесплатно. Это была удача: мы сразу познакомились с обитателями острова и с одним из интересных промыслов. Через час, заехав в становище за почтой, мы уже плыли на карбасе к острову. В становище у каждого дома стоят оленьи сани. На крышах грудями лежат рога: жители — оленеводы, но сейчас их стада в тундре, далеко отсюда. На стенах растянуты и сохнут шкуры недавно добытых тюленей.

Остров Харлов — один из группы «Семь островов». Длина его версты четыре, ширина — с версту. Он гористый и высокий в западной части и заметно понижается к востоку. Остров покрыт низкой, едва начинающей зеленеть растительностью. Издали его склоны кажутся рыжевато-зелеными и пестрыми от множества крупных валунов, оставленных ледниками. Между двух высоких горбов заметна седловина, где стоят желтые деревенские домики



Кайра у гнезда

и две радиомачты. Я устроился в домике при маяке, на самой вершине острова. Кругом расписанные лишайниками скалы. Весь остров как на ладони: к северу безграничная голубизна моря, к югу пролив — салма, с крошечными парусами ёл, а дальше крупа домиков становища близ устья реки.

Погода переменчива. Дни холодные и туманные, ясные и теплые чередуются без всякого порядка. Мне хорошо запомнилось 18 июня. Я вернулся под дождем в три часа ночи и проспал до полудня. Ясный тихий денек встретил мое пробуждение. Холодный воздух был совершенно спокоен, пронизан глубокими красками. На десятки километров раскинулась извилистая линия побережья, его мыски и бухты, вереницы дальних островков. Море было спокойно; множество рыбачьих ёл лежало на яругах, некоторые возвращались с грузом рыбы. Отчетливо был виден пологий скат тундры,

домики становища и каменная тундра, пегая от снежных забоев. Я сел на пригреве за баней писать дневники и время от времени наблюдал в бинокль за гагарами на озере глубоко под горой. Их было четыре пары. Они то бегали по воде, преследуя друг друга с криком и дикими воплями, то чинно плыли рядом или разом исчезали под синей поверхностью озера, видимо, состязаясь в нырянии.

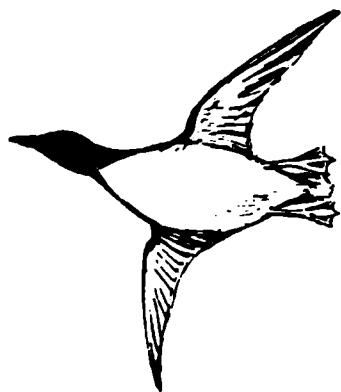
Вдали у лазурного горизонта появилась мутная белая полоска. Вот дальние ёлы скрываются в ней, словно большая кисть стирает их с рисунка. Потом появились серые облачка, уцепились за лысую верхушку острова Кувшин, исчезла дальняя половина острова Вешняк. Скоро во мгле пропадает вся тундра, острова, становище; и тяжелый туман затопляет озерную впадину. Из глубины ее, глухо, как из подземелья, все еще доносятся крики гагар. Весь остров окутан теперь холодной, тяжелой, как вата, мглой. Она плывет с востока медлительными слонстыми пластами. Над ними одиноко высится только круглая каменная вершина

с маяком и баней, у которой я сижу. Кажется, эта вершина и есть весь остров, поднявшийся со дна туманного моря. Силуэты чаек и поморников низко над землей проносятся с моря. Птицы кажутся большими бесшумными тенями. Туман держится до ветра. Наблюдатели подносят к пушке запасы пороха, чтобы начать сигнальную стрельбу. Но вот тут и там в сплошной пелене появляются разрывы. Открывается зеленое небо и холодная, в серой зыби поверхность океана. Черные точки ёл все на своих местах, у горизонта дымится одинокий тральщик. Со всех сторон острова слышен в тишине ровный рокот прибоя, как дальний гул мчащихся поездов.



Но большую часть времени я проводил не у маяка, а на птичьих базарах. Весь остров Харлов — сплошная птичья колония. На базарах северо-восточного берега моевки сидят так густо, что касаются плеча плечом, а кайры заполняют толпами буквально каждый карниз, на который можно взгромоздиться лапами. Масса гаг на озерах, гагары десятками, чистики сотнями и так смиренны, что в них можно бросать камнями. Все это в страшной тесноте и плотности. И это на острове, где есть люди. Что же делается на других — на Вешняке, Зеленцах! Словом, это рай для орнитолога.

При первом осмотре острова, двигаясь к его северному берегу, я перевалил через глубокую седловину, поднялся на возвышенность и начал спускаться пологим склоном. Его устлали мягкие буроватые ковры вороницы. Из-под них кое-где выглядывали большие окатанные валуны с белыми и красными узорами лишайников. Между валунов тянулась ложбинка, обрывавшаяся вдруг прямо над береговым отвесом. За ним необозримое расстилось море. Прямо из-под земли слышался гул могучих ударов прибоя и заглушающий их неопиcуемый гвалт птиц. Я двинулся на шум и замер от неожиданности. В гранитную толщу острова врезалось со стороны моря узкое и глубокое ущелье. Его темные, отвесные стены, метров восемьдесят высотой, высились, как небоскребы над тесной улицей. Далеко внизу катились с моря седые пенящиеся валы. Они ходят в ущелье, как поршень в цилиндре, и белая пена при каждом ударе взлетает на десятки метров вверх. Черно-зеленые обломки скал то показывают из пены свои лоснящиеся



верхушки, то снова исчезают в глубине. Жутко смотреть в эту пропасть.

Ноги свисают с обрыва; немного ниже каблуков — выступ скалы с тонкой зеленой сочной травой, а дальше пропасть, черно-зеленая бездонная щель, куда жутко заглянуть. Море вторгается в щели, как ревуший косматый зверь Гвалт, шум, крик налетают какими-то порывами. Белые моевки, осыпавшие скалы, словно снег, шумливее всех. Орут и дерутся соседки, самки с криком встречают подлетающих с кормом самцов.

Сотни птиц кружатся надо мной, и воздух полон их криком, гвалтом голосов и мерными тяжелыми вздохами прибоя. С тундры тянет теплый ветер, принося запахи морошки и болот, цветущих приземистых кустиков ивняка. Из ущелья, где лежат еще толстые пласты грязного снега, тянет холодом и смрадом птичьего базара. Это запах курятника, тухлой рыбы, разбитых и гнилых яиц, сдобренный соленой свежестью моря. А море отсюда — седое и зыбкое, широкое — до полнеба. Транспорт идет у горизонта, растянув за собой полосу дыма на много километров. На палубе желтеет лес — двинская ель и сосна, плывущие в Англию, а может быть, и в Египет. Ближе к острову море уже не седое, а зеленоватое. Словно пятна зыби темнеют на нем тысячные стаи птиц. Черно-белые гагарки плывут, построившись фронтом с полкилометра длиной, чайки растянулись огромной лентой, как сверкающая полоса пены. По птицам видно, что к острову подошла наживка, наверное, мойва. А следом за наживкой подваливает к берегу треска. Рыбаки на желтых и красных ёлах стоят тут же среди птичьих стай. Посудин с десятков я вижу у острова через ущелье, как через ворота.

Снизу стены ущелья бархатно зелены, выше — белы от помета, словно облиты известкой, которая стекала длинными полосами. Черно-белые ряды и кучки гагарок — перец с солью! Сизо-белые крапины моевок, чудом прилепивших гнезда на едва заметных уступах, густо пестрят на другом склоне. Я наблюдаю за чайками и северными гагарками — кайрами, зарисовываю их. Чайки сварливы — все время затевают между собой драки. Сизые чайки смело нападают на человека. С непрерывным визгом вьются они над головой, бросаясь с шумом, и делают вид, что хотят клюнуть. При этом вся стая непрерывно «обстреливает пометом». Белые брызги стучат по траве, словно дробь. Настоящая воздушная атака!

Когда птенцы сизых чаек подросли, гоняясь за одним из них, я увидел, что убежавший и расправивший крылья птенец выбросил



Почесаться кайре-насадке  
не так-то просто

из зоба свой корм. Это были шесть крупных жужелиц и мякоть рыбы. Я решил, что корм отягощал ему желудок и мешал убежать. Но дело оказалось сложнее. Две чайки из числа осаждавших меня, бросили мне сверху прямо к ногам еще два комка корма. В первом было четырнадцать рыбок-песчанок до 10 сантиметров длиной, все с раздавленными головами, во втором — тоже песчанки, но полупереваренные, большой хрусталик глаза трески и тресковая печень. Может быть, чайки надеялись, что я, как гнездящиеся здесь же поморники, удовлетворюсь этими дарами и, насытившись, уйду из колонии.

У каждой кайры только одно яйцо, и лежит оно прямо на скале без всякой подстилки. Уступы скал очень малы, и при каждом движении кайры яйцо, того и гляди, улетит в море. Кайра зажимает его лапами и подталкивает под себя клювом. Цепляясь лапами за стену и хлопая крыльями, кайры летят по отвесной стене и кое-как повисают, держась краем лап за уступ, упираясь грудью и клювом в отвес. Пятясь к обрезу скалы, они поливают жидким пометом своих соседок, сидящих ниже на скале. Я вижу, как близко пролетающая кайра рулит в воздухе не только хвостом, но и трехпальными лапами. Хвост очень короткий и один с этой работой не справляется. Крылья гагарки работают быстро и энергично. Ими она пользуется и под водой. Сидя высоко на скале, я отлично вижу, как гагарки ныряют глубоко в море, гоняясь за рыбой. Вода в Баренцевом море удивительно прозрачная.

Птичий базар, на котором я веду наблюдения, называется Леонтьевским.



Тут, собирая для еды птичьи яйца, разбился насмерть лопарь Леонтий. А соседний бугор называется Аксюхин: там разбилась поморка Аксинья. Вполне могло случиться, что и мое имя осталось бы в харловской топонимике. Пробираясь по птичьему базару под крики, вопли и хлопанье крыльев, я спугнул атлантическую гагарку. Она улетела, но с обрыва я заметил в выемке скалы ее крупное грушевидное яйцо. В моей коллекции рисунков зарисовки гнезда атлантической гагарки не было. Разве можно было упустить такой случай?

Я сел на торфяную подушку на краю обрыва, чтобы лучше видеть, и стал рисовать. Глубоко внизу пенилось белое кружево прибоя. Я был над ним на высоте десятиэтажного дома. И вдруг я почувствовал, что земля подо мной поползла. Здесь скалы, отполированные ледниками, едва покрыты слоем земли, и торфяная подушка, оторвавшись под тяжестью моего тела от скалы, заскользила, увлекая меня в пропасть. Еще минута — и не видать бы мне не только яйца атлантической гагарки, но ничего больше на свете. Кое-как, упав на спину и цепляясь пальцами за трещины, я успел удержаться.

Страшно было? Да, конечно, страшно. Но очень жаль, что рисунок так и остался неоконченным...



## На вольном воздухе



В лесном краю на реке Ветлуге студенты-охотоведы проходили практику по биологии промысловых животных; я был их руководителем. Мы поселились в небольшом городке, близко от реки и леса. Я разделил группу, как тогда еще делали, на бригады. Каждой бригаде полагалось пройти общую программу, а кроме того, собрать научный материал и подготовить отчет по своей особой теме.

После распределения тем у нас появились «кротоловы», «утятники», «тетеревятники», «зайчатники». Ребята работали с большим увлечением; «утятники» целыми днями пропадали на озерах за рекой; бригада «зайчатников» часто уходила из дома еще ночью, чтобы на рассвете наблюдать за жировкой беляков.

Когда все достаточно ознакомились с ветлужскими лугами, лесами и оврагами ближайших окрестностей городка, ребята начали поговаривать о дальних вылазках с ночевками. Решила дело «утиная бригада». «Утятники» начали жаловаться, что, дескать, вблизи от города, на озерах, при сенокосе выловлены все утиные выводки, наблюдать нечего, надо забраться подальше. Я предложил «утятникам» обследовать большое лесное озеро, километрах в двадцати пяти от нашей базы.

На карте лесничества голубое овальное пятно озера со всех сторон окружали кварталы, покрытые рыжеватой краской, обозначающей лес с преобладанием сосны. Я предупредил студентов, что, возможно, на озере совсем не окажется уток. Оно расположено среди боров, у него, наверное, чистое песчаное дно и очень мало береговых зарослей, а утки этого не любят. Зато будет случай познакомиться с особым типом водоема, совсем не похожим на те старицы и озерки, которых так много в пойме Ветлуги. Кроме того, я надеялся, что мы встретим там гагар, настоящих северных гагар, а их студенты еще не видели. В небольшом числе гагары гнездятся почти на всех крупных озерах Заволжья. Было интересно проверить правильность этих предположений.

На другой день, расспросив о дороге знающих людей, мы тронулись в путь.

Утром нас несколько задержала гроза. Потом по лесным тропам шли с частыми остановками. Студенты вели маршрутное описание. Им, будущим организаторам охотничьих хозяйств, было важно научиться быстро описывать местность и выяснять зависимость распределения птиц и зверей от рельефа, почвы, растительности. Здесь все было «в порядке»: выводки рябчиков встречались только там, где им и надлежало быть в это время года — в сыроватых ельниках с обилием черники и бурелома; журавли курлыкали на широких моховых болотах; черные дятлы трудились над обугленными стволами на горях; кротовые норы были обильны в тучной почве пойменных лесков, малочисленны в ельниках и совсем не встречались в сухих песчаных борах.

Километрах в трех от озера нам должен был повстречаться небольшой хуторок, по-здешнему — починок. Но уже зашло солнце, в лесу посвежело, а дорога все тянулась среди высоких стен бора. Затихли голоса дневных птиц, стало темнее, где-то протяжно пискнула молодая сова. Козодой пронесся над нами, сделал несколько резких поворотов над просекой, поймал ночную бабочку и сел на дорогу. Уже настолько стемнело, что совсем нельзя было различить козодоя, сидящего на земле. Звезды выпали, трава покрылась росой, у идущих впереди начали промокать ноги. Прошли еще километра два в полной темноте — хутора все нет. Решили заночевать на дороге.

Место оказалось не очень сырым. По сторонам дороги рос невысокий лиственный молодняк. Среди него стояли огромные сухие осины. Часть деревьев лежала на земле. Мы быстро наломали сучьев, развели огонек и стали сушиться. В это время впереди злобно залаяла увязавшаяся с нами в поход лайка. Пришлось пройти к ней сотню шагов по дороге. Лай звал на крошечное, со всех сторон окруженное лесом, засеянное горохом поле. Горох уродился на славу. Ночью от обильной росы он казался белесым. Тут же были сложены в большую кучу пни, выкорчеванные при расчистке участка. Под эту кучу и лаяла собака.

Разбирать кучу ночью не было смысла: зверек легко ушел бы от нас в темноте. Мы отозвали собаку, погрелись у костра и и заснули на голой земле, свернувшись кому как удобней. Ночь была слишком свежа для комаров, и мы лежали спокойно. Сквозь сон я слышал, как цыкают над головой летучие мыши, как далеко на просеке козодой завел свою журчашую трель, как вздыхала и ворочалась лайка, вспоминая о неразобранной куче пней.

На рассвете у меня околели ноги, я проснулся весь сырой от росы. Костер потух. Уткнувшись коленями в остывшие угли, а лицом в колею, спал Игорь. Рядом с ним, богатырски раскинув руки, похрапывал чуваш Кузя, бывший пастух, теперь комсомолец и «душа» третьего курса. Борис откатился в кусты и спал рядом с собакой.



В лесу стояла тишина, как это часто бывает на переломе от ночи к утру. Звезды почти погасли. Поднимался реденький туман, и суковатые мертвые осины, казалось, плыли стоямя в прозрачной голубой мгле. Я было решил разложить костер, как вдруг совсем недалеко, за лесом, громко кукарекнул петух, следом прохрипели второй и третий.

Значит, починок рядом — туда и пойдем обогреться.

Тут сзади, в осинах, что-то громко цыкнуло. Я встал и огляделся. Осины дуплисты, в них может жить летяга. Но нигде не было видно этого живого лесного планера, таинственного ночного грызуна. Только крупные летучие мыши, закончив охоту, стремительно и бесшумно выныривали из тумана и молча забивались в дупло огромной осины.

«Одна, две, три...», — считал я возвращавшихся мышей, дошел до тридцати и сбился со счета. Большая колония жила в этой осине!

Начали копошиться дневные птицы. В кустах, пискнув, перелетел белобровый дрозд, в стороне громко забарабанил дятел. Ему ответили другие, и скоро со всех сторон, далеко и близко, стали слышаться короткие и протяжные, низкие и высокие барабанные трели. Это был немножко странный, но очень приятный утренний концерт. Два-три десятка барабанщиков участвовали в нем. Вот еще один вылез из дупла, прямо над моей головой, забрался на самый конец сломанного сучка, посидел минут пять неподвижно и тоже забарабанил. Музыканты работали «натощак».

Считается, что барабанные трели заменяют у дятлов песню. Мне захотелось узнать, какие птицы так расшумелись в это свежее августовское утро. Они могли быть и молодыми, появившимися этим летом, и старыми, недавно освободившимися от обязанностей по выкармливанию потомства. Я выстрелил из мелкокалиберной винтовки — ближайшая птица покатилась вниз по стволу. Она оказалась самкой белоспинного дятла. Самец-дятел (возможно, что он и убитая самка составляли пару) барабанил метрах в тридцати отсюда. Значит, у белоспинного дятла оба пола издают трели.



Рыжая вечерница у дупла

Хлопочек у мелкокалиберной винтовки очень слабый, особенно в тумане; ребята не слышали выстрела, продолжали спать. Но проснулась собака, подошла ко мне, равнодушно обнюхала дятла и отправилась на гороховое поле. Вскоре в лесу раздался ее яростный лай.

По правде сказать, мне совсем не хотелось лазать на заре по мокрому гороху. Я пошел дорожкой и, ожидая, пока встанут ребята, стал осматривать осины. Деревья, высохшие после пожара, проходившего тут лет шесть — восемь назад (таков был возраст молодых березок и осинков, выросших на гари), успели подгнить, почти все были с дуплами. А при таком обилии дупел трудно в них найти что-нибудь интересное.

Уже всходило солнце, когда я натолкнулся на толстое дерево с узкой щелью, около которой сонно кружились пчелы. На утреннем холодке пчелы совсем не страшны. Я воткнул в дерево нож (он легко прошел сквозь гнилую трухлявую стенку), и, когда вытащил обратно, его кончик был покрыт золотистым налетом меда.

«Поздняя птичка глазки продирает, а ранняя — носик очищает! Вставайте ребята, нынче будет чай с медом!» Поднялись дружно. Сначала пошли к нетерпеливо лаявшей собаке. Кучу обугленных пней разворотили. Под ней оказалась яма, наполненная пеплом. От стенки ямы шла короткая нора, а там, в норе, пыхтел и фыркал на собаку обыкновенный рыжий хомяк. Он, видимо, совсем недавно пришел на это поле и не успел устроить себе достаточно просторные подземные хоромы.

Кругом поля со всех сторон на много километров тянулся лес. Как же прошел через ельники и боры этот типичный полевой зверек? Как сумел он найти посев гороха, впервые появившийся на только что расчищенном клочке лесной гари?

Забрав хомяка, что привело собаку в благодушнейшее настроение, направились к починку. Достали молока, закусили, взяли у крестьян два ведра, лукошко, топор и пилу. Оказалось, что Кузя знает не только пастушеское, но и пчеловодное дело. В накомарнике, с дымокуром и обмотанными руками он стал похож на заправского пчеловода.

Подпиленная гнилая осина быстро рухнула, пчелы с грозным гулом закружились над ней. Кузя и старичок из починка вырезали соты и укладывали их в ведра, а мы стояли поодаль на пнях и, усердно вытягивая шею, следили за их неторопливыми движениями. Время от времени то один из нас, то другой кричал голодом голодного галчонка: «Кузя, а Кузя, много ли меду-то?.. Кузя?!» Пчеловоды молча священнодействовали. Они долго возились, пытаясь забрать пчелиную семью, но матка затерялась где-то в обломках разрушенного дупла, и пчелы расплозились из лукошка. Меду набралось полтора ведра. Правда, он был засорен кусочками осиновых гнилушек и бурых прошлогодних сот. Попадались в нем и потонувшие пчелы. Но зато какой свежий, душистый и сладкий! А главное — от диких пчел, неожиданный дар

леса. Полведра мы отдали в починок, чтобы не было обиды у крестьян.

Покончив с диким ульем, свалили и ту осину, в вершине которой гнездились летучие мыши. Она рухнула дуплом к земле; вся колония оказалась в западне. Мы выловили десятка два крупных рыжебурых кожанов, остальным дали разлететься. Все это были самки, каждая с одним крупным, уже летающим детенышем, окрашенным темнее, чем старый зверек. По приезде в Москву я определил мышей: это были гигантские вечерницы. Раньше их находили только в трех-четырёх точках южной полосы европейской части Союза. Такая находка особенно интересна для зоогеографов.

Потом мы отправились на озеро. Оно лежало, как в изумрудной оправе, в кольце высоких кудреватых сосняков. Мои предположения оправдались. Дно, действительно, оказалось плотным, песчаным, вода чистой, прозрачной, береговых зарослей очень мало — на мелководье одна тощая осока да хвощи. На всем озере удалось найти единственный утиный выводок. Но зато мы видели, как посередине широкого плеса плыли две семьи гагар, оставляя за собой длинную серебристую черту. На низком торфяном мыске, вдававшемся в озеро, я нашел у воды покинутое птенцами гагарье гнездо. Около валялось множество остатков водяных насекомых (плавунцов, гладышей, личинок стрекоз), которыми кормились гагары. Они охотнее ловят рыбу и раз кормились такой мелочью, значит рыба в озере не водится.

В лесу и на воде было тихо, только около нас тонко попискивали комары. Вдруг долгий заунывный крик пронесся над озером. «Оууууыы-оуууыыыы...» — протяжно простонала гагара, и трижды, замирая вдали, ей ответило эхо. И опять тишина.

Мы долго стояли, не решаясь нарушить ее шумом купания.

Так, в одно утро, использовав случайную остановку, мы разом выяснили несколько интересных вещей.

В тот вечер на озере мы пили чай с медом, следили в бинокль за гагарами и так наслушались их заунывных воплей, что Кузя зимой, в перерыве между лекциями, не раз оглашал коридоры института протяжным гагарьим криком.



## ПРИМЕЧАНИЯ

### ШЕСТЬ ДНЕЙ В ЛЕСАХ

Повесть написана в конце 1922 — начале 1923 г. В неопубликованном варианте предисловия к третьему изданию А. Н. Формозов писал: «Осенью 1922 г. из своего приволжского города [Нижегород] я перебрался в Москву слушать лекции и учиться в ее прославленном университете. После тяжелых лет войны и разрухи жизнь в столице едва только налаживалась. С Девичьего поля я ходил пешком в университет на Моховую, жил в промерзшем зале Дарвиновского музея, где стены часто покрывались сверкающим налетом инея. Там, кутаясь в полушубок, дыханием отогревая застывшие руки, я написал эту книжку, охваченный воспоминаниями о чудесной природе Заволжья. Тогда мне казалось — я навсегда расстался с ее приветливыми лесами. Далекие гудки паровозов, порою похожие на пароходные свистки, напоминали мне о Волге и невольно заставляли вздрагивать. Эпиграф, взятый из «Садко» А. К. Толстого, как нельзя лучше передает мое настроение того времени».

Первое издание книги появилось в Ленинграде в издательстве «Синяя птица» в 1923 г. Тексту было предпослано предисловие директора Дарвиновского музея проф. А. Ф. Котса. Книга имела успех. Автору были дороги доброжелательные отзывы видного биолога и охотоведа С. А. Бутурлина («Охотник», 1924, № 7, с. 29), украинского зоолога В. Г. Аверина («Природа и охота на Украине», 1924, № 1—2, с. 380) и особенно канадского зоолога и писателя Э. Сетона-Томпсона, чьими книгами А. Н. Формозов зачитывался в гимназические годы. В письме от 11 августа 1924 г. Сетон-Томпсон писал: «Мой дорогой юный друг, я только что получил Вашу книгу «Шесть дней в лесах». Текст, увы, мне недоступен, но, если он столь же хорош, как иллюстрации, то это, несомненно, нечто стоящее. Я вижу душу увлеченного натуралиста в каждом штрихе, и это больше, чем просто интерес спортсмена-охотника, который также виден от начала до конца» («Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отд. биол.», 1925, т. 80, вып. 1, с. 33).

В 1927 г. книга была переиздана Государственным издательством в Москве. И это издание вызвало много положительных откликов (см. рец. в журн. «Книга и профсоюз», 1927, № 9, с. 49—50; «Знание — сила», 1927, № 10, с. 254; «Искра», 1928, № 3, с. 38; «Друг детей», 1927, № 11—12, с. 24; «Методический путеводитель», 1927, № 12, с. 61—62; и др.). Среди этих отзывов отмечу написанный известным писателем Н. П. Смирновым («Известия» от 11 октября 1927 г., № 233). В 1930 г. в Харькове напечатан перевод «Шести дней в лесах» на украинский язык («Тиждень у лісах. Пригоди юних натуралістів»).

В третий раз книга была издана в 1948 г. Московским обществом испытателей природы в серии «Среди природы» (вып. 5). Как отмечается в цитированном варианте предисловия, на мысль переиздать книгу натолкнул автора М. М. Пришвин (он был знаком с А. Н. Формозовым с 20-х годов по сотрудничеству в журнале «Охотник»). О позднейших встречах упоминается в повести М. М. Пришвина «Неодетая весна» в его собрании сочинений, т. 6. М., 1956,

с. 315—317). А. Н. Формозов пишет: «Признанный певец нашей природы, старый волшебник слова М. М. Пришвин... говорил мне [о книге]...: «Вернитесь к ней... Есть в ней то, что дает книге долголетие... Посмотрите новыми глазами, переработайте». Автор считал, что этот совет выполнен им лишь частично. «Пришвино ограничиться исправлением только немногих явно ошибочных мест, особенно резавших глаза, оставив книгу такой же первой «пробой пера», полной молодого увлечения и литературной неопытности. Слишком трудно возвращаться в зрелом возрасте к написанному на заре ученой и научно-художественной деятельности».

В основном правка шла по двум линиям. Названия глав, первоначально чересчур длинные и несколько вычурные, были сделаны простыми и короткими (например, вместо «Обстоятельства, омрачавшие весенние прогулки Гриши. «Глухариный заговор» стало «Весенняя вылазка и планы похода», вместо «О тишине, глухарином токе и грохоте выстрела. Журавли провозглашают рассвет» стало «Глухари поют»). Характеристика города и обитателей деревни, как чего-то враждебного природе и юным охотникам, была смягчена. Показательно изменение концовки. Во втором издании (с. 112): «Близился город. Захлебываясь дымом, горбатым чудлишем засел он в седловины гор, тускло мигал красными веками фонарей и кашлял хриплыми осипшими гудками паровозов». В третьем издании: «Вот и отчий дом — старинный город, верный страж над широкими раздольями Волги». Эту правку не следует воспринимать как вынужденную. На первом варианте книги отразились и антиурбанистические мотивы, свойственные литературе 20-х годов, и настроения оторванного от природы и попавшего в чужой город человека. Убрать этот оттенок автор хотел сам.

С третьего издания книги был сделан перевод на польский язык («Sześć dni w lasach»), вышедший в Варшаве в 1951 г. в издательстве «Nasza Księgarnia».

Все издания были иллюстрированы автором. Состав рисунков несколько менялся. Здесь воспроизводится текст третьего издания с восстановлением по второму посвящения и одной вынужденной купюры. Рисунки даны главным образом по третьему изданию.

В основе рассказа — подлинные события, но черты автора приданы образам обоих юных натуралистов. На глухариные токи в Заволжье А. Н. Формозов ездил уже не мальчиком, а юношей в 1921 и 1922 гг., один раз с отцом, а другой — со своим товарищем Георгием Дмитриевичем Шапошниковым (1902—1963), впоследствии инженером авиационной промышленности. Любопытно, что в архиве А. Н. Формозова хранится вырезка из газеты «Нижегородская коммуна» со статьей «Лесники-убийцы». В ней описывается примерно то же, что пережили герои повести. Произошло это уже после революции, но в тех самых заволжских лесах, где А. Н. Формозов охотился в гимназические годы.

Стр. 10. Николай Елпидифорович Формозов (1871—1928) родился в Арзамасе, окончил семинарию в Нижнем Новгороде, после чего служил в этом городе в ряде учреждений. Сотрудничал в газете «Волгарь» и в «Нижегородской земской газете». Был страстным охотником. От него Александр Николаевич унаследовал любовь к природе и, вероятно, стремление выразить впечатления от своих встреч с нею в художественных очерках.

Стр. 10. Эпиграф из стихотворения А. К. Толстого «Садко» (1872) (см.: Толстой А. К. Полное собрание стихотворений. «Советский писатель», 1937, с. 320).

Стр. 12. Агафангел Васильевич — подлинное имя преподавателя латинского языка в Нижегородской I мужской гимназии — А. В. Надеждина.

Стр. 12. Эрнст Томпсон-Сетон (1860—1946) — канадский биолог и писатель-натуралист. Его книги о животных издавались на русском языке с 1901 г. В 1910 г. вышло 12-томное собрание его сочинений. А. Н. Формозов переписывался с Сетон-Томпсоном в 1922—1929 гг. и был горд тем, что тот одобрил его работу. Вильям Лонг (1876—1952) — американский писатель-анималист. На русском языке его рассказы о животных издавались неоднократно, начиная с 1900 г.

Стр. 15. Цитируется книга Л. П. Сабанеева «Охотничий календарь. Справочная книга для ружейных и псовых охотников». М., 1904, с. 22—29.

Стр. 19. Цитируется стихотворение А. Н. Майкова «Поле забылется цветами...» (1857) (см.: Майков А. Н. Избранные произведения (библиотека поэта, большая серия). Л., 1977, с. 132).

Стр. 83. В настоящее время весенняя охота на глухарей строго регламентирована. Отстрел глухарей на токах разрешен только в хорошо организованных охотничьих хозяйствах по путевкам.

## ВО ВРЕМЕНА ЗВЕРОЛОВСТВА

Сокращенный вариант этого очерка (начиная со слов «Тусклые снежные поля...» и без последнего абзаца) опубликован в журнале «Юный натуралист» № 2 за 1938 г. В архиве автора сохранился более полный вариант, предназначенный для подготовлявшейся в 1943 г. книги «От Мурмана до Каспия (Записки натуралиста)». Этим очерком должна была открываться и книга, и ее первая часть — «Моя школа» (подробнее об этой книге см. ниже). Неясно, был ли написан рассказ в таком виде в 1937 г. и сокращен для публикации редакцией «Юного натуралиста» или на основе раннего рассказа в 1943 г. создан новый расширенный вариант его. Печатается по рукописи.

Описание события относится к зиме 1912/13 г., но автор говорит о себе как о третьекласснике, а в этом классе гимназии он учился в 1911/12 г. В память об этом рассказе надгробный камень на могиле А. Н. Формозова на Новодевичьем кладбище в Москве увенчан фигурой горностая (работа ученика А. Н. Формозова — биолога и скульптора-анималиста В. М. Смирин. Воспроизведен в статье: Горлов Д. Художник-анималист Владимир Смирин. — «Охота и охотничье хозяйство», 1977, № 1, с. 43).

Стр. 93. Эпиграф из чернового отрывка 1874 г. к поэме Н. А. Некрасова «Уныние» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч., т. II, 1948, с. 523—524).

Стр. 94. Ворсма — село Горбатовского уезда Нижегородской губернии, район кустарных промыслов.

## В ПОЛОВОДЬЕ

Очерк написан для книги «От Мурмана до Каспия (Записки натуралиста)» в 1943 г. Напечатан под названием «Половодье на Волге» в альманахе «Охотничьи просторы», кн. 4, в 1954 г. Описана поездка с Г. Н. Зарудиным в апреле 1917 г.

## МОЯ ШКОЛА (ИЗ ЧЕРНИКОВ К КНИГЕ «ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА» И СТАРЫХ ПУБЛИКАЦИЙ)

Замысел книги «Записки натуралиста» возник у А. Н. Формозова еще в 30-х годах. Ему хотелось рассказать читателям, как из мальчика—любителя рыбной ловли и охоты — формировался юноша, уже сознательно занимавшийся наблюдениями над жизнью природы, заносивший их в дневники и ставший потом специалистом-зоологом. Напряженная научная и педагогическая работа мешала автору осуществить этот замысел. Заготовками к задуманной книге были некоторые публикации в журнале «Юный натуралист» в 1937—1938 гг.

Возможность вплотную заняться «Записками натуралиста» неожиданно появилась в разгар Отечественной войны. 11 сентября 1942 г. из Ашхабада, где находился в эвакуации Московский университет, А. Н. Формозов вернулся в Москву. Основная масса сотрудников университета переехала из Ашхабада в Свердловск. Меньше, чем обычно, загруженный лекциями и семинарами А. Н. Формозов решил взяться за популярные книги. В 1942 г. в Детгизе был переиздан «Спутник следопыта». 3 июля 1943 г. то же издательство заключило с А. Н. Формозовым договор на книгу «От Мурмана до Каспия (Записки натуралиста)» объемом 10 печатных листов. Автор с увлечением начал работать. План книги был ему ясен: часть I — «Моя школа» — рассказ о детстве и юности на Волге, о становлении ученого, часть II — «Путешествия» — воспоминания об экспедициях на Кавказ, Дальний Восток, Баренцево море, по Западно-Сибирской низменности и т. д.

В текст предполагалось включить кое-что из предшествующих публикаций («Во времена звероловства» и др.). К сожалению, работа не была доведена до конца. В 1943 г. университет вернулся из эвакуации, занятия возобновились, налаживались нарушенные войной научные исследования, и популяризация вновь отошла для А. Н. Формозова на задний план.

Впоследствии он использовал два наиболее подготовленных очерка из «Записок натуралиста» — «В половодье» и «На вольном воздухе», напечатав их в альманахе «Охотничьи просторы» (см. их в нашем сборнике). Остальные очерки остались в черновиках. Некоторые из них («Каждый год», «Три эпизода в весенние дни», «В Дагестане») завершены в сюжетном отношении и перед изданием подверглись бы, вероятно, лишь небольшой стилистической правке. О других очерках позволяют судить только отрывки и наброски. Здесь сделана попытка придать этим отрывкам определенную целостность, объединив их методом монтажа с использованием ряда старых публикаций. Так, раздел 1 представляет собой часть «Введения» к книге «Наше рыболовство», вышедшей в Государственном издательстве в 1926 г., раздел 2 — часть вводной статьи к конкурсу «Прошлое и настоящее нашей природы» в журнале «Юный натуралист» (1938, № 1), раздел 8 — часть такой же вводной статьи к конкурсу «По дороге в школу» в том же журнале (1937, № 3), раздел 11 — отрывок из статьи «Очерк фауны наземных позвоночных Горьковского края» из сборника «Природа Горьковского и Кировского краев» (Горький, 1935). Раздел 4 опубликован в «Юном натуралисте» в 1938 г. (№ 3, подпись А. Ф.). Разделы 3, 5, 6, 7, 9, 10 публикуются по рукописям из архива автора.

Разумеется, наш монтаж не может заменить тот текст, который задумал А. Н. Формозов. Заметно стилистическое различие между разделами, написанными в разные годы. Нет очень важного для автора образа отца — первого наставника в охоте и общении с природой, нет рассказа о занятиях с Н. А. Покровским в Нижегородском музее и т. д. Иллюстрации подобраны из ранних дневников автора.

Стр. 121. Ниже в книге «Наше рыболовство», напечатанной в 1926 г., говорится, что это воспоминание двадцатилетней давности. Значит, речь идет об отголосках революции 1905 г., о времени, когда автору было 6—7 лет.

Стр. 123. Речь идет о работе А. Н. Формозова по определению костных остатков из городищ на р. Ветлуге. Раскопки городищ вела экспедиция Музея антропологии Московского университета под руководством проф. Б. С. Жукова в 1925—1926 гг. Борис Сергеевич Жуков (1892—1933) — крупный советский археолог, как и А. Н. Формозов, был нижегородцем. Его отец — С. И. Жуков — издавал газету «Волгарь», где печатался отец А. Н. Формозова — Николай Елпидифорович. Б. С. Жуков привлек к обработке материалов экспедиции своего земляка — молодого зоолога.

Стр. 125. Семья Формозовых жила на даче в районе Лыскова. Напротив этого городка, на левом берегу Волги, находился Макарьевский Желтоводский монастырь. Рассказывая о нем, А. Н. Формозов передает местные легенды, а не точные исторические факты. Монастырь основан в 1435 г., почти все постройки его — стены, башни, церкви — возведены с 1651 по 1667 г. Отряды Раина здесь, действительно, побывали, но запустение монастыря относится к гораздо более позднему времени. С 1839 г. Волга стала быстро подмывать берег, на котором стоит монастырь. В 1859 г. в его Троицком соборе рухнул центральный купол. Возникло опасение, что из-за подмыва берега монастырь неминуемо будет разрушен, и в 1868 г. его закрыли. Однако вскоре выяснилось, что опасность не столь велика. В 1883 г. монастырь восстановили, сделав его женским.

Стр. 132. «Из жизни русской природы. Зоологические очерки и рассказы» — посмертный сборник научно-популярных статей профессора Петербургского университета Модеста Николаевича Богданова (1841—1888), написанных им для журнала «Родник» в 1872—1888 гг. Первое издание вышло в 1889 г., до революции переиздавалось еще 9 раз. А. Н. Формозов скорее всего читал книгу в одном из трех изданий, выпущенных издательством «Брокгауз—Ефрон» в 1906—1911 гг.

Стр. 133. Павел Иванович Мельников (1818—1883, псевдоним — Андрей Печерский) в 1847—1850 гг. в должности чиновника особых поручений при нижегородском губернаторе занимался делами раскольников и проявил себя

их жестоким гонителем. Оленевый скит (в 12 верстах к востоку от г. Семенова) описан в его романе «В лесах» (Собр. соч., т. 3. М., 1963).

Стр. 135. Николай Александрович Покровский (1881—1943) — многолетний сотрудник Естественно-исторического музея Нижегородского земства. Сыграл большую роль в жизни А. Н. Формозова, приобщив его к научным исследованиям родного края. Он научил юношу делать тушки убитых животных, определять их вид и т. д. В трудные послереволюционные годы Н. А. Покровский помогал семье Формозовых и материально.

Стр. 135. Владимир Михайлович Шимкевич (1858—1923) — зоолог, профессор и ректор Петербургского университета, академик, автор трудов по морфологии, эмбриологии и систематике членистоногих. Николай Александрович Холодковский (1858—1921) — зоолог, специалист по энтомологии и паразитологии, поэт, переводчик «Фауста» Гете, профессор Лесного института и Военно-медицинской академии в Петербурге.

Стр. 136. Семья Формозовых жила в Нижнем Новгороде на Большой Печорской улице (ныне ул. Лядова, дом 51а), тянувшейся параллельно берегу Волги от Печорского монастыря к центру города.

Стр. 137. Эпиграф из стихотворения А. Н. Майкова «Болото» (1856) (Майков А. Н. Избранные произведения. Л., 1977, с. 137).

Стр. 144. Дмитрий Никифорович Кайгородов (1846—1924) — профессор Лесного института, создатель фенологии в России, выдающийся популяризатор науки. Упомянутые А. Н. Формозовым работы Д. Н. Кайгородова об изохронах прилета птиц: 1) Изохроны хода весеннего поступательного движения кукушки, грача и белого аиста на территории Европейской России. — Орнитологический вестник, 1911, № 1; 2) Опыт исследования хода весеннего прилета гуся серого в европейской части СССР. — Труды Лесотехнической академии, 1931, вып. 1 (XXXVIII) (совместно с А. А. Вульфом).

Стр. 146. Николай Владимирович Шибанов (1903—1960) — кандидат биологических наук, доцент биологического факультета Московского университета, крупный специалист по герпетологии.

## В МОНГОЛИИ

Книга «В Монголии. Очерк путешествия зоологического отряда Монгольской экспедиции Академии наук СССР» напечатана в 1928 г. Государственным издательством. В 1926 г. А. Н. Формозов принимал участие в работе экспедиции, организованной Комиссией Академии наук СССР по научному исследованию Монгольской и Тунну-Тувинской республик. Зоологический отряд экспедиции, в котором он был сотрудником, провел в Монголии более трех месяцев, с 25 июня по 1 октября. Одной из задач отряда было пополнение коллекций Зоологического музея Академии наук СССР, в связи с чем интенсивно велась научная охота. О научных результатах поездки А. Н. Формозов опубликовал большую работу «Млекопитающие Северной Монголии по сборам экспедиции 1926 года» (Л., 1929). В основе книги «В Монголии» лежат записи дневника, ведшегося А. Н. Формозовым в экспедиции. Книга была хорошо встречена читателями (см. рец. Н. См. в «Красной Ниве», 1929, № 13, с. 22; С. А. Бутурлина в «Охотнике», 1928, № 5, с. 41). Известный путешественник и писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев писал А. Н. Формозову 4 августа 1928 г.: «Вашу книгу «В Монголии» прочитал с большим удовольствием. Она мастерски написана, и я ее усиленно рекомендую всем специалистам и неспециалистам» («Бюллетень Московского Общества испытателей природы. Отд. биол.», 1975, т. LXXX, вып. 1, с. 32). Здесь книга печатается с сокращениями.

Стр. 150. Любовь Николаевна Формозова — доктор геолого-минералогических наук. А. Н. Формозов написал совместно с ней статью «К вопросу о питании северного оленя».

Стр. 150. Монгольские былины цитируются по книге «Монголо-ойратский героический эпос» (М., 1923, с. 55, 56, 103, 104, 217, 218, 232).

Стр. 155. Имеется в виду Петр Саввич Михно (1867—1937) — сотрудник Троицкосавского (Кяхтинского) музея, автор ряда работ по археологии Забайкалья.



Стр. 170, 194, 213. Имеются в виду сотрудники зоологического отряда Монгольской экспедиции Александр Николаевич Кириченко (1884—1971) — энтомолог, сотрудник Зоологического музея Академии наук СССР, возглавлявший отряд; Аркадий Яковлевич Тугаринов (1880—1948) — орнитолог, видный исследователь фауны Сибири; сотрудник Зоологического музея Академии наук СССР и препаратор отряда Виктор Викторович Рогозов (умер после 1937 г.).

Стр. 190. Курганы в урочище Ноин-Ула в Северной Монголии исследованы экспедицией П. К. Козлова в 1924—1925 гг. Относятся к концу I в. до н. э. — началу I в. н. э. и содержат захоронения знатных гуннов, сопровождавшиеся множеством разнообразных вещей.

Стр. 193. Цитируется книга П. К. Козлова «Монголия и Кам» (в изд. 1948 г., с. 71).

Стр. 211. Цитируется книга Ларисы Рейснер «Афганистан» (М.—Л., 1925, с. 88).

Стр. 222. Николай Алексеевич Зарудный (1859—1919) — орнитолог. В 1879—1892 гг. вел исследования в Закаспийской области, в 1892—1906 гг. — в Персии.

Стр. 234. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) — географ, этнограф, фольклорист. В 1863—1864 гг. провел экспедицию в район Зайсана и Тарбагатай, в 1876—1877, 1879, 1880 — в Туву и Северо-Западную Монголию, в 1884—1886 и 1892—1893 гг. — в Центральную Монголию.

## ОТ МУРМАНА ДО КАСПИЯ

Наброски второй части «Записок натуралиста» более отрывочны, чем черновики первой части. В значительной мере закончен только очерк «В Дагестане». Для трех других составитель прибег к тому же методу монтажа отрывков, а иногда и других материалов, что и при подготовке первой части — «Моя школа».

Автор, вероятно, разместил бы очерки по географическому принципу. Мы предпочли исходить из хронологической последовательности поездок А. Н. Формозова. Иллюстрации подобраны из дневников автора.

### 1. В ДАГЕСТАНЕ

В Дагестане А. Н. Формозов побывал дважды в студенческие годы — в 1924 и 1925 гг. и в третий раз в 1934 г. Здесь описана вторая поездка.

В очерке приведены местные названия ряда животных. При консультации в Дагестанском филиале АН СССР выяснилось, что это слова разных языков, не всегда обозначающие тех животных, которых имел в виду зоолог, и транскрибированные не совсем точно.

Цимил-кѣиф — ласка по-лезгински.

Хырч (Х/ирч) — тур по-лезгински.

Хут-хут — удод по-рутульски.

Квэд (кѣвад) — куропатка по-лезгински.

Нютц (нюьк/) — воробей по-лезгински.

Кэк (к/ек) — пегух по-лезгински.

Хоруз — пегух по-рутульски.

Стр. 243. Обнаруженная в районе аула Куруш водяная крыса, действительно, оказалась новым подвидом. Впоследствии она описана под именем *Arvicola terrestris kurushi* Hept et Form в статье: Ognev S. I., Formozov A. N. A new Form of Water-vole from Daghestan (East Caucasus). — *The Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany and Geology*, ser. 9, vol. 19, N 109. London, 1927, p. 138—141.

Стр. 244. В. К. Федулов — препаратор Зоологического музея Московского университета.

## 2. НА НИЖНЕМ АМУРЕ

Экспедицию на Дальний Восток А. Н. Формозов совершил в 1928 г. совместно с ленинградским орнитологом Леонидом Михайловичем Шульпиным (1905—1942). За четыре месяца они побывали в разных районах Приморья и Приамурья. А. Н. Формозов собрал для Зоологического музея Академии наук СССР коллекцию более чем из 300 экземпляров млекопитающих, помогая Л. М. Шульпину собирать материалы и по птицам. Природа Дальнего Востока произвела на А. Н. Формозова огромное впечатление. Свою поездку он расценивал как «второй университет за экспедиционный счет» (из письма к А. А. Промптовой от 14 июня 1928 г.). Наблюдения, сделанные на Дальнем Востоке, и собранные там коллекции А. Н. Формозов широко использовал в своих лекционных курсах, но в его научных публикациях эти материалы отражения почти не нашли.

По письмам к Л. Н. Формозовой маршрут экспедиции восстанавливается следующим образом: выехав из Москвы 14 мая 1928 г., А. Н. Формозов к концу месяца был во Владивостоке. Он познакомился с местными учеными, в частности с В. К. Арсеньевым, и провел неделю в приморской тайге в бассейне Раздольной к северо-западу от Владивостока. 12 июня зоологи отправились морем до Дальнегорска, откуда, перевалив Сихотэ-Алинь, добрались до верховьев Большой Уссурки, где снова вели стационарные работы. К 15 июля экспедиция переправилась через Владивосток в Хабаровск, а оттуда спустилась по Амуру до с. Софийского. Там был устроен третий стационар. Из Софийского через Марининское А. Н. Формозов и Л. М. Шульпин в сопровождении проводников проехали на лодках через оз. Большие Кизи к верховьям р. Тоба, откуда вышли пешком к заливу Де-Кастри на Татарском проливе. Вновь вернувшись на Амур к 20 августа А. Н. Формозов поднялся на пароходе вверх до Благовещенска, неподалеку от которого в течение сентября вел стационарные исследования у с. Ипатьевского. Заехав в Хабаровск, А. Н. Формозов вернулся в Москву.

В черновиках очерка «На Нижнем Амуре» рассказывается о поездке на лодках от Софийского до оз. Кизи. Эти отрывки дополнены выдержками из писем к Л. Н. Формозовой от 26 июля и 20 августа 1928 г., где говорится о том же маршруте и тех же событиях. Как введение к очерку использована статья «Страна гималайского медведя, амурского тигра и непальской кунци» из журнала «Юный натуралист» № 8 за 1937 г.

## 3. У СТУДЕНОГО МОРЯ

На севере европейской части СССР А. Н. Формозов работал в 1927, 1929 и 1931 гг. Здесь описывается вторая поездка. В научной печати отражения она не нашла. Поездка продолжалась около полутора месяцев — с конца мая до середины июля. С острова Харлов А. Н. Формозов пароходом доехал до Архангельска, а оттуда — поездом в Ленинград.

Черновые заготовки к очерку дополнены заметкой «Неоконченный рисунок», напечатанной в «Детском календаре» на 1941 г. (листок на 27 июня), и подписями к серии рисунков «Кайра» из журнала «Юный натуралист» № 2 за 1936 г. Зарисовки кайр, сделанные на острове Харлов, использованы здесь как иллюстрации. Кроме того, в текст включено несколько отрывков из писем к Л. Н. Формозовой от 12, 14 и 19 июня 1929 г.

Стр. 262. Анатолий Сергеевич Пестюхин (более известен под псевдонимом Ольхон) (1903—1950) — поэт, в 20-е годы входивший в возглавлявшуюся Н. Н. Зарудиным группу «Перевал». Эпиграфы взяты из его стихотворений «Мурманская весна» и «Полярное лето», из сборника «Тундра» (М., 1929, с. 31, 10).

Стр. 262. Шура М. — Александр Александрович Максимов — впоследствии радист-полярник.

Стр. 263. Иоган Гансович Эйхфельд — видный биолог-селекционер, пионер северного земледелия, впоследствии президент Академии наук Эстонской ССР.

## НА ВОЛЬНОМ ВОЗДУХЕ

Очерк, озаглавленный «Ранним утром», опубликован впервые в журнале «Юный натуралист» № 3 за 1937 г. В дополненном виде напечатан под заглавием «На вольном воздухе» в альманахе «Охотничьи просторы», кн. 6 в 1956 г. Печатается по рукописи из архива автора.

Описана практика студентов Института пушно-мехового и охотничьего хозяйства, где А. Н. Формозов был профессором в 1930—1934 гг. По письмам к Л. Н. Формозовой можно установить, что речь идет о лете 1932 г., когда практиканты жили в пос. Красные Баки на р. Ветлуге.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>От составителя .</b>	<b>5</b>
Шесть дней в лесах .	10
Во времена звероловства .	93
В половодье .	103
Моя школа .	118
В Монголии .	152
От Мурмана до Каспия .	241
На вольном воздухе . . .	273
<b>Примечания . . . . .</b>	<b>278</b>

**Александр Николаевич Формозов**

**СРЕДИ ПРИРОДЫ**

**Зав. редакцией Н. М. Глазкова**

**Редактор О. В. Апеньева**

**Переплет художника В. В. Гарбузова**

**Художественный редактор М. Ф. Евстафиева**

**Технический редактор К. С. Чистякова**

**Корректоры И. А. Мушникова, Л. А. Кузнецова**

**ИБ № 2154**

Сдано в набор 15.03.85. Подписано к печати  
22.07.85. Л-68403. Формат 60х90 1/16.  
Бумага тип. № 2. Гарнитура Литературная.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,0. Уч.-изд. л.  
19,01. Тираж 140 000 экз. 2-й завод  
70001-140000 экз. Заказ 625. Цена в обложке  
1 р. 30 к., в переплете № 7 – 1 р. 60 к.  
Изд. № 3580

Ордена "Знак Почета" издательство Москов-  
ского университета. 103009, Москва, ул.  
Герцена, 5/7.

Отпечатано с диапозитивов 12 ЦТ МО в Мос-  
ковской типографии № 6 Союзполиграфпрома,  
Москва, 109088, Южнопортовая ул., 24



